

СЕМЕН ЛИПКИН

ДЕКАДА

CHALIDZE PUBLICATIONS

NEW YORK

1983



**СЕМЕН ЛИПКИН**

**Д Е К А Д А**

**CHALIDZE PUBLICATIONS      NEW YORK      1983**

**SEMYON LIPKIN**

**A DECADE**

Copyright 1983 by Chalidze Publications

Published by Chalidze Publications  
505 Eighth Avenue,  
New York, N.Y. 10018

Manufactured in the U.S.A.



## СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая .....	5
Глава вторая .....	11
Глава третья .....	19
Глава четвертая .....	28
Глава пятая .....	37
Глава шестая .....	49
Глава седьмая .....	58
Глава восьмая .....	69
Глава девятая .....	80
Глава десятая .....	90
Из тетради ученика шестого класса неполной средней школы Алима Сафарова .....	90
Глава одиннадцатая .....	97
Глава двенадцатая .....	108
Глава тринадцатая .....	119
Глава четырнадцатая .....	133
Кучиевы .....	135
Глава пятнадцатая .....	141
Глава шестнадцатая .....	153
Глава семнадцатая .....	167
Из записной книжки Алима Сафарова .....	178



## Глава первая

Об этом телефонном звонке Амирханову, о довоенном еще, но тоже внезапном, ночном, начальство и творческая интеллигенция республики обожали рассказывать такую быль. Рассказывали с насмешкой, но с насмешкой беззлобной, и вообще рассказ был не так уж простодушен.

Кто спорит, обрисовывался Амирханов не очень хорошо, но, если вдуматься, то не так уж плохо, а если поглубже вдуматься, то совсем неплохо. Конечно, слышалось в этой забавной были, высоко наш Амирханов не летает, а все же есть в нем что-то орлиное, наше, горское, удалое, а главное, – есть стойкая уверенность знающего себе цену руководителя. Русский, наверно, засуетился бы, занервничал, а наш...

Дело было так. Пировали. Кто-то из начальников не то женился, не то жена принесла ему седьмого ребенка, да еще мальчика, не то кандидатскую защитил. Короче говоря, в помещении дома культуры собрался чуть ли не весь районный актив. Тамадой был директор плодово-овощного консервного завода, сам армянин, но человек с душой, здесь родился и вырос, знал, как надо вести горское застолье. Было уже полночь, когда, после цыпленка в сметане с острой подливой, один из инструкторов торжественно и весело вручил Амирханову баранью голову. Амирханов славился умением аккуратно изрезывать ее длинным ножом и раздавать составные части почтеннейшим гостям сообразно должности и возрасту, а также служебной перспективности. Распределял он уши, глаза, мозг с прибаутками, давно известными, но всех они радовали, потому что, во-первых, молитва от повторения не портится, а, во-вторых, Амирханов так искренно, по-детски был счастлив, произнося эти избитые прибаутки, что становилось легко и светло на сердце. Напомним: на Востоке разумно полагают, что мысль никогда не бывает новой, вся прелесть мысли – в новизне словосочетания, а если этой новизны нет, – тоже не беда, лишь бы мысль не раздражала своей мнимой оригинальностью, всегда мнимой, ибо все, что должно быть сказано, уже сказано давно. Гости удовлетворенно рассмеялись, когда Амирханов на двух сомкнутых ладонях преподнес начальнику милиции бараний глаз. "Бдительность, бдительность!" – объяснил кто-то, – и вдруг раздался звонок такой пронзительный, какой бывает только в сельском учреждении. Пир замолк.

Амирханов, низенький, широкоплечий, с той блаженной улыбкой на круглом, загорелом лице, которая не связана со служебными обязанностями, поднялся, не спеша, чтобы не уронить себя в глазах пирующих, приблизился к висящему на стене телефону, взял трубку. Он слушал с деловым вниманием, переспрашивал, подкрепляя слова родного языка русской ответственной матерщиной. Повесив трубку, он обвел пирующих протрезвевшим взглядом и сообщил:

– В колхозе Кагановича несчастье. Сгорели сараи со всей наломанной кукурузой.

Пирующие застыли. Кое у кого опрокинулись рюмки. Амирханов сказал:

– На дворе ночь, дождь, шофера пьяные, до колхоза семьдесят километров, даже если благополучно доедем, ничем уже не поможем, все сгорело, а оставлять такой стол – грех перед народом, который все это изобилие добывал, проливая пот. А пожар – стихийное бедствие.

И остались, и пили, и ели до утра, и плясали, и Амирханов, почти квадратный, плясал не хуже других, с той блаженной, но, как полагаются во время танца, при этом еще и важной улыбкой.

Когда о происшествии узнал первый секретарь обкома Девяткин, он рассердился, но не встретил понимания у членов бюро и махнул рукой. Тут была тонкость, и Девяткин в ней разбирался. Председатель Совнаркома, тавлар по национальности, хотя и предан был Девяткину, как борзая охотнику, был из того же рода, что и Амирханов, два других тавлара, члены бюро, без сильного давления не пошли бы против Амирханова из-за такого пустяка, они любили его за простоту, за то, что он, по всей видимости, не доносил даже в тридцать седьмом, чтобы взобраться наверх, да и по деловым качествам он не мог взобраться наверх, – в нем было мало подлости, боевитой зависти, – а прочим пятерым членам бюро, гушанам по национальности, было неудобно осудить тавлара, горская этика не позволяла.

Вскоре пришла война, немцы заняли всю Гушано-Тавларскую АССР, даже водрузили флаг со свастикой на вершине Эльбавенда, за ледниками которой сказочно цвела родина Сталина, куда Амирханов успел перегнать, с большими, правда, потерями, скот, за что Девяткин вынес ему на бюро благодарность, после чего по-свойски, с партийным юмором, вспомнил:

– Значит, говоришь, пожар – стихийное бедствие?

Так случай с Амирхановым, получив косвенное одобрение партии, превратился в народное сказание. И вот, через столько лет, и каких лет, – снова ночной внезапный звонок.

В эту ночь Амирханову хотелось одного: выспаться. Немцы похозяйничали в республике недолго, около полугода, но выбивали их отсюда тяжело, дома были разрушены, скот забрала Москва, в кошарах – ни ягненок, работники – одни женщины, а если мужчины, так либо на руководящих постах, толку от них мало, либо – старики, калеки, подорстки, даже дети, мяса нет, хлеб из муки с лебедой, что ни день – похоронка, плач по всему селению, а никто в мире не плачет так, как мусульмане, а Девяткин все требует и требует.

Амирханов вернулся из дальнего колхоза, он устал, продрог, дорога была жуткая, с гор подул первый зимний ветер, а внизу стлался туман. В том колхозе испокон веков занимались ковроткачеством, Москва приказала, несмотря на войну, возродить старинный промысел, но женщины кричали, жаловались, оскорбляли Амирханова, мол, сам толсто-мордый, и у жены его курдюк в два пуда, а наши мужья и сыновья гибнут на войне, а мы тут голодаем. Амирханов успокаивал их шуточками

и прибаутками, обещал, что будут хлеб и мясо, все понимали, что он врет, но хотели ему верить, иного выхода у них не было, одна ковровщица приглянулась Амирханову, но он вымотался, было не до этого.

Домой он вернулся поздно. Выпил полбутылки, закусил мамалыгой с подогретым куском вяленой баранины. Жена, пока он ел, укачивала маленького, нагнувшись над люлькой, Амирханов, глядя на нее сзади, вспомнил меткое выражение про курдюк в два пуда, он вышел во двор по малому делу, а когда закончил его, то жена уже спала. Амирханов не обиделся, разделся, лег со вздохом рядом, сам не зная, хочет ли он или не хочет, и быстро, громко заснул.

Разбудил его звонок, звонил Девяткин. Подражая Сталину, секретари обкомов по ночам не спали, но секретарям небольших сельских райкомов спать ночью дозволялось, пусть припухают.

– Амирханов, как слышишь, узнал?

– В гробу лежать буду, а ваш голос услышу и узнаю, Иван Григорьевич, клянусь всемогущим Аллахом.

– Стихийного бедствия у тебя нет?

– Пока нет, но будет.

– Голову сниму. Ковровую артель наладил?

– Золотом режу ваши слова, Иван Григорьевич. Без головы останусь, а к лету будут ковры.

– Молодец. Слушай, вот какое дело. К тебе в Кагар на днях приедет на недельку-другую генерал-майор. Жить будет у тебя. Ты не против?

– Иван Григорьевич, вы же знаете лучше нас, – для тавлара большая честь, если гость отломит в его доме кусочек лепешки, да еще такой гость. Но к лепешке надо кое-что прибавить. Как гласит русская пословица, сухая ложка рот дерет.

– Не приbedняйся, твою сухую ложку помню, три дня потом голова болела. Но ты не волнуйся, будет порядок. А как с высоким гостем обходиться, – не тебя учить.

– Сами у вас учимся, Иван Григорьевич. Старики у нас говорят: "Ни один мулла, ни один уstad не знает наших обычаев так досконально, как товарищ Девяткин".

– Не подхалимничаешь? Приятно слышать. Со стариками завсегда советуйся. А генерал не простой, Семисотов ему фамилия.

– Опять золотом режу ваши слова, но разрешите спросить: что делать ему в нашем Кагаре? Война далеко, мирный труд налаживаем.

– Не телефонный это разговор, Магомед. Когда будет нужно, я дам тебе знать, поедешь генералу навстречу, а то дороги у нас плохие. Ты понял?

"Утром пойму", – подумал Амирханов и заснул. Проснулся рано, – заплакал маленький. Амирханов поднял его, голенького, на руки, поцеловал его еще не обрезанный крантик, умиленно сказал: "Пусть я умру за твои яички". Три вещи понял утром Амирханов. Во-первых, такой гость, генерал, да еще не простой, как намекнул Девяткин, – почет ему, секретарю райкома, повысит его авторитет в глазах населения. Во-вторых, из Гугирда, столицы республики, пришлют для генерала

все, что надо, – коньяк, наверно, пару дюжин бутылок, не меньше двух жирных баранов, кондитерские изделия, конфеты-манфеты, жена и старшие детишки обрадуются. В-третьих, он усек слова Девяткина насчет плохих дорог: не иначе, как хотят пробить через горы рокадную дорогу. К морю? К нефти? О, Аллах всемогущий, еще покажет себя кагарский район!

Генерал прибыл без предупреждения Девяткина. Амирханов распекал председательницу колхоза, терпеливо ждали своего часа другие два председателя, вызванные Амирхановым, когда к зданию школы, где теперь весь первый этаж временно занимали райком и райисполком, подъехала машина, из которой вышли Везиров, нарком внутренних дел республики, и высокий, слегка сутулящийся, немолодой генерал в старомодных очках.

Амирханов с достоинством направился навстречу гостям. Он был в папаче, но без пальто, в гимнастерке. С гор продолжал дуть восток. Везиров, такой же низенький, как и Амирханов, но тонкий в талии, женоподобный, как виночерпий на персидской миниатюре, представил Амирханова генерал-майору, товарищу Виктору Николаевичу Семисотову. Генерал-майор приветливо улыбнулся, губы у него были узкие, бледные, рот длинный, зубы сплошь золотые, как и ободки на стеклах очков. Амирханов пригласил обоих к себе в кабинет.

– Это Фатима Сафарова, – сказал он, – боевая председательница колхоза имени Орджоникидзе, думаем представить ее к награде, но это пока секрет, правда, Фатима? Муж у нее уже заслужил орден на фронте. Работает без отдыха, а сама мать четырех детей, старшему, Алиму, тринадцать лет, у него исключительные способности к рисованию, хотим его отправить в художественное училище в Баку или в Тбилиси.

– Очень рад, здравствуйте, – пожал руку председательнице генерал-майор. По-братски провел смуглой, изящной рукой по ее черному головному платку нарком Везиров.

– Здравствуй тебе, – сказала генерал-майору Фатима, ее властные, умные глаза как бы погасли, и она, оробело, спиной к двери, удалилась, прижимая не по-женски большие руки к груди.

Генерал-майор, усаживаясь, повел разговор:

– Трудная доля досталась нашим женщинам. Им, прямо скажем, порой не легче, чем мужьям на фронте. А вам, товарищ Амирханов, воевать не приходилось?

– Три раза подавал заявление, просил, не отпускают.

– Нам, солдатам партии, надо стоять там, где партия нас поставила.

– Он у нас с пожарами привык воевать, – позволил себе пошутить Везиров. Генерал-майор чуть-чуть, как пристало в таком случае, улыбнулся бледной улыбкой, ему уже успели рассказать эту давнишнюю историю. Но понял генерал, что надо и как-то поправить Везирова, подбодрить хозяина. Он сказал:

– Мне нравится, товарищ Амирханов, что вы хорошо знаете своих людей, вот даже талантливую мальчугана запомнили по имени. Похвально.

Амирханов осмелел:

– Есть такой хабар. В районе проводили открытое партийное собрание. Зал был битком набит. Приехал представитель обкома, сел в президиуме рядом с секретарем райкома, который, как полагается, вел собрание. Вдруг до президиума донеслось, что в переполненной зале кто-то, извините, испортил воздух. Секретарь райкома немедленно приказал: "Мухаммадиев, выйди!" Во время перерыва представитель обкома спросил секретаря: "Как это ты среди такого количества людей, да еще при немалом количестве беспартийных, узнал, что навонял именно Мухаммадиев?" А секретарь райкома ответил: "Мы свои кадры знаем". Может, я рассказал не к месту, но могу заверить, что в районе каждого жителя знаю, кто чем дышит.

Длинноротый генерал опять улыбнулся своей бледной улыбкой, кивнул головой, решил, что этот анекдот перескажет в Москве, а Амирханов, видно, не дурак, только с виду простоват.

– Беседа интересная, – учтиво вмешался Везиров, – но, может быть, продолжим ее в доме товарища Амирханова? Я думаю, что он лицом в грязь не ударит, хотя время военное, трудное.

Потом обратился к Амирханову:

– Ты чего на меня смотришь растерянными глазами? Боишься, что мы обо всем не позаботились? У тебя на дворе уже стоит полуторка.

Везиров поднялся и сказал высокому гостю:

– Прошу прощения, товарищ генерал-майор, что в вашем присутствии заговорил с Амирхановым не по-русски. Хозяйственные заботы.

– Что ты, надо поощрять наших работников, изучающих местные языки.

– Не моя заслуга, товарищ генерал-майор. Тавларский язык очень похож на наш, азербайджанский, и мы, и они – тюркоязычные.

То, что Амирханов имел возможность разговаривать с наркомом внутренних дел республики не по-русски, а на родном языке, создавало между ними теплоту общения, и это иногда помогало Амирханову в повседневной работе. Но Амирханов знал, помнил и другое о Везирове.

Чуть ли не с начальных лет советской власти первым секретарем обкома был у них Сулейман Нажмудинов, герой гражданской войны, партизанский вожак, лично известный товарищу Сталину. За огромный рост и черные усики его прозвали Петром Великим. Местные рифмоплеты-одописцы величали его пехлеваном, то есть богатырем-исполином, что, говорят, потом ему поставили в вину, так как этот эпический троп был закреплен стихотворным социалистическим реализмом за товарищем Сталиным. Однако товарищ Сталин, через посредство центральной печати, всячески поднимал личность Нажмудинова. Считалось, что население республики крепко любит Нажмудинова. В одной из трех республиканских газет напечатали, что Сулейман Нажмудинов имеет такую же власть над врагами народа, какую его тезка, премудрый царь

Сулейман, имел над джиннами, злыми духами. Редактор газеты был награжден орденом.

В тридцать седьмом году, когда Амирханов работал в обкоме партии инструктором по торговле, Везиров был охранником Сулеймана Нажмуддинова: даром, что маленький да тоненький, а был Везиров мастером спорта по вольной борьбе в легком весе, и никого не удивляло, что огромного, могучего Нажмуддинова бережет от опасности женственности маленький Везиров.

Как-то отправили Амирханова к соседу, секретарю горкома знаменитого курорта. Речь шла о том, чтобы Курортторг согласился, пусть в ограниченном объеме, снабжать и республику. В горкоме знакомые ребята сказали Амирханову:

– Первый тебя сегодня не примет. Сейчас здесь на отдыхе Андрей Андреевич Андреев. Он сидит у первого в кабинете. Кстати, вашего Петра Великого вызывали, скоро приедет.

– Так я подожду его у вас.

– Подожди, кто тебя гонит, – согласились знакомые ребята.

И действительно, не прошло и часа, как появился огромный Нажмуддинов. Орден боевого красного знамени за героизм в годы гражданской войны пылал на его френче. Он тяжело прошел, ни на кого не глядя, в кабинет секретаря курортного горкома. Его сопровождал Везиров, верный охранник. Нажмуддинова вытолкнули из кабинета через пять минут. Руки его были связаны, на месте ордена зияла дыра. Два чекиста наставили на него свои карманные пушки. За ними следовал взволнованный Везиров. Когда почудилось, что Нажмуддинов хочет освободиться от обвязавших его ремней, маленький Везиров ловко подскочил и ударил Нажмуддинова в подбородок. Оба чужих чекиста и Везиров не без труда вывели Нажмуддинова на дворик горкома. Дверь кабинета распахнул секретарь горкома, и важно вышел Андрей Андреевич Андреев. Член политбюро выглядел старше, чем на обильно развешанных в стране портретах. На его простоявшем лице монголоида тлел нездоровый румянец. Что мог почувствовать правоверный курейшит, когда увидел, как в Мекке избивают Божьего посланника Мухаммеда? Точно так же, если не больше, был потрясен Амирханов. Он долго еще вспоминал огромного Нажмуддинова (которого, говорят, в ту же ночь расстреляли у тюремной стены курортного города), и маленького Везирова, ударившего в подбородок того, кто, казалось, самодержавно правил республикой семнадцать лет.

– Умен Андрей Андреевич, – сказали Амирханову знакомые ребята. – Вызвал вашего сюда, чтобы арестовать здесь, а не в республике, где его мюриды могли бы затеять волюнку. Так спокойней, – и уже отчужденно посмотрели на раздавленного Амирханова.



## Глава вторая

Гость по-тавларски – кунак, по-гушански – густан. В каждом доме есть обязательно комната для гостя. У тавларов она называется кунацкой, у гушанов – густанхазом. Гушаны – индоевропейцы, мы надеемся найти время и место, чтобы рассказать о том, как они оказались в этих местах, "густан" напоминает русское "гость", а "хаз" – немецкое "хауз", дом. Кунацкая обычно убрана со вкусом, на стенах ковры, на полочках – кувшины, изделия местных гончаров, на широкой кровати много подушек, на полу палас. В кунацкую ведет отдельный вход, расположена она так, чтобы гость не видел внутренних комнат, не видел женщин. Хотя теперь прежние обычаи забываются, жена Амирханова и их семилетняя дочь, ненароком встретившись на дворе с генералом-майором, стыдливо и косо прикрывали лицо рукой.

Семисотов старался не быть хозяевам в тягость. Он рано уезжал на машине, а возвращался вечером, шофер у него был тавлар, Амирханов его немного знал, его звали Темир, он работал у Везирова. Перед ужином нагревали для Семисотова воду, ежевечерне он купался в сарайчике рядом с кухней, в большом корыте. Роль банщика исполнял Темир. По утрам Семисотов, в пижамных брюках, голый до пояса, умывался на дворе из рукомойника. Амирханов распорядился, чтобы к обряду омовения был готов нераспечатанный кусок туалетного мыла, чтобы на гвоздь вешали свежее полотенце. Целый ящик такого мыла, не считая нескольких кило хозяйственного, прислали из Гугирда специально для генерала. Глинобитная уборная содержалась в приличном порядке, на ночь Семисотову ставили в кунацкую эмалированное ведро, таково было указание Везирова, а выносила хозяйка дома. Иногда Семисотов брал почитать перед сном книгу. Амирханов пыжился, говорил самодовольно:

– Библиотечка кое-какая есть. У меня был план – собрать тысячу книжонок. Война помешала, план выполнил только наполовину.

Из чрезвычайно немногословного Темира Амирханову удалось кое-что выудить. Генерал-майор побывал в нескольких селениях, беседовал с людьми, – Темир служил ему переводчиком, – больше всего интересовался дорогами. Забеспокоился, когда узнал, что высокогорный аул Куруш зимой практически отрезан, из-за бездорожья, от остального мира. Амирханов понял, что догадка его правильная, генерал прибыл, чтобы на месте изучить возможность строительства удобной дороги.

А кто будет строить? Если объявят народную стройку, плохо придется колхозникам. Но, быть может, потому-то приехал не простой генерал, что хотят сюда пригнать заключенных? Тоже мало радости.

Как-то Амирханова позвал к себе секретарь расположенного пониже, в предгорьях, райкома. Население там было гушанское, кагарцы с теми гушанами соревновались. Сосед настойчиво просил привезти

генерал-майора, но Семисотов наотрез отказался, да еще лицо у него при этом стало таким, что Амирханов почувствовал себя нехорошо.

Сообщательства обсуждали долго, пили еще дольше, у гушанов такая привычка, – напоить гостя до бесчувствия, Амирханов ловчил, старался обмануть собутыльников. Он вернулся ночью, отпустил своего шофера. Дом спал, спал и Семисотов. У плетня Амирханову померещилась какая-то тень. "Я пьян, что ли?" – рассудительно подумал Амирханов, но тень к нему бесшумно приблизилась, и Амирханов узнал генеральского шофера. Амирханов встревожился:

– Что-нибудь случилось, Темир?

– Тише, Магомед, есть разговор, – ответил шепотом Темир, и Амирханов еще больше встревожился.

Ночь была безмолвная. Ветер утомился. Из-за вершины неожиданно появилась прозрачная луна, осветила облако, зацепившееся за бойницу башни, сторожившей в старые времена кагарское ущелье. Темир отвел Амирханова к развалинам соседнего дома и все тем же шепотом спросил:

– Мы одной крови, Магомед?

– Можешь со мной говорить как брат.

– Так скажи мне сначала: кто такой у немцев Кылейсыт?

– Клейст. Генерал. Командовал немецкой танковой группировкой.

– Он был на нашей земле?

– Был, говорят.

– Теперь держи в ушах каждое слово. Наши друзья гушаны сказали генералу, что мы, тавлары, обрадовались приходу немцев и подарили тому Кылейсыту белого иноходца под бархатной попоной, а на седле были изречения из Корана, выведенные чистым золотом.

– Семисотов сам тебе это сказал?

– Сам сказал.

– А как сказал? С весельем?

– Плохо сказал. С предупреждением. Ты поговори с ним. Мое имя назовешь, – вычеркнешь меня из книги живых.

– Мы одной крови, Темир.

В воскресенье Амирханов предложил генералу отправиться в горы повыше, взглянуть на знаменитые водопады. Генерал неожиданно охотно согласился. Когда миновали последний дом, генерал обратил внимание на старинную башню. Она возвышалась среди скал, поросших букowymi деревьями. На уровне, примерно, двух третей ее длины, считая от земли, образовался прямоугольный пролом, сквозь который таинственно дымились облака, еще хранившие память о ночной жути. Амирханов объяснил:

– Камень привозили с гор. Как доставляли сюда такие гранитные глыбы, – до сих пор историки не понимают. Ни одна арба не выдержит. Башня состоит из пяти ярусов; каждый ярус высотой в четыре метра, мы замеры делали до войны. Первый ярус – для скота, во втором хранили продовольствие, в третьем и четвертом прятались женщины, дети, дряхлые старики, а на самом верху – воины.

– С кем же воевали?

– Врагов было много. Монголы, арабы, персы, турки.

– Русские?

– Когда башни в горах строились, здешние племена о русских не слышали. Башням, наверно, тысяча лет. Наш народ очень древний, достойный народ. Мы и при белом царе с русскими не воевали, наш народ считался "мирной", так у Лермонтова сказано.

– А с гушанами бывали стычки?

– Никогда, товарищ генерал. Мы во все времена с гушанами близко-близко, – и Амирханов вытянул указательные пальцы обеих рук и стал их легко ударять друг о друга, пока не скрепил окончательно, чтобы наглядно показать, как тавлары близки с гушанами.

– Магомед Амирханович, давно хотел у вас спросить. Я из машины вижу каждое утро, через два дома от вас, старика, который в папаше и трусах занимается гимнастикой. Неужели обычай это позволяет? Все-таки не нашего поколения человек, а у самой дороги – почти голый.

– Когда верующие совершают намаз, молитву, значит, они пять раз в день то вниз пригибаются, то поднимаются вверх. Называют это ракат. Вот и старик взял за основу ракат для своей физкультуры.

– Но, знаете ли, сейчас зима, холодно, такое и в русской деревне было бы удивительно, а здесь, на Востоке... Кто этот старик?

– Гомер двадцатого века. Неграмотный, но мудрый.

– Позвольте, позвольте. Мусаиб Кагарский? Как это я сразу не догадался!

– Мусаиб Кагарский. Депутат Верховного Совета СССР. Два ордена Ленина имеет.

Семисотов почему-то смутился:

– Замечательный поэт. Во всех школах нашей многонациональной страны его произведения изучают. А его поэма о товарище Сталине переживет века. Да, сложно, сложно.

– Почему сложно, товарищ генерал? – Амирханов насторожился.

– Стихи писать сложно. Да еще такие шедевры.

Он не пишет. Он неграмотный. Устно складывает. Сядет на террасе, возьмет в руки саз и складывает. Половину Корана знает наизусть. Память у него изумительная. Здесь у нас мулла был, враг народа, много лет по-арабски в медресе учился, а Коран знал хуже нашего Мусаиба, состязался с ним, – терпел поражение. Мусаиб и по-персидски говорит, в Баку научился, на нефтепромыслах работал, нищета из аула погнала. А выпьет, – он только домашнее вино пьет, – Омара Хайяма продекламирует. Красиво, очень красиво. Про его поэму о великом вожде вы, товарищ генерал, веско сказали: века переживет. По-русски она звучит хотя и неплохо, но как-то авторизовано, в плен не сразу берет, а когда самого Мусаиба слышишь или по-тавларски читаешь, то слезы удержать нельзя.

– Почему? Разве поэма печальная? Она героическая, зовущая.

– От счастья плачешь, товарищ генерал. За душу хватает.

– Его, кажется, Горький открыл?

– Да, буревестник революции, Алексей Максимович. На первом съезде писателей. А ведь сначала Мусаиба на съезд послать не хотели.

– Это почему?

– Старая история. У нас тогда пролез в первые некто Сулейман Нажмудинов. Разоблачен как враг народа.

– Помню.

– Нажмудинов был по национальности гушан. Гушаны очень хорошие люди, трудолюбивые, гостеприимные. Но Нажмудинов, честно говоря, был буржуазным националистом. Он выдвигал гушанского писателя Хакима Азадаева. Поныне здравствует, плодотворно работает. Слышали о нем, наверно?

– Кое-что слышал, – уклончиво сказал Семисотов, и Амирханов понял, что имя Хакима Азадаева генералу незнакомо.

– Он в Гугирде живет. Ничего плохого о нем не скажу, писатель он, конечно, выдающийся, но всякий согласится, – до нашего Мусаиба Кагарского ему далеко. Настоящая его фамилия Шарматов, а это показывает, что он – дворянского происхождения, шарматы – предки гушанов, по-русски пишется "сарматы". Азадаев очень эрудированный помусульмански, медресе кончил, был в молодости муллою, ездил в Багдад, в Дамаск, в Мекку. Во время гражданской войны, есть такой хабар, он приветствовал лжеимама, которого нам привезли турецкие оккупанты.

– Что значит "хабар"?

– Хабар – это слух, базарный слух. Потом Хаким искупил свою вину, воспел коллективизацию, боролся с адатами. Он даже подходящий псевдоним себе придумал: Азада по-гушански – "Свободный". В партию вступил. Так вот, нашей республике предоставили только одно место, писательская организация у нас тогда была куцая, и Нажмудинов, используя свой высокий пост, решил послать на съезд соплеменника. Местничество, товарищ генерал, и теперь – бич нашей республики. Но на бюро тавлары набрались храбрости, спросили: "А почему не Мусаиба Кагарского? Он бедняк, рабочий, а Хаким Азадаев – бывший мулла". Ну, позвонили в Москву, объяснили обстановку, – у нас два народа, там поняли нас, и на съезд поехали оба.

– Выходит еще до речи Горького знали в ваших краях о Мусаибе?

– Его стихи по всем тавларским аулам переходили из уст в уста. Был такой случай, – и Амирханов, предвкушая удовольствие, которое сейчас доставит высокому гостю, да и себе, расхохотался. Расхохотался и Темир, ловко управляя рулем на зигзагах горной дороги, извивающейся над пропастями. Темир знал, о чем сейчас расскажет Амирханов.

– Один тавлар решил в горах открыть харчевню. Как раз накануне первой мировой войны. А у нас тогда натуральное хозяйство преобладало. Феодално-родовой строй. Вот и сложил Мусаиб про эту харчевню сатиру.

Дальше Амирханов говорить не мог. Он захлебывался от того смеха, который воспел другой Гомер, не двадцатого века. Его круглое, всегда

загорелое лицо стало похоже на лицо фавна. Чудный восторг овладел секретарем райкома.

– Захожу, говорит, в харчевню, а мне, говорит, подают суп холодный и несоленый. Две-три ложки съел, противно, говорит, стало, прошу стакан чаю, а чай мне подают холодный и несладкий. С трудом, говорит, сделал два-три глотка, проклинаю, говорит, хозяина, хочу уйти, а он меня за бешмет хватает, уйти не дает, мол сперва заплати. Я, говорит, отвечаю, где это слыхано, чтобы тавлар тавлару платил за угощение, да еще за такое?

Амирханов в сладостном изнеможении всем своим квадратным телом растянулся на заднем сидении машины. Задыхаясь от смеха, он дополнил рассказ эпилогом: хозяин харчевни вынужден был покинуть родной аул, уехать за тридевять земель от насмешек. Теперь, видимо, мысленно вспоминая строки о харчевне, испытывал высшее, духовное наслаждение. Возникла возможность, понял Амирханов, поведать генералу, какой хороший, уважаемый народ тавлары, рассеять гушанские наговоры. А, может быть, ничего такого гушаны не говорили, Темир не понял генерала? Но история с белым иноходцем, якобы подаренным Клейсту тавларами, беспокоила Амирханова. Времена такие, – и от пустого слова бывает большая беда. Он поближе наклонился к Семисотову, сутулившему свои узкие плечи рядом с шофером, и продолжил рассказ, поучительный рассказ, необходимый его народу.

– Наш Мусаиб не только несравненный поэт. Он очень находчивый. Когда в Кремле был прием передовиков сельского хозяйства, к Мусаиму подошла супруга товарища Кагановича. Конечно, мы старика приодели, – папаха из коричневой мерлушки, бешмет синий, черкеска с газырницей, сапоги хромовые, – все новенькое, по мерке. – Скажите уважаемый Мусаиб, – спрашивает у него супруга товарища Кагановича, – сколько у вас дочерей? – А у Мусаиба две дочери, они и сейчас здесь живут, мужья у них на фронте. Старик, пусть будут долгими его годы, не растерялся. – У меня, говорит, три дочери, самая красивая – за Кагановичем. – Супруге, конечно, приятно такое остроумие, женщина, она Лазарю Мойсеевичу пересказала, он тоже подошел к Мусаибу, руку ему пожал, спросил про успехи нашего овцеводства. Но Мусаиба не проведешь, овцеводство овцеводством, а свой народ каждый любит, вот он и отвечает:

– Знающие люди мне сказали, что у людей твоего племени есть великий ашуг, а зовут его Салам Алейкум. Хорошее имя.

Лазарь Мойсеевич, конечно, догадался, что Салам Алейкум – это Шолом Алейхем, классик еврейской литературы, и поцеловал нашего гениального старика.

– Поцеловал?

– Поцеловал, товарищ генерал-майор. Все видели. Фото есть. Разве я позволю себе вас неправильно информировать? У тавларов бытует поговорка: "Пусть наше лицо увидят таким, какое оно есть".

Семисотов нахмурился. В маленьком движущемся домике машины стало тихо, тягостно. Семисотов сам это почувствовал. А посторонним

не надлежит проникать в его заботы. Он улыбнулся во весь свой длинный, тонкогубый рот и по-дружески спросил:

– Как случилось так, что Горький на съезде писателей отметил именно Мусаиба Кагарского, а не его, так сказать, конкурента, того, другого...

– Азадаева?

– Да, Азадаева.

– Сам я, конечно, на съезде не присутствовал, но Сулейман Нажмудинов собрал нас, работников обкома, больших и малых, чтобы рассказать об огромном успехе республики в области культуры. В Колонном зале, где происходил съезд, было очень жарко, в августе проводилось мероприятие, участники обливались потом, обтирали лицо платочками, а члены президиума все время пили минеральную воду. Вот и видит Алексей Максимович: сидит в президиуме старик, и не как другие, в рубашке без пиджака и галстука, а в черкеске и в папахе из целой овцы, сидит и не шелохнется, сидит важно, сидит достойно, слушает ораторов, будто понимает их, и ни капельки пота под папашой. Алексей Максимович заинтересовался удивительным стариком. Ему объяснили, – кто он и откуда. Во время перерыва Алексей Максимович, в сопровождении ближайших соратников, подошел к Мусаибу и задал вопрос в художественной форме:

– Кто ты, многоуважаемый собрат?

А Мусаиб спокойно, не волнуясь, как будто крестьянина на горной тропе повстречал, ответил через переводчика (мы обоим нашим делегатам, за счет республики, по переводчику дали), да, так и отвечает через переводчика:

– Я такой же старик, как и ты.

Мы, тавлары, открытый народ, заискивать не умеем. Горький это сразу понял, недаром он – основоположник пролетарской литературы, прозорливо смотрел на мир, и ему очень понравился ответ, посоветовал предоставить Мусаибу слово. Вы подумайте, республика наша маленькая, писателей у нас тогда – меньше дюжины, а нам такой почет, дают слово на съезде, как будто мы – Украина или Грузия. Мусаиб тут же, в один миг, сложил в стихах приветствие к съезду и пропел на тавларском языке.

– Как же Горький мог судить о качестве стихов на незнакомом языке?

– Сердце сердцу весть подает.

– Я следил по газетам и журналам. По-русски стихи читаются легко.

– Перевод качественный. Московский поэт переводил, Станислав Бодорский.

– Он знает ваш язык?

– Нет. Так, несколько слов. Моя-твоя. Он по-гушански лучше понимает. Ему подстрочники подготавливают, а он их стихотворно обрабатывает.

– Этот Бодорский – не русский? Еврей? Почему у него такая фамилия? Я знаю, у вас есть селение Бодор. Может быть, – псевдоним?

– Он русский. А на равнине, вы правы, есть такое гушанское селение. Были князья Бодорские, треть земли нашей республики им принадлежала, гушаны по национальности. Заграницу бежали.

– Переводчик из этих князей?

– Не могу сказать. Я как-то, когда работал в обкоме инструктором по торговле, получил задание – сопровождать его в поездке. Он совсем молодой был, ему и сейчас тридцать с чем-то, сам высокий, стройный, красивый, очень на гушана похож. Вот проезжаем через Бодор, а Станислав уже в настроении был, здорово нас угостили в предыдущем районе, и высунул он голову из машины, крикнул: "Приветствую тебя, мой добрый народ!" Остроумный он. Теперь Станислав на фронте, говорят в армейской газете. Веселый человек, милый.

– Звучное название – Бодор, – похвалил Семисотов. Но Амирханов был неусыпно на страже тавларских интересов:

– Золотом режу ваши слова, товарищ генерал. У нас тоже названия аулов имеют ценность. Например, тот же Куруш, о котором вы меня как-то спрашивали. Куруш – имя древнего персидского царя.

– Я вижу, что вы знаете историю. Какое у вас образование?

– Плехановский институт в Москве окончил. Коммерсант по профессии. Но люблю читать всякие книги. Когда я еще в Гугирде работал, у нас весь актив, бывало, на футбольный матч выезжает, а я книгу читаю, мне хоть бы этого футбола и вовсе не было.

– Напрасно. Игра народная. Но кстати о Куруше. – Семисотов проявлял любопытство. – Неужели аул всю зиму отрезан от остального мира напрочь? Много ли у вас таких аулов? Как добираются туда партийные и советские работники, как проводят колхозные собрания, не пускают же все на самотек, наконец, как жители аула спускаются вниз, если есть важное дело, например, участие в выборах?

– Туда зимой на машине добраться нельзя, и верхом нельзя. Когда ситуация плохая, тавлары говорят: "На небо взлететь, – крыльев нет, в землю зарыться, – когтей нет". Но тут положение не такое безвыходное, как кажется. Пешком по крутой тропе добраться можно. Трудно, но можно. Наверх подняться и вниз спуститься.

– А вы, Магомед Амирханович, могли бы?

– Пацаном был, – бегал туда. Да и недавно, когда скот в Грузию перегоняли, поднимался в Куруш, – соврал Амирханов. – Правда, весна была, но реки и родники так разлились, что, клянусь всемогущим Аллахом, нелегко мне было. Надо будет, – поднимусь.

– А в другие два высокогорных аула вашего района, – в Сурхай и в Жилгин?

– И туда попадем. Вы, товарищ генерал-майор, уже хорошо изучили наши горы.

Амирханов увидел, что Семисотову безыскусная похвала пришлась по душе. Дорога между тем, извиваясь над бездной, уходила вдоль скал и, сужаясь, приближалась к альпийским пастбищам. Виднелись чинарники,

сосновый лес. Вот промелькнул круторогий тур, промчавшийся по скользкому камнепаду. Скалы напоминали крепостные башни. Кто их воздвиг? Титаны? Полубоги? Они молчат, скалы, но они помнят, а, значит, мыслят. Мысль есть память о том, что было. Когда ничего не было, не было и мысли на земле. Скалы помнят, как здесь все было залито бушующей, бесконечной, тяжелой водой, а неподалеку плыл ковчег, и вода упала, и земля обнажилась, и вышли из ковчега люди, звери и отвыкшие летать птицы. Скалы помнят и тех людей, которые были предками нынешних обитателей, и те люди здесь жили совсем недавно, вчера или позавчера по каменному счету. Да, в сущности, счет один у камня, у реки, у человека, у облака, и мысль одна, у всех одна, только людям кажется, что у них особая, человеческая мысль, а особой мысли нет, и нет камня, и реки нет, и птицы нет, и зверя нет, и человека нет, есть только видимость, есть только мысль в непрочном виде камня, зверя птицы, человека, реки, и эта мысль есть ничто иное, как память о том, что было.

Знал ли Амирханов об этом? Может быть, и знал, но другим, не в плехановском институте полученным знанием, ему самому неизвестным, которое и не знание вовсе в обычном значении затасканного слова, а нечто другое. А что?

Приблизились к водопадам. Машина остановилась, дальше проехать нельзя было. Спутники вышли, ступая по мокрой, не густо заснеженной земле. Водопады застыли. Движение воды оледенело, была только видимость движения, белая видимость бывшего падения воды. Но вода не умерла, она просто затихла, чтобы спокойно подумать, спокойно подумать, а думать — значит вспоминать. И ты, Амирханов, подумай, тебе надо подумать, надо вспомнить. Онемей и подумай.

Через два дня генерал-майор покинул дом Амирханова, тепло попрощавшись с противившей его семьей. Темир выражением глаз, понятным только тавлару, подтверждал, что генерал благодарит от души, что в тавларском ауле ему было хорошо.

А еще через два дня Девяткин вызвал Амирханова в Гутирд, на заседание бюро обкома.



## Глава третья

Гугирд – железнодорожный тупик, в который упирается недлинная ветка от станции Тепловской. Близлежащие населенные пункты – это либо горячие, пыльные станицы в два-три порядка, поименованные, как правило, в честь казачьих генералов, героев войны с Наполеоном, либо топонимика такова, что завораживает воображение историков. А у большинства людей нет исторического воображения, потому что они живут в том кажущемся, что сами называют временем, а время у людей человеческое, призрачное, мгновенное, и то, что было всего лишь мгновение назад, скажем, в первом тысячелетии условной, кажущейся эры, людям неизвестно, или мало известно, или, что еще хуже, люди самоуверенно думают, что это было давно, а это было вчера, и пыль на предметах нынешнего обихода поднята вчера конями гуннов, хеттов, аланов, сарматов, скифов, или сегодня утром – конями монгольской орды. Для русского Калуга, например, или Тула – обычные города, губернские до революции, областные по сегодняшней терминологии, а всего лишь мгновение назад названия этих городов обозначали для всадников Чингиза или Батыея заставу и место, где куется оружие. На русский, по крайней мере, дореволюционный слух Бердичев или Балта – это черта оседлости, пейсы и лапсердаки, чеснок да жидовский борщ, но всего лишь мгновение назад это были места восточных рыцарских сражений, в Бердичеве слышен бердыш, Балта по-турецки – топор. А Гугирд? Знают, что есть такая небольшая столица небольшой автономной республики в курортных краях, но кому приходит в голову, что "гирд" – слово древнеиранское, что на языке Авесты означает оно ограду, город, и по звукам оно похоже на эти славянские слова. Но что такое приставка "гу"? О, как много важного, значительного в этом коротком "гу", которым начинаются и Гугирд, и Гуниб – родина Шамиля, и Гушаны – название народа. Может быть, нам кое-что объяснит то, что загадочное "гу" – одно из самых древних земных слов, оно слышится в персидском "гушт" – мясо, в русском "говядина", и не только то, что человек ест, но и то, что он испражняет, содержит в себе этот древний звук. И то место, которое топчут быки, когда молотят хлеб, начинается звуком "гу" – гумно. А на санскрите "гу" – бык. Гугирд – город быков? Или – поэтичнее – город туров? Люди, жившие здесь, сравнивали себя с горными турами, и полтора тысячелетия назад в летописях засвидетельствовано это наименование, полтора тысячелетия назад, то есть вчера, да, да, вчера, это подтверждают камни, они помнят, потому что знают, потому что не меняются, да и люди не меняются, но люди, имея неполное, прерывистое знание, чванливо думают, что они теперь другие, не такие, как вчера, потому что летают на самолете, а не ездят на арбе, но ведь иные и сейчас ездят на арбе, а самолеты, можно предположить, летали над этими горами в былые, отошедшие времена, – как будто на самом

на самом деле есть времена отошедшие или грядущие. Больше или меньше был древний Гугирд нынешнего, сохранившего черты казачьей станицы с одноэтажными домами или даже с мазанками и только кое-где безвкусно возведенными новыми, сравнительно, высокими зданиями, где расположены важнейшие (и страшнейшие) учреждения и жилища правящих? Но в воздухе Гугирда чувствуется нечто иное, миф парит в этом воздухе, почти зримый, осязаемый миф. Незадолго до войны начали строить самое главное правительственное здание, война, слава Богу, пощадила эллинское полукружие незавершенных стен, и, видимо, архитекторы почувствовали, не отдавая себе в этом отчета, дыхание мифа, и вот от стен, от широкой площади перед ними веет воспоминаниями об ионическом полисе, ибо греки доходили и до этих мест, а, впрочем, и греки, и гушаны — родичи-потомки одного и того же племени: вчера все это жило, волновалось, надеялось, пело, вчера, вчера, а завтра, которое наступит через другие полтора кажущихся тысячелетия, изменит только видимость, а сущность останется неизменной: камень, река, человек и небо над ними.

В городе любили пересказывать слова Мусаиба Кагарского: когда он был еще не столь знатен, понадобилось ему съездить, — на ослике, как Гомеру, — в столицу республики за какой-то справкой. С тех пор, говорил Мусаиб, как в аулах появились люди с портфелями, крестьянам не стало житья без справки. — И вот, — повествовал Мусаиб, — из райисполкома меня погнали в горисполком, из горисполкома в Совнарком, из Совнаркома в обком, а при белом царе всем городом заправлял один становой пристав, и у него был один писарь, и этот писарь все, что надо крестьянину, делал за десять минут, и стоило это десять копеек.

Поскольку новое здание обкома не успели достроить до войны, а прежнее разрушила война, обком занял трехэтажное помещение этнографического музея. Кабинет Девяткина был расположен на третьем этаже, на который вела лестница, устланная ковровой дорожкой. Приемная сохранила следы музея, на ее стенах остались висеть чучела туров и оленей. Над рыжей курносой Алевтиной, над ее столом с тремя телефонами, рядом с дверью, ведущей в кабинет Девяткина, красовалась на полке серебряная чаша с арамейской надписью, попавшая сюда во втором веке из ахеменидского Ирана. Музейный экспонат. Вчера эта чаша выкована, вчера.

Алевтина была человек нужный, Амирханов ей кое-что из аула привез, но огляделся — в приемной сидело три человека, и все трое — секретари райкомов. Пока Амирханов с ними весело здоровался, он не сразу, но с тем большей остротой внезапно напрягшегося зрения увидел, что все три секретаря — тавлары, ни одного гушана. Что за странность!

Те трое тоже ощутили эту странность, их испуганное недоумение передалось Амирханову, сердце его сжалось. В республике было четыре тавларских района и семь гушанских, почему же в приемной нет ни одного гушанского секретаря? Амирханов уже кое-что начинал понимать и не хотел, боялся понимать, испуганное недоумение надо было спрятать

от себя и от других. Они расспрашивали на родном языке, на таком сладком и уже тревожном родном языке, о том, какая у кого погода, о женах и детишках, хотя знали, чувствовали, что совсем другие вопросы следует задавать друг другу. Под столом у Алефтины загорелась крохотная лампочка, — ее вызывали в кабинет. Она быстро оттуда вернулась и пригласила войти четырех секретарей райкомов. Девяткин сидел не на своем обычном месте, на его месте, под протретом Сталина, сидел Семисотов.

Когда четверо вошли в кабинет, генерал поднялся и, приветливо глядя сквозь очки с золотыми ободками и сутуля плечи, пожал каждому руки, пригласил, как радушный хозяин, поудобней усесться, выделил Амирханова, спросил о здоровье его жены и детей, всех перечислил по имени, запомнил. Да, он был теперь хозяином, он, а не глава республиканского правительства Акбашев, подпиравший стену кабинета, долговязый тавлар с длинной узкой головою и ничего уже не видящими обезумевшими глазами потерявшей след борзой, он, а не Девяткин, усадивший Амирханова рядом с собой на диване, Девяткин, чья карьера сегодня рухнула, он, а не гушан Парвизов, секретарь обкома по пропаганде, кандидат исторических наук, кудрявый до такой степени, что напоминал Семисотову еврея из экстернов. Сегодня или завтра Парвизов станет первым секретарем обкома, первым человеком в республике, он это знал, но он знал и то, что он слуга, навечно слуга, а хозяин — Семисотов, навечно хозяин.

— Дорогие товарищи, — обратился Семисотов к четверем вызванным, — прежде всего разрешите зачитать вам важный государственный, партийный документ, — и негромким, невыразительным голосом прочел указ советского правительства о массовом, поголовном выселении лиц тавларской национальности из пределов республики в Казахстан. Причина выселения — предательское сотрудничество тавларов с немецкими оккупантами.

Голос генерала на мгновение окреп, когда он прочел под указом подпись Молотова, потом опять стал негромким, невыразительным:

— Операция нелегкая, особенно в условиях горной местности, она поручена солдатам государственной безопасности, и мы с честью и бесстрашием ее выполним, но нам, как всегда и везде в нашей стране, нужна помощь тружеников-коммунистов, и в первую очередь — коммунистов тавларской национальности, и особенно — партийных вожakov, то есть, ваша помощь, товарищи. Вы должны помнить, что вы, прежде всего, — коммунисты, и коммунистами останетесь впредь, — на этом обнадеживающем месте своей речи Семисотов остановился, как бы ожидая рукоплескания, — да, прежде всего, — коммунисты, а потом уже тавлары. Вы должны нацелить всех жителей тавларских районов на четкое, быстрое, без излишней суеты и эмоций, неукоснительное выполнение указа советского правительства. Операция будет проведена 21 января, в день годовщины смерти Владимира Ильича Ленина, когда люди будут свободны от работы. Каждой семье дается один час на сборы, разрешается взять по одному чемодану или другому виду тары (рюкзак,

мешок, небольшой сундучок) на каждого члена семьи, включая грудных детей. В каждом селении будут ожидать жителей исправные грузовые машины под брезентом. Из труднодоступных горных аулов жители отправятся пешком или на ослах и мулах до того места, где пересядут в грузовые машины. Мы вам поможем, но вы, дорогие товарищи, не смотрите на себя, как на скопище обреченных жертв, вы должны действовать активно, потому что вы отвечаете за то, чтобы все жители ваших районов были посажены в грузовые машины. Ни одного тавлара, вне зависимости от возраста, пола, состояния здоровья, занимаемой должности, прежних заслуг, ни одного воина Красной Армии, демобилизованного по инвалидности или по другим причинам, не должно остаться ни в одном селении, поселке, городе. Если глава семьи русский, или гушан, или представитель другой, не подлежащей выселению национальности, а жена – тавларка, то вся семья, включая жену и детей, не выселяется. Если же глава семьи – тавлар, а жена – другой национальности, не подлежащей выселению, то семья, включая детей, должна быть выселена, но жена, по своему усмотрению, может остаться в республике. Документы на такого рода семьи уже подготовлены, но и вы проследите за их правильностью. Все ли ясно, товарищи, есть ли у кого-нибудь вопросы?

Какие могут быть вопросы, когда все так ясно, как снежная вершина Эльбавенда, освещенная утренним солнцем? Но у Семисотова было еще одно важное сообщение:

– Грузовые машины с населением доедут до станции Тепловской. Там люди будут погружены в вагоны. На всем пути следования их обеспечат питанием. Будет и санитарный вагон. Партийному и советскому руководству, выдающимся деятелям науки, литературы и искусства предоставят один мягкий, два купейных вагона. И два плацкартных. Свое имущество эти товарищи могут взять с собой без всяких ограничений. В дороге они получают питание повышенной калорийности. По прибытии в Казахстан они будут хорошо трудоустроены, главным образом, на хозяйственной работе, но, в отдельных случаях, на советской и даже на партийной. Я понимаю ваше настроение, дорогие товарищи, по-человечески вам сочувствую, нелегко покинуть места, где родился и вырос, но еще раз напоминаю: прежде всего, мы – коммунисты, и слово партии, любое указание партии для нас – святая святых.

Секретари тавларских райкомов поняли, что совещание закончено, и вышли из кабинета. Девяткин и Ақбашев хотели было задержаться, но когда Семисотов спросил: "Вы не очень торопитесь, товарищ Парвизов?", – они, остро ощутив свою уже ненужность, удалились вслед за четверым. Ночной Гугирд темно молчал, – электричество даже и в не столь позднее время плохо действовало, – вчера целый день шел дождь со снегом, на улицах был гололед.

Вместе с ночью молчали и люди, четверо впереди, двое позади. Четыре районных машины старчески медленно следовали за своими хозяевами по булыжнику мостовой. Водители знали, что ночью по домам

не разъедутся, будет, как всегда, пьянка до утра в доме одного из городских тавларов. Вот идут они по своей ночной столице, будущие спецпереселенцы и их старший брат. О чем они думают? О чем они думают в эту беззвездную, безглагольную ночь? Не о том, о чем надо думать.

Девяткин прикидывает: когда он проморгал свою судьбу? Он родился на станции Тепловской, в бедной казачьей семье. Во время коллективизации назначенный председателем колхоза, он расправлялся со станичниками с такой опьяняющей жестокостью, что заметил его и отметил Сулейман Нажмуддинов, сделал его, малограмотного, наскоро закончившего какие-то трехмесячные курсы, заведующим сельскохозяйственным отделом обкома. Вскоре Девяткину предложили сообщать о Сулеймане Нажмуддинове куда надо. Девяткин прилежно сообщал. Вот Нажмуддинов хвастался тем, что имел беседу с товарищем Сталиным на пленуме ЦК, во время перерыва. Товарищ Сталин будто бы спросил у него: "Сулейман, ты "Войну и мир" читал? – Ей-богу, читал, товарищ Сталин, – ответил Нажмуддинов. – Тогда скажи: ты выше меня или длиннее меня? – Я сталинец, – догадался воскликнуть богатырь-гушан, трепеща перед низкорослым грузином, и тот одобрительно посоветовал ему: – Иди в буфет кушать. – Вот Нажмуддинов, через одного из своих холуев, дал указание писателю Хакиму Азадаеву воспеть его, и стихи в русском переводе через спецкора "Правды" были отправлены в центральный орган партии и там напечатаны. А спецкор – тоже гушан по национальности. Вот Нажмуддинов переспал с сестрой-хозяйкой на республиканской правительственной даче, и такая деталь: сестра-хозяйка попросила у своей подруги, завскладом, (Девяткин умно не умолчал, что он спал с той завскладом) раздобыть ей шелковую комбинацию на ленточках, мол, теперь ей уже неудобно носить рубашку из простого мадополама. Вот Нажмуддинов, рассердившись на председателя Совнаркома Акбашева, крикнул ему в присутствии Девяткина: "Тавларский ишак!", оскорбил национальное чувство скромного главы республиканского правительства. Все мелочи вроде, а складывается из таких мелочей мало привлекательный облик зазнавшегося партбюрократа. А вот уже не мелочь: приезжал на охоту в горы республики Бухарин, еще не до конца разоблаченный, тогда – редактор "Известий", и Нажмуддинов сопровождал его, рабски лебезил перед ним, никого из обкомовцев с собой не брал. И хотя Нажмуддинов сообщал туда же, куда и Девяткин, о каждом слове и поступке Бухарина и его секретаря, неразлучного с ним Ляндерса, сообщение Девяткина оказалось более важным, чем сообщения Нажмуддинова, и когда Нажмуддинова расстреляли, Девяткина избрали первым секретарем обкома. И он неплохо, как будто, работал, республика из года в год перевыполняла план по кукурузе и бахчевым, увеличивались производственные мощности консервных заводов, росли поголовье скота и культура, – на весь Советский Союз, можно сказать, на весь мир прозвучал голос Гомера двадцатого века Мусаиба Кагарского (то, что слава Мусаиба загорелась при Нажмуддинове, малосущественно), и во время войны Девяткин оказался на высоте,

спас скот без больших потерь, а когда строился оборонительный укрепленный пояс, в его доме ночевал несколько суток Лаврентий Павлович Берия, руководивший этим строительством, обаятельный человек, высоко образованный. Как-то Лаврентий Павлович сказал ему: "Переходи, Девяткин, работать ко мне, здесь – тупик, и не только железнодорожный". Девяткину понять бы намек, все знал, все предвидел Лаврентий Павлович, хотел ему добра, да проморгал Девяткин, не маячили ему органы, партийная работа, что ни говори, почетней, шутка сказать, – первый секретарь обкома, член Центральной ревизионной комиссии, но проморгал ты, Девяткин, член Центральной ревизионной комиссии, свое счастье, попал в тупик, и уже тебе приготовлена малогабаритная квартирка в Москве, жалкая должность, а квартирку и должность пообещал тебе три месяца назад товарищ Маленков, когда вызвал в Москву и предупредил о предстоящем выселении тавларов...

Рядом с Девяткиным осторожно ступает по обледеневшему тротуару худой, долговязый Акбашев. Они соседи, их секции – друг против друга. Нехороший совет дал ему Девяткин три месяца назад, а дал ему Девяткин совет: когда поедет Акбашев в Москву (подходящий предлог для этого найдем), пусть добьется личного свидания с товарищем Маленковым и вручит ему список тавларов-предателей родины, числом, скажем, в пять тысяч: так, мол, предотвратишь поголовное выселение всего народа, ста тысяч человек. И Акбашев сам, не доверяя подчиненным, составил список, в который вошли пропавшие без вести воины Красной Армии (и их семьи, разумеется), личные недруги Акбашева, предполагаемые или действительные, дальние родственники репрессированных (близкие родственники давно были отправлены в лагеря или в ссылку), несколько сот семей, оставшихся при немцах в Гугирде. И добился Акбашев личного свидания с Маленковым, и вручил ему отпечатанный на меловой бумаге список, и утробное бабье лицо Маленкова вроде бы помятцело, но нет, не помог список, плохой совет дал Девяткин, копию списка отправят в Казахстан, и Акбашева – в Казахстан, Акбашева, такого же спешпереселенца, как и весь его народ, только в мягком вагоне он поедет. Или в купейном?

А в это время, в сплошном мраке беззвездной, безлагодной ночи светились только окна того кабинета, где беседовали Семисотов и Парвизов.

– Как вы расцениваете, Даниял Заурович, указ советского правительства? – По-чеккистски прямо спросил Семисотов. И Парвизов быстро сообразил, что ответ его должен быть искренним, честным:

– Указ, по-моему, своевременный. Иного выхода нет и быть не может. Но мне жаль тавларов, большая трагедия народа.

– Вы говорите о трагедии народа. Но любой ли народ заслуживает названия социалистической нации? Мне доподлинно известны гениально-простые слова товарища Сталина по этому поводу. "В народной песне, – сказал Иосиф Виссарионович, – поется: "За столом никто у нас не лишний". Песня хорошая, патриотическая, но, к сожалению, мы оказались доверчивыми, оказалось, что есть лишние за нашим столом. Мы

их – за стол, а они, неблагодарные, – ноги на стол”. Мысль вождя надо понимать расширительно.

Парвизов встревожился, но встревожился в глубине своей сути, кожа у него была из камня, из горного камня, он нашел нужные слова:

– Мне доверили высокий, ответственный пост. Опыта у меня мало. Научите меня, как понимать мысль вождя расширительно.

Парвизова рекомендовали в первые секретари не без участия Семисотова, изучавшего материалы о нем и на него, и Семисотов увидел, что не ошибся в этом сравнительно молодом человеке, который до войны был заместителем наркома по просвещению, полтора года провоевал на передовой, был ранен, награжден орденом и отозван в распоряжение обкома партии, стал секретарем по пропаганде, а теперь будет первым. Семисотов уже говорил с ним, как со своим воспитанником:

– Мы ликвидировали ряд республик, чье население избрало путь предательства, сотрудничества с немцами, не сумело сидеть за нашим дружным советским столом. Ваша республика очищается от тавларов. Но дело не в таких мелких разбойничьих народностях. По всему Советскому Союзу расплодилось, как саранча, одна нация, которую преступно называть социалистической.

– Какая нация, Виктор Николаевич?

Семисотов встал, сутуля узкие плечи в генеральском кителе, близко наклонился над продолжавшим сидеть Парвизовым и уколол его взглядом сквозь стекла очков:

– Много ли таких, как вы, кудрявых, среди гушанов?

– Редко, но попадают, – смешался Парвизов. Он не ожидал подобного вопроса. Семисотов пожал ему руку:

– Спокойной ночи, Даниял Заурович. Желаю вам успеха на новом ответственном и трудном посту. Завтра увидимся.

Он вышел, и вскоре до слуха Парвизова донесся гул его машины. Парвизов отпустил Алевтину домой: – Я сам запру, – сказал он. Ему хотелось остаться одному в главной комнате республики. Теперь на родной земле нет человека выше его, выше только Москва. Он, Парвизов, спас свой народ.

Уже несколько месяцев знали секретари обкомов о намечаемой операции. Должны были выслать всех – и тавларов, и гушанов. У Парвизова созрел отчаянный план действий. Впрочем, сама идея была простой, сложно было ее осуществить. Необходимо было приехать в Москву. Секретарь обкома может приехать в Москву только тогда, когда столица его позовет. У Парвизова был приятель-инструктор Цека: вместе учились, закончили исторический факультет пединститута имени Бубнова (теперь Ленина). Его-то Даниял Заурович (отныне вся республика будет называть Парвизова только по имени-отчеству: Даниял Заурович) попросил устроить ему вызов в Москву. Предлог был подходящий: ожидалось разрешение Цека на издание в республике комсомольских газет на двух родных языках, по такому вопросу, как правило, докладывает секретарь обкома по пропаганде. Великая трудность заключалась в том, что, помимо этого проекта решения о газетах, имелось

сверхсекретное сверхрешение о выселении обеих национальностей, о ликвидации республики и о разделе ее территории между соседними русскими областями и Грузией. К чему тогда комсомольские газеты на языках, которые будут считаться несуществующими?

У Парвизова был природный дар: он владел тем искусством, которое необходимо каждому советскому человеку на любом уровне: искусством актера. Между прочим, может быть, потому-то наш театр влачит жалкое существование, что все население страны гораздо больше актеры, чем деятели сцены. Парвизов вел себя в Москве так, как будто речь шла не о судьбе целого народа, а об обыденном, хотя и серьезном, партийном деле. К тому же молодому секретарю помогали внешние данные. У него было открытое, всегда веселое лицо смелого горца, но достаточно культурного. Возможно, в его жилах текло немного калмыцкой крови, и монгольская миловидность в сочетании с арийской, гушанской мужественностью и стройностью плясуна, с необычной для гушана кудрявой головой делали его привлекательным не только для женщин, но, что важно, и для мужчин. К тому же он умел пить, не пьянея, отлично, без акцента, говорил по-русски, его отец был школьным учителем, значит, был Парвизов, как теперь говорят, интеллигентом во втором поколении, тосты он произносил великолепные, остроумные, он сознавал свое очарование и умело приспособился им пользоваться, и вот, преодолев сотни преград, с помощью друзей и друзей своих друзей, он сделал так, что его допустили не к какому-нибудь заводу, а к самому Маленкову. Властительный центурион Сталина, Маланья, как его презрительно-ласково называл вождь, выслушал Парвизова с безразлично-внимательным выражением бабьего лица, но внезапно оживился, когда Парвизов сказал:

– Разворот первого номера обеих газет хотим украсить заголовком – цитатой из высказывания товарища Сталина: "Гушанский народ вышел на дорогу свободы и счастья".

Безразличие Маленкова исчезло мгновенно, лицо стало жестким, властным, даже молодым:

– Откуда цитата?

Этого вопроса и ждал Парвизов, это и был его отчаянный план:

– Из приветствия гушанским коммунистам в июле 1921 года.

– Почему только гушанским, а не тавларским?

– Тогда еще не было нынешнего размежевания, не было и Гушано-Тавларской АССР, у нас, у гушанов, была своя автономная область, нас потом соединили с тавларами. Товарищ Сталин находился на кратком отдыхе в Гугирде, в санаторной местности Заозерье. В это время гушанские коммунисты собрались на свой первый съезд, товарищ Сталин, по состоянию здоровья, не мог на нем присутствовать, прислал приветствие.

– В трудах оно помещено? Год издания? Страница?

Парвизов дал точные сведения. Добавил:

– Во всех изданиях напечатано. Мы цитируем по книге: "Ленин и Сталин о Средней Азии, Северном Кавказе и Закавказье".



– Книга у вас с собой?

Маленков, конечно, понял, в чем была истинная причина того, что Парвизов, минуя нижестоящие инстанции, добился приема у него, почему заговорил о заголовке в газетах. Значит, и книгу принес.

Парвизов достал из портфеля драгоценный фолиант, подал Маленкову, раскрыв книгу на нужном месте. Маленков всем своим бабьим лицом, даже, казалось, всем рыхлым телом своим впился в священные буквы (“Как наш сельский мулла в суры Корана”, – подумал Парвизов). Он читал эти полстраницы долго, видимо, несколько раз перечитывал, обдумывал. Помолчал, глядя не на Парвизова, а куда-то в запредельную даль кабинета, потом сказал, – не сказал, а промолвил, изрек:

– Полиграфическая база у вас слабая, две газеты для комсомольцев выпускать пока не сможете, издавайте только одну, на гушанском языке.

В этот миг Парвизов понял, что победил, что народ его спасен. Изречение вождя – великая сила, но только тогда, когда это изречение помнишь вовремя, тактично. А недалекий Акбашев послушался совета недалекого Девяткина – и проиграл. Все они умные, пока у них есть власть. А отними власть даже у этого Маленкова, – и что от него останется? Не выше мула он по уму, даром, что, наверно, холощенный. А что останется от Семисотова, если отнять у него власть? Но власть у него, вторую революцию не сделаешь, и не случайно сравнил Семисотов некую нацию с саранчей. Будет еще одна беда. А ведь дети Парвизова наполовину принадлежат к этой нации, его жена Надежда Григорьевна по паспорту Надежда Гиршевна. Спрячься, Парвизов, спрячься внутри своей сути, пусть видят только твою кожу, будь веселым, открытым, энергичным, властным, жестоким, ты теперь как царь Ирод, и пусть зависишь ты от назначенного Москвой прокуратора, а все-таки – царь, и твоя Надежда Гиршевна – царица этой горной маленькой державы, и дети твои будут расти, как принцы, только спрячь свою суть, играй, Парвизов, играй с блеском.

## Глава четвертая

Амирханов объяснял генералу правильно: аул Куруш действительно получил свое имя от древнего персидского царя, которого в русских учебниках ошибочно называют Киrom, что у ученых персов, слушающих на симпозиумах русских историков, вызывает веселое недоумение, так как персидское "кир" соответствует и по звучанию и по смыслу нашей самой краткой брани. Кто, однако, дал аулу это название? Территория нынешней Гушано-Тавларской АССР находилась в вассальной зависимости от царя Куруша. Но сам ли могущественный завоеватель побывал в этой горной глуши, и, пораженный одиноко и венценосно возвышавшимся над вершинами селением, нарек его в свою честь? Или это сделали его потомки? Слуги? Пишущий эти строки всего лишь любитель чтения исторических книг, дилетант, и ответить на этот вопрос не в состоянии. Когда совсем недавно, в восемнадцатом веке, на землю тавларов нагрянул выскочка-шах Надир, человек, подобно Гитлеру, наглый и не слишком грамотный, он доказывал принадлежность Персии захваченного куска земли, основываясь на том, что здесь самый высокий аул носит персидское имя. Но это такая же чушь, как та, которую, совсем уже недавно, распространяли немцы, окружившие Ленинград: земля, мол, здесь немецкая, а доказательство – названия городов: Петербург, Петергоф, Ораниенбаум. Что мы знаем о прошлых веках? Что мы знаем о прошлых годах? Врут учебники, врут газеты, только миф – правда.

Могли бы назвать этот аул Курушем гушаны, родственники персов по языку, у которых были сложные отношения с ахеменидской династией, но точно известно, что гушаны в этих местах никогда не селились, так высоко в горы не забирались. А высота умопомрачительная. Сразу же за районным центром почти вертикально устремляется над бугристым колхозным пастбищем узкая тропа, шириною в метр, кое-где в полтора метра, вышиной в километр. Пишущий эти строки однажды, будучи молодым, взобрался по этой тропе в аул, и сердце у него тогда замирало от ужаса перед пропастями невысказанной глубины по обе стороны каменной тропы. Пишущий эти строки снова приблизился по бугристой пастбищу к тропе через двадцать лет, но уже не решился подняться в аул, даже не верил себе, что когда-то осмелится на это решиться, и до чего стало стыдно ему, когда он увидел, как школьники, смеясь и подпрыгивая, сбегали по страшной тропе, к тому же и скользкой, ибо дело происходило поздней осенью.

Эта почти вертикальная узкая тропа посреди горной бездны связывала жителей Куруша с остальным миром, который они называли нижним. Земля у них была скудная, наделы, как говорится, буркой крошешь, мужчины на целых полгода уходили на заработки, одни – в ближние места, добирались до Дона, другие – подальше, шли в Турцию, Сирию и даже в Египет, где, есть слух, один курушанин стал везирем.

Занимались курушане разными ремеслами: ремеслом кузнецов, ремеслом златоковачей, ремеслом нищих, а некоторых очень боялись дети в окрестных селениях, — они боялись тех, кто занимался ремеслом мусульманского обрезания, издали угадывали их каким-то чутьем.

Кузнеца Исмаила увела судьба на север дальше, чем других: он строил канал Волга-Москва. Как-то, в 1932 году, он резко оборвал придиравшегося к нему фининспектора, тот, даром, что такой же тавлар, пришел ему политическое дело — злостный забой собственных овец, и Исмаилу дали пять лет: уже сама краткость срока показывала, что дело пустяковое. К тому времени, когда случилась великая беда с его народом, Исмаилу стукнуло шестьдесят. Он видел много, он знал много. Он читал по-русски и по-арабски, он исходил казачьи станицы Дона и Кубани, он работал в кузнях Дамаска, где родилась лучшая в мире сталь. Но такого, как на строительстве канала, он не видел никогда. "Страшный суд! Даджжаль (мусульманский антихрист) пришел!" — восклицали односельчане, когда, вернувшись домой, Исмаил рассказывал им о пльвших между плотинами тупах. Вернулся Исмаил хромым, — ему камнем отдало ногу, а срок ему скостили до трех лет, — не потому, что он охромел, он и хромым оставался на каторжных работах, — а потому, что у него были зачеты, немало дней вырабатывал он по 151% нормы.

Ох, и пировали же в Куруше! В русской деревне, наверно, побоялись бы встретить так душевно, даже восторженно, бывшего зека, но все жители Куруша были одного рода, одной крови, а общность рода выше государства, важнее государства, прочнее государства, да и здешние скалы, облака над скалами, кустарники между скалами были с людьми одного рода-племени, и тоже принимали участие во всеобщем деревенском пире.

А как хорошо было на душе у Исмаила, когда, после канала, тяжелого, как кандальная заклепка, он вновь увидел свою постаревшую, исхудавшую Айшу, своего сына Мурада, помощника в кузнечном ремесле, стройного подростка, горбоносого, как коршун, увидел своих друзей, свои камни, свои облака, свои деревья, свои сакли с навесами-продолжениями плоских крыш, свой аул, со всех сторон окруженный головокругительной бездной и только тропой, тонкой, как сират, Господень мост в рай, соединенный с остальной тавларской землей.

Исмаил опять стал колхозным кузнецом. Первые послекаторжные годы ему помогал Мурад, потом Мурада забрали в армию. Из близких родственников у него в живых осталась лишь одна сестра Фатима, некогда выданная замуж в нижний аул. Секретарь райкома Амирханов, конечно, знал о прошлом ее старшего брата, но другого выбора у него не было, мужчин взяла война, а Фатима из бедняков, в колхоз они вступили с мужем одними из первых, Исмаил обучил сестру русской грамоте, что в ту пору было большой редкостью среди горянок, а Фатима была женщина работающая, смышленная, передовик сельского хозяйства, исполнительная, правда, чего скрывать, отсталая: религиозная, но, с другой стороны, именно поэтому ее уважали колхозники, верили ей.

Когда, накануне ленинского дня, Исмаил, пропахший дымом, с покрытой копотью аккуратной и округло подстриженной бородой, с покрасневшими от кузнечного огня веками, дохромал до своей сакли, его сердце налилось радостью: к нему в гости, чтобы в праздник быть вместе, поднялся из нижнего мира Алим, тринадцатилетний любимый племянник, сын Фатимы. Мальчик уже успел расставить вдоль стены, за очагом, на дощатом топчане, укрепленном на глиняных ножках, свои картины в грубо сколоченных рамах. Старая Айша ухитрилась испечь для племянника в золе очага несколько пресных лепешек из остатков ячменя. Она припасла и орехи на зиму (ореховое дерево росло перед саклей), они золотились на маленьком трехногом круглом столике. Исмаил и Алим обнялись, но, как полагается правоверным, губами друг друга не коснулись. Большеглазое, породистое, удлиненное лицо мальчика еще не научилось по-восточному скрывать свое волнение, а волновался он потому, что его дядя, как мастер работу мастера, стал осматривать его картины. Это были копии – портреты вождей и портреты более привлекательных лиц. Карл Маркс был похож на тавларского муллу, только чалмы не хватало. Понравился Исмаилу портрет Айши во весь рост. Племянник приукрасил жену кузнеца, изобразил ее в большой, богатой шали, которой у нее не было, а ноги обул в короткие чулочки из сафьяна и того же цвета туфли, которых у нее тоже не было. С одобрением взглянул Исмаил и на себя. Алим нарисовал карандашом его лицо и часть туловища, оборвав его на газырницах бешмента. Исмаил удивлялся сходству, не понимая, что юный живописец не уловил выражения его пронизательных голубых глаз.

– Зачем плохого человека рисуешь, – укоризненно спросил дядя, указывая опаловым, потемневшим от копоти пальцем на портрет Сталина. Мальчик раскрыл рот в священном ужасе. Айша, неодобрительно покачав головой в черной повязке, напомнила:

– Пророк запрещает рисовать.

– Пророк запрещает рисовать Аллаха, – уверенно возразил кузнец, – ибо от Аллаха никто не сокрыт и ничего не сокрыто, сам же он сокрыт ото всех и от всего. А хромого кузнеца Исмаила и старуху Айшу ни одна сура, ни один аят Корана рисовать не запрещает.

В Куруше появление нового человека, поднявшегося из нижнего мира, даже будь этот человек ребенком, – всегда событие. В саклю кузнеца, одна за другой, приходили соседки, они выражали свое восхищение картинами Алима, щелкая пальцами и издавая языком и губами звук, каким понукают в России лошадей, и нехотя удалялись. Пришел и одноногий, однорукый Бабраков, с медалью и красной ленточкой раненого на гимнастерке, видная личность – завклубом. Он, как взрослого, обнял уцелевшей рукой Алима и, опираясь на костыль и на мальчика, вздохнул по-мусульмански, то есть придавая вздоху определенный смысл, устроился на топчане и наставительно сказал:

– Никогда не забывай, Алим, что по матери ты родом из Куруша, здесь твоя родина. Так подари нашему клубу портреты вождей. И твоя мать обрадуется за сына, за свой род, когда весь Куруш, этот минарет

горской земли, будет смотреть на твои картины.

Так сказав, Бабраков снова вздохнул со значением. Исмаил понял, что завклубом хочет ему сообщить нечто важное, но ждал, чтобы начал Бабраков. И Бабраков, как будто, начал:

– Языки наших женщин, как жернова. Но мельница шумит, а мелева нет. Ты ничего не слышал, Исмаил?

– А что услышишь в кузне? Мехи надуваются, огонь скачет, железо гремит.

– Ты мудр, Исмаил. Но сегодня гром кузни тебе уже не помешает, и завтра не помешает, – выходной день, напряги свой слух, нужен твой совет. А что касается тебя, Алим, то я передумал. Картины твои не в подарок возьмем, а купим. Оформим, как следует, может, удастся, продуктами заплатим, не бумажками.

– Продуктами лучше, – ответил за племянника Исмаил, – Ты что-то сказал о всяких разговорах. Известно, что репейник растет на скале, а слух – на площади. Когда пойдем в клуб, – услышим, узнаем.

Аульный клуб стоял посреди широко и неровно разбежавшейся площади на пологом склоне горы. Он прежде был мечетью, и ничего в постройке не изменилось, если не считать двух квадратных окошечек, прорубленных для показа фильмов. Эти окошечки разрушили замысловатый орнамент стен. Никто в Куруше не знал, даже читавший по-арабски Исмаил, что орнамент в действительности является сложенными в слова буквами старинного арабского алфавита, называемого куфическим, а слова складывались в изречение из Корана, и под русским лозунгом ”Дело Ленина-Сталина победит!” ученые арабисты прочли бы вечные слова о Боге и Его посланнике, и о том, что надо бояться огня, уготованного неверным, огня, чье топливо – люди и камни. Но, хотя горские крестьяне не разумели ни старинной, ни поздней арабской азбуки, они твердо знали, что война пощадила клуб, беспощадно уничтожив соседние дома, потому что прежде клуб был святой мечетью.

На площади уже собирались жители. Им было известно, что после доклада покажут фильм ”Ленин в Октябре”, и хотя все его не раз видели, – приятно было ожидание развлечения в этой голодной, скудной, скучной жизни. Женщины постарше прятали волосы под повязкой, сверху были наброшены на них ветхие большие черные шали, сложенные треугольником, с закинутыми на спину концами, девушки и девочки были одеты более по-теперешнему, по-городскому, одежда была нищенская, но кое у кого сохранились цилиндрические высокие шапочки, украшенные вышивкой и посеребренным шариком. Инвалиды войны, несмотря на зиму, были в гимнастерках, без бурок, ноги – в изношенных чувяках, но зато головы – в огромных папах, ибо горец может быть разут и в рваном бешмете, но обязательно в хорошей папаше (лучшее в человеке – голова) и при кинжале. Увы, кинжалы были запрещены... Мальчики тоже были в папах и в изодранных, не по росту куртках с капюшонами из войлока. Как седые орлы на горных скалах, восседали на корточках восьмидесятилетние старики.

Исмаил поздоровался за руку со всеми мужчинами. К нему — что не полагалось по обычаю — подошла Сарият Бабракова, колхозный чабан. Это была статная женщина лет за тридцать, брови ее над переносицей соединялись полоской черной краски, высокоскулое лицо было обветрено. От нее пахло снегом и овечьей мочой. Первый муж ее погиб на фронте, оставив ее с двумя детьми, она вышла замуж во второй раз за однорукого, одноногого завклубом Бабракова, вернувшегося с войны более полугода назад, но брак они оформили недавно, соседки, сначала не одобрявшие ее, теперь успокоились. Месяцев прошло вроде немного, но уже было заметно, что Сарият ждет третьего ребенка. Однажды на нее напал волк, когда она повела свою отару на пастбище повыше, где трава была гуще, волкодав не мог справиться с разбойником, и Сарият убила волка пастушьей ялыгой, но серый перед смертью успел изорвать бурку ее покойного первого мужа, в которую была одета Сарият, и она кое-как залатала ее кусками войлока. До войны женщины никогда не были чабанами. Голос у Сарият стал хриплым, неженским:

— Хочу тебя спросить, Исмаил, хочу, чтобы ты дал мне правильный ответ, ты ведь горец грамотный, бывалый, около самой Москвы, хоть и не по своей воле, три года провел, знаешь низины и вершины. Скажи нам, Исмаил, почему сегодня другой человек у нас о Ленине докладывать будет?

— Какой другой человек?

— Кто у нас все годы войны докладывает доклады? Фазилеву, редактора районной газеты, к нам наверх посылают. А сегодня у председателя уже пьет и закусывает другой человек, сейчас и здесь появится. А знаешь, кто этот другой человек? Биев.

— Биев? Начальник районного НКВД? Надо лучше?

— Начальник НКВД будет нам про Ильича и текущий момент рассказывать. Мальчишки видели, как он входил в дом председателя, живот здоровый, больше моего, на каждом боку — по револьверу.

Исмаил вспомнил тревожные, непонятные слова мужа Сарият, завклубом Бабракова. Да, надо своему уму дать отстояться. Начальнику районного НКВД не положено доклад об Ильиче докладывать, идеология — не его поле, другое поле у начальника НКВД.

Сарият, как будто прочла его мысли, добавила хрипло:

— Есть хабар, что нас хотят выгнать из Куруша в нижний аул. Исправят разрушенные дома и нас в них поселят. А то большому начальству трудно до нас добираться. Вот и прислали Биева, чтобы нас заранее подготовил к переселению, а заодно он и ленинский вечер проведет.

— Аллах Акбар, владыка миров, что же будет с Курушем? Что будет с могилами наших предков? Разве живые могут навсегда покинуть своих мертвых?

Так спрашивал Исмаил, у самого себя спрашивал, у собравшихся вокруг него односельчан спрашивал. В коляске подкатил, зло улыбаясь, красавец — истинный черкес, как бы прыгнувший со страниц кавказских поэм Пушкина или Лермонтова. Впрочем, прыгнуть он не мог даже со страниц, за сталинградскую медаль он заплатил обеими ногами.

– Саям алейкум, Исмаил.

– Ваалейкум саям, Ахмед. На коляску не жалуешься?

Коляска Ахмеда была сработана Исмаилом. Кузнец сделал и удобный руль, – сам придумал его конструкцию.

– Спасибо тебе, танк в исправности. Значит, получим сегодня от Биева указание, в каком порядке спуститься вниз. Приготовь свой мешок, Исмаил. А наш Куруш...

Ахмед не договорил: появился Биев в сопровождении Бабракова. Все мысленно отметили, что с ними нет председателя колхоза. Почему это? Ленина, что ли, не уважает? Две кобуры чернели на двух мягких боках Биева, два портрета Ленина и Сталина, два портрета кисти мальчика Алима держал он подмышками.

Население втиснулось в клуб, уселось в помещении бывшей мечети. Биев, чтобы все видели, поставил портреты вождей прямо на сцене, перед столом, и присел к сидевшему за столом Бабракову, прислонившему к спинке стула костыль. Еще один портрет Сталина висел в михрабе, – в нише, когда-то указывавшей молящимся направление в сторону Мекки. По давно немывтым деревянным ступенькам поднялся на сцену секретарь парторганизации. Бабраков, после кратких вступительных слов, соответствующих печальному, но насыщенному оптимизмом событию, объявил, что доклад сделает наш уважаемый товарищ Биев.

Начальник НКВД Кагарского района был высок, мордаст, брюхат. Голова его устроилась на плечах, как бы не нуждаясь в шее. Узкие глаза запылили плотным, светло-розовым мясом. В Куруше сохранилась очень чистая тюркская речь с большим, правда, количеством слов арабского происхождения, но приобретших тюркское звучание с ударением на последнем слоге, а Биев, хотя и читал по бумажке, говорил по-тавларски дурно, если же отрывался от бумажки, то соединял тавларские слова искаженными русскими, вроде "туда-суда", "так сказать", "в общем-целом". Он привык заканчивать свои выступления призывным выкриком: "Надо лучше!" Однажды он провозгласил: "Да здравствуют солдаты Дзержинского, наши органы безопасности, которые хорошо служат Советскому Союзу, надо лучше!" – С тех пор его прозвали "Надолучше".

О Ленине он говорил мало, больше о Сталине, о близкой победе, требующей напряжения и жертв, бумажка привычно увязывала великие дела всей страны с колхозными заботами и задачами Куруша. Выкрикнув с неподдельным подъемом все необходимые, ставшие уже безъязыкими здравицы и дождавшись, пока смолкли все необходимые аплодисменты, Биев, окончательно оторвавшись от бумажки, объявил:

– Портреты величайших вождей всех народов нарисовал присутствующий здесь ученик пятого класса Алим Сафаров. Хорошо нарисовал, надо лучше!

Опять раздались аплодисменты, на этот раз – от всей души, действительно одобрительные. Алим застеснялся, все это заметили, аплодисменты усилились, но Биев вздетой рукой показал, что у него есть еще одно объявление. Жители уселись, стали слушать.

— Давно уже колхозники жалуются на трудности жизни в Куруше. Справедливо жалуются. У вас нет врача, — ни один медработник, так сказать, не хочет наверх подняться. У вас нет школы, — ни один педагог не хочет, туда-суда, жить в таких условиях. В общем и целом обком партии, правительство республики учли жалобы колхозников и решили, несмотря на военное время, улучшить вашу жизнь, предоставить вам благоустроенные дома в одном из нижних аулов. Теперь и детишкам будет хорошо, — там школа имеется, в Куруше немало инвалидов войны, больных стариков и старух, все нуждаются в медицинской помощи. Скоро Сарият нам подарит смелого джигита, и не надо будет ей с ее вьюком спускаться по тропе: чуть что — больница рядом. Дорогие горцы и горянки, поздравляю вас, готовьтесь к новой жизни, надо лучше!

Шутливыми словами о беременной Сарият начальник районного НКВД хотел вызвать веселое оживление в зале, показать понимание обычных человеческих тревог и радостей, что всегда сближает с народом, но вызвал страх, смятение, негодование, брань. Случилось и непредвиденное: Алим поднялся на сцену, взял портреты Ленина и Сталина, и, высоко держа их, спрыгнул, а не сошел по ступенькам. Население закричало:

— Никогда не покинем Куруш! Он лучше всех городов нижнего мира! Никогда не покинем город мертвых — могилы предков!

Ахмед, управляя рулем, выкатил свою коляску вперед. Опираясь на поручни, поднявшись на обрубках, безногий и красивый, он бросал в толстую морду Биева сильные и бессильные слова:

— Плохо говоришь, Биев, подло говоришь! Разве ты горец? Ты — жирная свинья, пусть тебя съедят неверные!

Поднялась женщина Сарият, беременная будущим спецпереселенцем, поднялась, большая, как облако, в своей бурке чабана:

— Будь проклято чрево, в котором ты был зачат, свинорылый шайтан! Где председатель? Почему он прячется от нас?

Русская матерщина, смешанная с изысканной тавларской бранью и мусульманскими проклятиями, потрясала стены испоганенной мечети. Кино смотреть не стали, вышли на площадь. Биев и секретарь партийной организации незаметно, по-лиси скрылись. Никто не знал, что секретарь партийной организации, как и честно предупрежденный Биевым председатель колхоза, сейчас заняты укладкой вещей: им разрешили взять не по одной, а по три кладки на каждого члена семьи. Биев беспokoился, нервничал, — успеют ли у него дома уложиться как следует, ему было дано завидное право взять вещи и продукты без ограничений, да жена у него бестолковая, одна надежда — на мать и тещу, хозяйственные старухи. Увы, сам он должен был остаться до завтрашнего утра в Куруше.

А Куруш не спал. Долго шумели на площади. Пусть хорошо грамотные по-русски, Исмаил и другие, вместе с мудрейшими стариками, составят письмо в обком и Совнарком, на имя Девяткина и Акбашева, который, хотя и не из Куруша, но тавлар, да еще из Кагарского ущелья, не могло же окаменеть на большом посту его тавларское сердце.



Крупно и низко горели звезды, заснули вершины гор, убаюканные музыкой их свечения, но в домах не спали. Как покинуть место, где жили испокон веков, жили уже тогда, когда московских хозяев не было, Москвы не было, как покинуть минарет горской земли? Алим где-то прочел, что Куруш – самое высокое из населенных мест Европы. А когда начнут переселять? Видно, не раньше лета, – надо сперва отремонтировать внизу разрушенные дома. Исмаил мысленно сочинял письмо, но понимал, что пустая это затея, строитель канала Волга-Москва хорошо знал хозяев.

Заснули перед самым рассветом, а на рассвете их разбудили: гул "дугласов" задрожал над вершинами гор, на полуавтоматических парашютах "ПД-41" выбросили на неровную землю Куруша авиадесантников. Молодые чекисты врывались в дома, требовали, чтобы жители в течение одного часа уложили вещи, по одной клади на человека, включая детей. Биев и начальник десантного отряда разбили отряд на группы, в каждой – по два десятника, значит, рассчитали так, чтобы десантников было в два раза больше, чем домов: Семисотов умел считать. Среди десантников были и женщины, и не только потому, что мужчины нужнее на фронте; гуманное правительство понимало, что операция необычная, среди высылаемых – большинство женщин, немало и дряхлых старух, немало больных, возможны и беременные, здесь хрупкая чекистка пригодится скорее, чем иной тяжелоатлет.

Ворвались десантники и в саклю Исмаила, парень и девушка, оба курносые, гладколицы, как бы безглазые, ибо в глазах не душа светилась, а тусклая, даже не звериная, а какая-то отчужденная от всего живого злоба.

Эти двое сперва кричали, матерились, потом поостыли, даже стали помогать, чтобы ускорить дело, собрать вещи, но торопили, торопили. Наконец, три клади были уложены. Алим приладил к плечам хурджин – горскую переметную суму, в одной руке у него были портреты Ленина и Сталина, в другой – Исмаила и Айши. Маркса, как видно, он решил оставить. Десантница возмутилась:

– Что ж ты, ешь твою двадцать, взял пять кладей? Сказано ведь русским языком – по одной клади на человека. Глупый ты парень, чего взял, – картинки. Тут, может, получше вещи есть, да оставить надо, приказ.

– Я сам нарисовал, не оставлю портреты, убейте меня, а не оставлю, – закричал Алим, и в его крике слышались и детский плач и недетский гнев. Десантник сказал:

– Полина, хай хлопец визьме свои малюнки, а як дийдемо до машины, там и побачимо. А в машину малюнки покласты йому не буде дозволено.

Десантница смягчилась:

– Ладно, бери, ешь твою двадцать.

Собрали жителей, всех до единого, как приказал Семисотов. Плач детей, проклятия женщин, жуткое молчание старцев и еще более жуткое, трагическое молчание красивоглазых мулов. Начали спускаться по тропе.

Через каждые пять человек — по десантнику. Впереди — Биев, а замыкал высылаемых начальник отряда. На этой почти вертикально низвергнутой тропе чекисты утратили свою уверенность. Голова кружилась на тонкой нитке земли между безднами. Исмаил взял на свою долю самый тяжелый из трех хурджинов. Он, конечно, понял, уже перед рассветом понял, что речь идет не о переселении высокогорных аульчан вниз, — иначе дождались бы весны, даже лета. Набрехал Биев, районный кум: весь Куруш, а, может быть, весь народ, вся республика выселяется в дальние, уж не в сибирские ли края, поэтому и обманывал Биев, боялся сопротивления курушан, хотя чего бояться, всех давно как подкову согнули, поэтому и приказали взять всего по одной клади на человека, поэтому и чекистов-десантников в Куруше выбросили.

И не только Исмаил понял огромность беды. Не потому ли, достигнув середины тропы, все, как будто по уговору, отдышась, оглянулись на мгновение наверх. Домов уже не было видно, только минарет сельского клуба, как одинокий, замечтавшийся паломник на пути к Мекке, застыл отрешенно и благоговейно. Заря свободно разгорелась, и глазам открылся двуглавый Эльбавенд. Одна голова горы, казалось, венчала туловище, распятое утренним солнцем, а на другой, повязанной снежной чалмою, были опущены тяжелые ледяные веки: не хотела гора, не могла видеть великое горе своих сородичей. Исход народа? Угон народа?

Долго еще продолжало жить это мгновение в сердцах людей там, на далекой чужбине. А здесь мгновение прошло, и снова спуск. Исмаилу показалось, что племяннику, шедшему перед ним, трудно тащить и хурджин, и по две картины в каждой руке. Он хотел облегчить ношу племянника, попытался взять у него хотя бы две картины, но его хромяя нога подвернулась, Исмаил упал, дышавший ему в спину десантник не успел ему помочь, и старый кузнец Исмаил Кучиев сорвался и разбился на дне пропасти, упали в пропасть и Ленин и Сталин, упал и безногий Ахмед в коляске, сработанной Исмаилом. Свалился в пропасть со своей кладью и костылем однорукий, одноногий Бабраков. Свалилось несколько старух и детей. Муторно стало на сердце у начальника отряда: число высылаемых не будет соответствовать числу, обозначенному в списке. К тому же один из десантников не удержался, свалился в пропасть, и все из-за этих предателей-чучмеков, чернозадых гитлеровских наймитов.

А горы стояли, смотрели, вспоминали и плакали, плакали никогда не замерзающими слезами родников. И никогда не замерзнут эти слезы. Умрут десантники, и дети десантников, и внуки десантников, а горы будут стоять, думать, вспомять, плакать, и вовеки не высохнут на их морщинистых лицах родники слез.

## Глава пятая

Поезд вышел из Алма-Аты в конце марта. До Арысы он добрался по Турксибу в назначенное время. Там было тепло, уже начинала цвести жидка. Потом поезд замедлил свое движение, видно, не торопился из Азии на север, в Москву. Почти всю ночь он провел в Кзыл-Орде, часами простаивал на станциях и полустанках и даже посреди бестравной степи, словно посреди улицы больной, страдавший грудной жабой. На седьмые сутки он дотянулся до Рузаевки, долго и, казалось, бессмысленно маневрировал на этой узловой станции и устроился наконец где-то в тупике на дальнем пути.

Сквозь холодные сумерки светились огни Рузаевки, к первому пути, к зданию станции, надо было пробираться по тамбурам других поездов, а то и под колесами, а длинный, наглухо закрытый госпитальный поезд пришлось обойти. Как водится, у многих пассажиров, военных и штатских, были в руках котелки и чайники. Состав был переполнен, пассажиров накопилось великое множество. В самой Алма-Ате во время посадки образовалась такая давка, что проводницы, своего спокойствия ради, закрыли двери вагонов перед пассажирами с билетами и без билетов, даже перед генералами и полковниками, но военные чином поменьше оказались хитрее, многие запаслись сделанными фронтowymi умельцами впрок такими ручками, которыми легко отпирались задние двери вагонов.

В Рузаевке военные устремились к коменданту, чтобы получить какое-нибудь продовольствие по продаттестату, и только один военный пошел разыскивать почту. Отстучали телеграмму: из-за большого опоздания поезда он задерживается. Командировка предписывала ему прибыть в часть как раз в тот день, когда поезд доплелся до Рузаевки, и военный, конечно, не знал, когда закончится его путешествие, тем более, что рассчитывал денька два-три прожить дома, в Москве. Из почтового отделения он направился к коменданту. Когда поезд приближался к станции, то чудилось, будто светится много огней, но оказалось, что станция погружена в темень, снег и грязь, всюду в почти безнадежном ожидании кучились люди, слышалась русская, украинская и даже польская речь. Военный стал в очередь, и, когда минут через сорок, приник к окошечку, он принялся убеждать помощника коменданта, что продаттестата с собой не взял, а есть хочется, просит талон на буханку хлеба.

— Без аттестата не полагается, товарищ капитан, — скучно сказал помощник коменданта, но капитан, перенявший опыт у других, знал, как надо ответить:

— Виноват, товарищ старший лейтенант. Всего пять суток дали мне на свидание с семьей, не успел оформить, хотелось на фронт скорее попасть, а поезд еле тащится, живот подвело.

Он не мог получить продукты по аттестату, все — на месяц вперед — получил в Алма-Ате и оставил отцу. Помощник коменданта, сидя в

своей тыловой глубине, сердито-обиженно выдал капитану талоны на хлеб и пачку концентрата. Капитан узнал, что идти за ними надо довольно далеко, в самый конец станции, потом, выйдя в город, пересечь площадь. А на станции уже развернулась натуральная форма торговли. Военные меняли добытые в Алма-Ате орехи и сушеный виноград, а также кое-что из одежды, рукавицы, например, на самогон, торговались с мордовскими бабами, ссорились с ними, требуя дегустации. Там, где обрывался разбитый, грязный асфальт и не горел последний фонарь, стоял скотский поезд. Трое солдат и сержант в полушубках и валенках, всажённых в галоши, указывали военным, имеющим талоны: после третьего вагона следует свернуть налево, там выход на площадь. Внезапно половина стенки второго вагона отодвинулась, возник лаз, и капитан увидел молодую женщину в белом халате. Сержант помог ей спрыгнуть на землю, спросил:

– Что там, Зинка?

– Погоди, воздуху наберу. Преждевременные роды. Нашла чучмечка время. Но ведь они здоровые как суки. Даром что до восьми месяцев не дождалась, а мальчик в порядке. Не помрет, так жить будет.

– Кто эти люди? – спросил капитан, не надеясь получить ответ, понимая, какого рода войск эти солдаты. Но сержант, видимо, считал, что таинственность ни к чему.

– Не люди, товарищ капитан, а предатели, семьи власовцев. Можно сказать, оголтелые отщепенцы. С Кавказа вроде.

– Разрешите посмотреть?

– А чего, смотрите. Только недолго. Вам самому противно станет, дикие ведь, набздели, воши по ним бегают.

Капитан заглянул в лаз. Вагон, предназначенный для перевозки скота, был переоборудован для перевозки людей, но так, что людям было хуже, чем скоту: по обе стороны от узкого прохода были сделаны нары. Ни внизу, ни наверху люди не могли выпрямиться. Они скорчились в этом гноище, в грязи и вони. Былые пастухи стали отарами, гуртами. Беззубый старик в папахе, сидя на заплыванном, загаженном, с застывшими испражнениями полу скотского вагона, жадно дышал воздухом, сыро и мглисто врывающимся сквозь лаз. В углу слева кричал новорожденный. Женщины окружили роженицу. Давно небритые мужчины молча, недвижно и грозно сидели на нарах. Их босые ноги были восковыми, как у мертвецов. "Подумать, на руках у матерей все это были розовые дети", – невпопад вспомнил капитан Анненского. Черты этих несчастных показались капитану странно знакомыми. Он сказал, наклоняясь к лазу:

– Салам алейкум. Хардан сиз? Ким сиз? Тавлар?

– Тавлар, тавлар, – подтвердили мужчины, обнажая белые десны, и то была улыбка.

Для дальнейшего разговора капитану не хватало тавларских слов. Он перешел на русский:

– Почему вы здесь? В скотском вагоне?

В ответ закричали женскими, мальчишечьими, старческими голосами:

– Мы и есть скот! Мы пища для русских! Нас высылают! В Сибирь высылают! Наш народ высылают! Сам ты кто, из наших мест?

– В своем ли вы уме? Разве целый народ высылают?

– Целый народ высылают! Гурджистанская собака Сталин высылает!

– И Мусаиб Кагарский среди вас? И даже Акбашев? И все, все? А гушаны?

– Гушанов оставили. Их и наших мертвых оставили. Здесь и Мусаиб, здесь и Акбашев, только они в хороших вагонах едут. А мы, сам видишь, хуже скота. Бывало, овечка в отаре ягненокки родит, так мы нежим и мать, и ребенка, а у нас женщина Сарият родила, дыхание Аллаха в ней и в ее мальчишке, а воды нет для нее.

– Ведро найдется?

– Найдется. Нас не выпускают.

– Дайте, принесу воды.

Капитан подумал было, что сержант-чекист на него рассердится, но тот отвернулся. Может, нарочно отвернулся. В русском человеке злоба вспыхивает, но доброту сжечь не может, доброта не дрова, не уголь, не керосин, а дух Божий. Капитан еще раньше заметил кран с кипятком. Он поспешил к нему, смешал горячую воду с колодной и вернулся к лазу. Какой-то мальчик – одни глаза на бескровном лице – принял у него ведро без благодарности. Капитан пошел получать продукты по талонам. Ему выдали буханку хлеба с довеском, концентрат – пшенную кашу. Довесок капитан съел, хлеб оказался кислым. Когда он приблизился к вагону, лаз был уже задвинут. Капитан обратился к сержанту с просьбой отодвинуть стенку на минуточку, он только хлеб и крупу им даст, но сержант отказал:

– Не положено.

И тихо добавил:

– Приказ. И мне влетело.

Капитан в растерянности направился к своему составу, он был не уверен, что выбрал правильное направление, карабкался по тамбурам пассажирских и товарных вагонов, обходил молчащие паровозы. Звали капитана Станислав Юрьевич Бодорский. Он был поэтом-переводчиком, с начала войны служил в армейской газете "Сыны Отчизны". Когда фронт двинулся на запад, а их армию почему-то оставили в резерве под Проскуровым, для переформирования, что ли, Бодорский получил из Алма-Аты, куда его родители были эвакуированы, телеграмму: скончалась мама. Редактор, подполковник Эммануил Абрамович Прилуцкий, отказал ему в просьбе выехать на похороны: солдат, сказал он, должен пересилить личную скорбь. Но член Военного Совета, хорошо к нему относившийся, вручивший ему недавно орден Красной Звезды, посочувствовал своему армейскому писателю, разрешил убыть в Алма-Ату на пять суток, а на дорогу дал десять суток.

Теперь Бодорский возвращался в редакцию. Он опаздывал из-за того, что поезд еле плелся, но надеялся, что его армия еще стоит под Проскуровым, а нет — найдет: добраться до передовой всегда нетрудно. Его поразила высылка тавларов. Как обычно в тяжелых случаях, он прежде всего подумал о себе. Даже когда узнал, что умерла мама, он прежде всего подумал о себе. Однако никого не надо поспешно судить. Тургенев, подробно описавший казнь Тропмана, в последний момент отворачивается. Прочтя статью Тургенева, Достоевский зло заметил: "Ужасная забота, до последней щепетильности, о себе, о своей целостности, о своем спокойствии и это в виду отрубленной головы!" И все же пишущий эти строки считает Тургенева не только великим писателем, но и добрым человеком.

Имя Бодорского как бы слилось, по крайней мере, в глазах литературной администрации, с именем Мусайба Кагарского. Отец Бодорского, невысокого роста, с низко посаженной на плечи атлета кудлатой головой, с ярко-синими глазами под пеплом нависших бровей, седой по поляк, был в прошлом жандармским офицером. Наверно, именно это и толкнуло двух старших братьев Станислава записаться в коммунисты. Они участвовали в гражданской войне, один из них погиб в бою под Синельниковым, другой исчез в тридцать седьмом году. Станислав был в мать, елисаветградскую армянку, — высок, чернобров, строен, смугл, сухощав. В отличие от братьев, он к власти не прикасался, даже в пионеры не определился.

Его стихи были далеки от всех направлений советской поэзии. Кумирами Станислава были символисты, в особенности, — Сологуб и Вячеслав Иванов. Они обладали, по его понятиям, всем, к чему он стремился: духовной огненной напряженностью, изяществом, небесной музыкой, тайной. Советские стихотворцы, пролетарские и формалисты, левые и правые, отвращали его от себя своей прагматичностью, зависимостью от текущих обстоятельств, словесным нищенством, исканием опоры вовне поэзии. Окончив в 1926 году среднюю школу в родном южном городе, он поехал в Москву, почти без денег, преследуя две цели: попытаться напечатать в столице свои стихи и устроиться где-нибудь на заводе рабочим, чтобы, заработав стаж и скрыв, разумеется, жандармское прошлое отца, попасть в университет. Стихи в редакциях не брали, — мол, старомодно-уньные, посещай литкружок, учишь у Демьяна Бедного, Жарова, Безыменского, Уткина, Молчанова, а на завод он поступил, несмотря на безработицу, на Дербеневский, химический, вредный для здоровья, гнал метаниловую кислоту для азокрасителей.

Станислав снял угол в деревянном доме в районе Малой Татарской, хозяйка двухкомнатной квартиры с низкими потолками (уборная и колонка водоразборная — на дворе) работала с ним на заводе, муж ее служил сторожем, сутки дежурил, двое суток отдыхал, и, когда мужа не было, Станислав спал с хозяйкой. Некрасивая, полногрудая, с толстой косой, она ненавидела мужа и говорила Станиславу нараспев (она была из Пошехонья) :

– Он мне свойственник, его первая жена доводилась мне двоюродной теткой, списалась я с ними, приехала, поступила на завод, а тетка возьми и помри, опухоль у нее в животе завелась. Справили поминки, а он поманил меня к себе в постель. А и то, куда мне деться? Расписались, не обманул. Противный он мне, лежу с ним как колода, а от тебя вся горю, люблю тебя, чернобровенький мой черкесик.

Черкесик? Отец его хвастался своим старинным шляхетским родом, утверждал, что их семья – младшая ветвь князей Бодорских, владевших чуть ли не половиной Черкесии. Станислав обложился книгами (у него были два увлечения – музыка и история), узнал, что в долинах и предгорьях Эльбавенда живет племя гушанов, что один из их князей перешел при Гедимине в католичество, и так появились в Литве и Польше князья Бодорские: фамилия произошла от названия стольного места гушанских владетелей.

Станислав понимал, что он к этим Бодорским никакого отношения не имеет, отец врал, в его жилах текла шляхетская спесь, а не шляхетская кровь, дворянство он получил, дослужившись в жандармерии до офицерского чина: что же, слабость прощительная, она ведь и великим людям присуща, например, Бальзаку. Между тем, Станислав, глядя на себя с насмешкой, так приветствовал по утрам свое отражение в зеркале:

– Дзень добры, ёго мосч, яшновельмужны пане Станиславе!

Получив на заводе положенный отпуск, Станислав поехал в Ленинград, чтобы увидеть пушкинскую, достоевскую, блоковскую Северную Пальмиру. Он остановился у знакомых отца и в один прекрасный день осмелился явиться к Сологубу, еще не зная, что то был последний год жизни обожаемого поэта. Двери ему открыл сам Федор Кузьмич, лысый, лицо нездоровое, осунувшееся, на щеке большая бородавка, ноги босые. Станислав от страха не мог вымолвить ни слова. Так они и стояли друг перед другом, пока Сологуб не обратился к нему с вежливым вопросом:

– С кем имею честь молчать?

Квартира была большая, безлюдная, холодная. В полутемном кабинете висела икона Божьей матери. Станислав прочел с десяток мысленно отобранных стихотворений. Сологуб во время чтения одобрительно кивал лысой головой, но, когда заговорил, то едко, не повышая голоса, упрекнул юного стихотворца в южных оборотах ("люблю искажения северные, не терплю южных"), в эпигонстве, вялости, отметив некоторые отличные, – так и сказал: отличные, – строки.

Станислав всю жизнь помнил об этом свидании. Теперь ему уже тридцать пять, но он так и не опубликовал ни одного собственного стихотворения. Однако не был же он, черт возьми, совсем уж неудачником. Он сумел, заработав рабочий стаж, поступить на исторический факультет Пединститута. Он ответил на вопрос анкеты о социальном положении отца: "Служащий", что не противоречило истине: его отец к тому времени занимал маленькую должность в горкомхозе.

В институте Станислав завязал студенческую дружбу с Даниялом Парвизовым: он впервые увидел гушана во плоти. Особенно они сблизились, когда Станислав выразил желание учиться у него гушанскому языку: это польстило Парвизову, растрогало будущего секретаря обкома. Тот был профоргом курса, устроил так, что в общежитии на Стромынке, бывшем когда-то богадельней, Станислава перевели из комнаты, где почти вплоты стояло шестнадцать узких кроватей и восемь тумбочек, в просторную комнату Парвизова, в которой жили всего четыре студента, все, кроме Станислава, парттысячники. Вот и пошло: Станислав приобщал способного гушана к русской речи, к русской литературе, к интеллигентной, так сказать, воспитанности, а Парвизов радовался тому, что этот русский студент интересуется языком, историей, народной поэзией гушанов. Оба они были неглупы, но оба, хотя и прожили в одной комнате четыре года, почти не разлучаясь, считали друг друга простодушными до чрезвычайности, наивными парнями. Оба ошибались.

Станислав как-то прочел Парвизову несколько своих стихотворений. Парвизов их плохо понял, странен был их язык, так русские теперь не говорили, но само занятие Станислава умилило гушана, с детства привыкшего уважать мужей науки и шайров (поэтов). С этих пор Парвизов превратился как бы в опекуна Станислава, щедро снабжал его, в качестве профорга, ордерами на обувь, кальсоны и даже однажды — на пальто. Он чувствовал, что Станислав не относится к нему свысока, как например, секретарь партийной ячейки курса, который, пусть благожелательно, всегда подчеркивал нацменьство Парвизова. А Станислав дружил с ним, как с равным, без превосходства, и Парвизов, может быть, сам того не сознавая, был за это ему благодарен. Он рассказывал однокурснику о своем народе, о его древнем, загадочном происхождении, о его судьбе, и однажды пропел речитативом небольшое народное сказание и устно перевел его, пользуясь современным, безлично-газетным языком. Станислава удивило, что сказание гушанов напоминало греческое, — о том, как Одиссей (у гушанов герой носил другое имя) хитро обманул циклопа, ослепил его и выбрался из пещеры, облачившись в овечью шкуру и смешавшись с овцами. Чутким природным слухом Станислав уловил необычный ритм сказания, голос из глубины веков и гор, и понял, что способен воспроизвести по-русски этот ритм так, что ритм будет звучать ново, звонко. Станислав переложил русскими стихами это сказание, нашел, благодаря приблизительному знанию языка подлинника, такие синтаксические обороты, которые, будучи по-русски правильными, свежо воссоздавали гушанскую речь. По настоянию Парвизова, восхищенного и торжествующего, Станислав отнес гушанское сказание в толстый журнал, и через несколько месяцев перевод напечатали. Более того: Горький в одной из своих статей о необходимости учитывать многонациональный характер советской литературы, похвалил (правда, походя, в скобках, не называя фамилии русского стихотворца) перевод гушанского сказания.



Это был успех, небывалый успех! Даниял Парвизов сиял: Станислав в краткой вступительной заметке "От переводчика" упомянул Данияла Парвизова как автора подстрочного перевода. Имена двух друзей одновременно и впервые появились в печати. Студент Станислав Бодорский становился советским поэтом, хотя и низшего – переводческого – ранга. И когда возникло новое сказание – о Мусаибе Кагарском, неграмотном, но мудром, Горький вспомнил о Бодорском, и по рекомендации основоположника неизвестному начинающему поэту поручили важное государственное дело – переводить сложенные изустно четверостишия Гомера двадцатого века, воспевающего родину, Сталина, бичующего врагов народа, которые сожгли колхозное сено.

В тот август, когда Станислав и Даниял, окончив институт, гуляли по Москве перед разлукой, Станислава пригласили в Гугирд, и оба друга поехали в столицу Гушано-Тавларской АССР: Парвизов навсегда, Бодорский – в командировку. На станции Тепловской гугирдский вагон отцепляли от скорого, следовавшего в Баку, и ставили в конец рабочего поезда, упиравшегося, после проделанного пути, в тупик – в гугирдский вокзал. Отцепление и прицепление длилось, обыкновенно, часа два.

В Тепловской в их плацкартный вагон (другого прямого не было) вошел молодой гушан, стал кого-то разыскивать. Увидев Данияла, заговорил с ним на родном языке, и Даниял показал на Бодорского. Молодой гушан обеими руками пожал руку московского поэта, пригласил его в другой вагон, стал помогать смущенному Станиславу укладывать вещи. Станислав попросил, чтобы в этом другом вагоне (как странно, ведь другого не было) поехал и его товарищ по институту. Молодой гушан согласился, взял у сопротивлявшегося Станислава два его чемодана, один очень тяжелый, с книгами. Предназначенный им вагон стоял в конце рабочего поезда, плацкартный еще не успели прицепить. Даниял обомлел: то был вагон Сулеймана Нажмудинова, первого секретаря гушано-тавларского обкома партии. Обомлел и Станислав, когда они втроем вошли в вагон: здесь была кухня, столовая-гостиная, где пожилая приветливая русская женщина накрывала на стол: сухое вино, коньяк "Двин", водка, нарзан, закуски – осетрина, икра, холодная курица. Станислав заглянул за тяжелую портьеру: там была спальня, два устланных парчей ложа.

В одну из бутылок была налита странная серая жидкость, наклейки на бутылке не было, Даниял объяснил: "Буза". Так впервые Станислав увидел дозволенный мусульманам напиток, упоминаемый Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Бестужевым-Марлинским. Встречавший его гушан пошел в уборную. Бодорский немедленно захотел испробовать бузу, Даниялу Парвизову понравилось влечение русского к национальному напитку, они выпили по стакану, некрепкий хмель мягко ударил Станиславу в голову, поэт-переводчик предложил повторить, но друг остановил его:

– Неудобно. Дождемся представителя обкома. Жаматов его фамилия. Сначала коньяк втроем выпьем. Тебя потому так здорово встречают, что

слух дошел, — сам Горький тебя рекомендовал, беспартийный член Политбюро.

В Гугирде друзья расстались: Бодорского в машине (он впервые ехал в автомобиле) отвезли в гостиницу. Жаматов, инструктор обкома по культуре, извинился перед Станиславом за скромность номера, но тот возражал — и совершенно искренно: давно, с детских лет, у него не было такого обиталища. Номер состоял из двух комнат, спальни и кабинета, с тяжелым — чуть ли не гранитным — многопредметным чернильным прибором на письменном столе, рядом — телефон. На обеденном столе, на глиняном блюде, круглился огромный арбуз, обвитый увесистыми кистями винограда, стояли три бутылки — опять же коньяк, водка и нарзан. В углу, как в детстве, в их южном доме, желтел деревом и белел мрамором дореволюционный умывальник. Уборная и душ, пояснил Жаматов, — в конце коридора. Окна смотрели на густой, видимо, длинный парк, посаженный когда-то князем Измаил-Беем, прототипом, как говорят, лермонтовского героя.

Жаматов попросил позволения позвонить, заговорил, — Станислав его понял: он кому-то докладывал о прибытии гостя, — услышал ответ, положил трубку и сказал:

— Станислав Юрьевич, вас приглашает к себе Сулейман Нажмуддинович. Отдохните, через час я за вами заеду.

Станислав умылся, — воды в умывальнике не хватило, — разложил вещи и книги, надел новые брюки и единственную хорошую шелковую рубашку, спустился с третьего этажа на улицу, решил, что дождется Жаматова у входа в гостиницу. Эльбавенда не было видно, позднее Станислав узнал, что двуглавая вершина горы открывается глазам только рано утром, если нет тумана. Влево уныло уходили вдаль одноэтажные дома и мазанки, справа был пустырь. Несмотря на жару, дышать было легко, — от парка исходило пахучее дуновение. Задом к входу в гостиницу сидели каменные Ленин и Сталин, — мраморный вариант известной сомнительной фотографии. Описав мимо изваяния полукруг, машины изредка подъезжали к гостинице. Подъехал и Жаматов, вышел, широко улыбаясь, пригласил Станислава в машину. Путь их продолжался бы, как потом оказалось, всего лишь несколько минут пешком, Станислав не понимал, зачем нужна была машина, потом понял, как понял и многое другое в повадках руководства маленькой республики с маленькой столицей: надо было создать у приезжего впечатление, что город большой. Обком партии помещался в трехэтажном здании постройки девятнадцатого века, принадлежавшем до советской власти местному богачу-каракулеводу. В коридоре против дверей, у столика с телефоном, стоял красноармеец. Жаматов сказал ему: — К товарищу Нажмудинову. — Красноармеец кивнул головой в фуражке, мол поставлен в известность. Они медленно и молча поднимались на третий этаж. Боже мой, он, Станислав Бодорский, еще вчера студент, рифмач без имени, без надежды на имя, чуждый всему новому, как бы застрявший на задворках серебряного века, — разъезжает в салон-вагонах и автомобилях, занимает в гостиницах двухкомнатные номера, а сейчас будет принят кандидатом в члены Цека, первым секретарем обкома партии!

Жаматов привычно постучал в белые двери кабинета, гостя пропустил вперед. Сулейман Нажмудинов, легендарный герой гражданской войны, поднялся к ним навстречу. Он был непомерно высокого роста, синие брюки-галифе топырились над длинными сапогами, защитного цвета френч был отменного сукна. Лысая голова казалась как бы не лысой, а по-мусульмански бритой, нуждающейся в тюрбане. Острый желто-красный глаз хищника высматривал гостя как добычу. И даже когда Нажмудинов, по обычаю, спросил Станислава о том, как поживают его жена и дети (которых у Станислава еще не было), он оставался похожим на гигантскую хищную птицу, ласкающую своего птенца. Исполнинская фигура Нажмудинова, черные, петровские усики, орден на френче, редкий в ту пору, ошеломили Бодорского и тревожно приблизили к власти. Позвонил телефон, Нажмудинов приложил трубку к большому, слишком толстому для его лица уху, стал слушать. Собеседник ему явно не понравился:

– Товарищ профессор, кто вам сказал, что в высокогорных условиях нельзя вывести в массовом масштабе тонкорунную овцу, в среднем по два ягненка от каждой овцематки? Что, наука утверждает? Когда вы в ваши семилетки ходили, я пошел в чабаны, с восьми лет ярлыгу в руках держал, пас чужую отару, под самыми облаками пас, меня не проведешь! Какие там единичные случаи! Слушай, профессор, ты у меня завтра дрен-матыр, будешь бывший профессор!

Нажмудинов, как видно, очень довольный своей телефонной отповедью, повернулся к Станиславу. Так, наверно, был бы доволен актер, удачно сыгравший краткую сцену. Он сказал:

– Еще остались у нас предельщики. Мы против мелочной опеки, но что с ними поделаешь... Вы, слышал, по-гушански говорить умеете?

Станислав ответил по-гушански:

– У меня произношение плохое. Никак не научусь выговаривать ваше "ц", три ваших "к". И запас слов у меня невелик.

Жаматов восторженно вмешался в беседу господ:

– Как чисто произносит! Настоящий гушанский джигит!

Нажмудинов одобрил:

– Постоянное внимание к культуре малых национальностей, – этому нас учит отец. Вы замечательно перевели наше народное сказание. Когда читал, детство вспомнил, бабушка пела. У нас много таких сказаний. Считаются греческими, а они наши, мы древнее греков, заставим и буржуазную науку это признать. Заставим. Отец любит народные сказания. Я читал "Давида Сасунского", "Манас" киргизов. Откровенно говоря, наши сказания лучше, доходчивей. Вы по-тавларски тоже знаете?

– Нет, не знаю, переводил Мусаба по подстрочнику.

– Тавларский язык другой, тюркский. Наш, гушанский, древнее, самобытнее. Надо, чтобы вы перевели все гушанские сказания полностью, большая книга получится. У нас в Москве есть какой-то авторитет, с вами издательство заключит договор.

– Я буду счастлив.

Станислав действительно был счастлив. Он мечтал о такой работе. Она была для него почти как собственные стихи. Он уже видел себя вторым Гнедичем, — нет, больше, чем Гнедичем: первооткрывателем. Тем старательней, думал он, буду переводить муру Мусаиба, она в "Правде" печатается, надо заслужить благоволение, даже любовь руководства республики. Он оглядел быстрым, профессиональным взглядом кабинет: мебель сборная, прекрасный книжный шкаф, гнутые стулья, удобные кресла могли бы, скажем, стоять в доме Чехова, а вот письменный стол — уродливый, нынешний, внушительный.

Нажмуддинову пришелся по душе этот молодой русский поэт, рекомендованный Горьким и знавший, хотя и плохо, по-гушански. Он сказал:

— Мы договорились с союзом писателей, со Щербаковым. Вам поручается переводить поэму, которую сложил по нашему заданию Мусаиб. Название — "Моя Гушано-Тавлария". Хотим ко дню принятия сталинской конституции в "Правде" опубликовать. Это поэма о счастливой жизни трудящихся республики под сталинским солнцем, но сначала идут картины далекого и недавнего прошлого, наши битвы против иноземных захватчиков, наше добровольное присоединение к России.

— Добровольное? А как же долгие, жестокие сражения? Маркс о Шамиле писал, что народы Европы должны с него брать пример, как воевать с деспотизмом...

Станислав еще не научился вести себя, как советский придворный. Научится. А пока Нажмуддинов резко его оборвал:

— Марксизм, дрен-матыр, не догма. Гушаны с царем воевали, а не с Россией. Тавлары были отсталые, не воевали с царем. Старший брат, великий русский народ, спас нашу землю от алчных персов и турков. Вы член партии? Ну что же, беспартийный большевик. Местные историки, наши люди, помогли Мусаибу, но он не все понял, вы должны довести поэму до кондиции. Вы будете жить у старика, сколько понадобится, условия создадим. Там, в Кагаре воздух хороший, красиво. Правда, не очень чисто, не так, как в гушанских селениях, но мы обо всем позаботимся. Мусаиб — интересный человек, необыкновенный человек. Я как-то поехал его навестить, я не кабинетный руководитель, я, откровенно говоря, всегда с народом. Старика предупредили о моем приезде. Это была ошибка. Он спрятал свою одежду в сундук, надел рваный бешмет, рваные чуваки, рваную папаху. Приезжаем, а нас дрен-матыр, дивана встречает, — юродивый, значит, нищий. Я вскипел, но сдерживаю себя. Темное царство. Я в Добролюбова влюблен. Уселся на дырявый палас, старуха Мусаиба выносит яичницу, мацони с чесноком, — и все. Ни хинкала, ни вина. Стал я кричать на референтов, что со мной приехали, на секретаря кагарского райкома партии. Поэт, которого знает весь мир, знает товарищ Сталин, живет в такой бедности. Я приказал одеть его как следует, давать ему продуктов столько, сколько пожелает, мне через две недели доложить. Вернулся я в Гугирд, а мне сообщают: все исполнено, как вы приказали, только у Мусаиба — полный сундук хорошей одежды и обуви, он и обновку туда спрятал. Увидели мои референты: крышка

сундука снизу оклеена картинками, старыми, как были до Великого Октября: реклама чая Высоцкого, цыганка с папиросной коробки. Крестьянская психология. А поэт, конечно, гениальный. У гушанов тоже есть неплохой классик, не хуже Мусаиба, только очень скромный. Хаким Азадаев, я вас познакомлю с ним.

Сулейман Нажмудинов дал знать Жаматову, чтобы он оставил кабинет. Секретарь обкома обошел стол, сел на гнутый стул напротив Станислава и вонзил в него хищный, с красноватыми прожилками, взгляд хищной птицы:

– Скажите мне, кто такой Гóмер?

Ударение сперва обмануло Станислава, он решил было, что Нажмудинов спрашивает его о каком-то московском еврее, но быстро сообразил, что речь идет о слепом азде, с которым Горький сравнил Мусаиба, ответил. Нажмудинов рассердился, – не на него:

– Проклятые референты! Говорят, дрен-матыр, что Гóмер – классик марксизма-ленинизма. Я им возражаю: четыре! – и он растопырил большие пальцы чабана и абрека. – Четыре! Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин! Четыре!

Все существо Нажмудинова возмутилось в огромном теле. Его высокие сапоги топтали длинный ахтынский ковер. Он тяжело дышал и, как заклятие, повторял, растопырив пальцы правой руки:

– Четыре! Четыре! Проклятые референты, дармоеды, дрен-матыр! Четыре классика марксизма-ленинизма, четыре, говорю я им! Откуда пятый – Гóмер? Четыре!

Он долго не мог успокоиться. Станислав заметил сквозь стекла книжного шкафа разрозненные тома энциклопедии "Гранат", видимо, принадлежавшие прежнему владельцу дома – каракулеводу. Тома стояли вразброс, и среди них – один как раз на букву "Г". Указывая рукой на шкаф, Станислав пояснил:

– Здесь есть о Гомере более подробно, чем я вам рассказал.

– Руки не доходят, дорогой, руки не доходят. Да, тавларский народ дал нам гениального поэта. А вам за перевод нашего сказания – горское спасибо. Читал, вспоминал, как бабушка мне пела, того одноглазого великана вспоминал.

Станиславу не надо было быть гениальным, чтобы сразу понять, что гушану Нажмудинову не по душе слава тавлара, что он вынужден ее признать и склониться перед нею. Вот и поехал Станислав в Кагар, он еще, Бог даст, расскажет сдержанной пушкинской прозой, непременно после войны расскажет о том, как прожил два месяца у действительно талантливого самоучки, как превратил в чудную игрушку его поэму, где прелестные идиомы и поговорки были как бы задвинуты трюизмами, как "Правда" напечатала перевод и сам Сталин выразил одобрение, а его, Станислава Бодорского, приняли в союз писателей. Потом он перевел и другую поэму великого Мусаиба – "Песнь о вожде", и все то, что Мусаиба заставляли воспевать: юбилей Пушкина, бойцов интернациональных бригад в Испании. Но была и радость: в переложении

Станислава была издана книга старинных гушанских сказаний, можно сказать, частичка сердца, блеск версификации, археологические словесные раскопки, подарившие золото украшений. Книга имела успех, и не только государственный, но и у читателей, о ней много писали, даже университетские ученые за рубежом. У Станислава завелись деньги.

Поэмы и стихи Мусаиба в переводе Станислава Бодорского изучались в школах, их декламировали дети на праздничных вечерах, о них сочинялись кандидатские диссертации, о них на съезде партии говорил Шолохов, как о крупнейшем достижении советской гражданской лирики, и вот теперь Мусаиб, и все его односельчане, и весь его народ высылаются в скотском поезде в Сибирь. Нет, так нельзя, надо сделать еще одну попытку. С коричневой буханкой и пачкой концентрата Станислав начал снова пробираться по тамбурам и под колесами, вот и первый путь, но скотского поезда уже не было. Отправили его дальше или загнали на другой путь? Среди всеобщей сырой мглы мирно мерцали тыловые огни Рузаевки, едва поблескивали рельсы, чтобы скоро исчезнуть во мгле. Все молчало: станция, паровозы, вагоны, люди. Как эта мглистая, сырая ночь, была темна и тяжело набухала печаль Станислава. Он влез на узкий тамбур товарного вагона, состав неожиданно тронулся, Станислав спрыгнул на ходу.

## Глава шестая

Справедливость есть деяние правды, а правда есть предание предков. Что же нам повествует предание?

В начале было Бескрайнее Время. От него произошли два близнеца – Ахура-Мазда и Ангра-Манью. Ахура-Мазда создал Вечную Троицу – Добрую Мысль, Доброе Слово, Доброе Дело. От Доброй Мысли произошли печаль и радость, величие и падение. Еще произошли от Доброй Мысли светлокрылые ангелы. От Доброго Слова произошел человек, единственная из тварей с прямым станом. От Доброго Дела произошли огонь и вода, от огня и воды произошла любовь. Еще произошли от огня и воды овца и корова, поэтому они священны.

Таковы творения Ахура-Мазды, Многоведающего. А каковы творения Ангра-Манью, Теснителя? Он сотворил другую Троицу – Коварную Мысль, Лживое Слово, Жестокое Дело. От Коварной мысли произошли бесы. Сотворил Ангра-Манью и змея – врага человека, сотворил волка и тигра – врагов коровы и овцы. Хотел Ангра-Манью, чтобы земля обезлюдела, обезводела, обезтравела, чтобы не было полей и пастбищ, а только солончаки и пески. Два близнеца, Ахура-Мазда и Ангра-Манью, были бы равномошны, если бы не было на земле человека, огня и любви. Вот почему Ангра-Манью изо всех сил стремится уничтожить человека и утвердить на земле власть змея, уничтожить любовь и утвердить ненависть, погасить огонь и утвердить мрак.

Об этом впервые поведал людям пророк Зардушт, называемый дальними племенами Заратустрой. Над челом Зардушта всегда горела звезда. И вот что еще поведал Зардушт.

Был царь в Иране по имени Светлый Йима. Он научил людей прясть лен и шелк, ткать шерсть, шить одежду. Он принудил и бесов работать на людей, обжигать кирпич, возводить дома. Светлый Йима возгордился, подумал: "Мир таков, как я его благоустроил", – и то была коварная мысль: еще сам того не сознавая, он стал слугой Ангра-Манью, стал Темным, и Многоведающий, Ахура-Мазда, лишил его своей благодати.

Среди стран была Пустыня Всадников. Сами себя всадники называли арабами. Страной правил благочестивый царь Мардас. У него был сын Заххак. Однажды Ангра-Манью предстал перед Заххаком в обличьи добродетельного странника и сказал ему:

– Ты силен, а отец твой слаб, ты молод, а отец твой стар, ты, а не он, должен царствовать.

– Как это сделать? – спросил Заххак, и тогда Коварная Мысль, облачившись в Лживое Слово, сделалось Жестоким Делом. Царь Мардас, готовясь перед наступлением утра к молитве, обычно направлялся к роднику, где совершал омовение. Ангра-Манью вырыл на пути царя глубокую яму. Пришла ночь и царь во мраке направился к роднику, но упал в яму и разбился насмерть. Царем Пустыни Всадников стал

Заххак. Снова предстал перед Заххаком Теснитель Ангра-Манью, на этот раз в облики повара, и Заххак приказал ему:

— Начни мне служить.

Не знал еще Заххак, что он сам был слугой Теснителя. В ту пору люди не ели убоины, питались только хлебом, молоком коровы и произрастаниями земли. Ангра-Манью заколол молодого бычка, сварил живое существо, сдобрил блюдо мускусом, розой и шафраном. Заххак съел дитя коровы, священного животного, отвернулся навсегда от Многоведающего. Он ласково посмотрел на повара, спросил:

— Искусник, скажи, какой ты желаешь награды?

— Я хочу, царь, припасть губами к твоим плечам, — ответил лжеповар.

Царь даровал ему эту милость. Ангра-Манью поцеловал царя в плечи — и исчез. А из плеч Заххака внезапно выросли две черные змеи, подобные двум извивающимся ветвям дерева. Царь приказал срезать их с плеч, но змеи выростали снова. Царь был в отчаянии. И тогда в третий раз перед царем предстал Ангра-Манью, предстал в длинном одеянии лекаря и сказал:

— Напрасно срезаешь змей, срезанные, они вырастают опять. Корми их человеческими мозгами, и они успокоятся, перестанут тебя терзать.

В эту пору в Иране, в царстве Светлого Йимы, из-за его гордыни, настала смута. Знатные военачальники бились друг с другом, военные кони топтали посевы. Пришли вельможи светлого Йимы к царю Пустыни всадников, сказали ему:

— Наш царь плох, наш царь спесив, нет порядка в стране, приди и царствуй над нами.

Заххак пришел, настиг Светлого Йиму, распилил его на две части, стал царствовать в Иране, и длилось его царствование тысячу лет. Мир под его ярмом обратился вспять, деяния мудрецов оделись тьмой, воля безумца правила державой. Каждую ночь приводили на царскую кухню двух сильных юношей или двух красивых девушек, и повар добывал из них для царя-змея лекарство: убивая юношей и девушек, он их мозгами кормил змей, выращенных из плеч Заххака.

Народ возмущался, роптал, но терпел, боясь царя-змея. Не захотели терпеть два богобоязненных человека. Их имена сокрыты от нас, ибо эти люди были скромны. Они обучились поварскому искусству, их приняли на службу в царскую поварню. Они поступали так: из двух юношей убивали одного, а другого отпускали в ночном мраке на волю, — пусть уносит ноги подале. Точно так же поступали с девушками. Смешав человеческий мозг с бараньим мозгом, они, с помощью приправ, обманывали царских змей. Так эти двое богобоязненных спасали каждый месяц по тридцать юношей и по тридцать девушек, давали им на развод овец и коров и отправляли в недоступные высокие горы.

Но Заххака постепенно объял страх. Он ложился спать, боясь, что змеям захочется испробовать и его мозг. А когда, под утро, он засыпал, ему каждый раз являлся во сне его отец и говорил ему:



– Моя смерть – из-за тебя, моя смерть – в яме, а твоя смерть – из-за твоих злодеяний, твоя смерть в горах Эльбавенда. Видишь ли ты свою смерть?

И Заххак видел свою смерть. Чтобы спасти себя, он призвал вельмож и жрецов и, сидя на алмазном престоле, желтый от страха и дурного сна, сказал:

– У меня есть тайный враг. Он опасен. Подпишите грамоту о том, что я всегда сеял семена добра, что мои законы справедливы, что под моей рукой Иран благоденствует, а люди дышат вольно.

Жрецы и вельможи, привыкшие трепетать перед царем-змеем, подписали лживую грамоту. Но был в стране человек, не терпевший лжи. Он был кузнецом, ковал железо, поэтому и звали его Ковá. Он говорил:

– Тот, кто подписывает лживую грамоту, боится злодея, но не боится Ахура-Мазды, Многоведающего. Но и тот, кто спасает одну из двух жертв, одного из двух людей, обреченных на смерть, еще не истинный слуга Ахура-Мазды. А тот, кто терпит зло, еще не истинный враг зла. Восемнадцать сыновей у меня было, восемнадцать сильноруких, восемнадцать широкоплечих, восемнадцать проворных и смышленных, и только девять из них спаслось, а мозгами других девяти насытились царские змеи. Чем дольше мы терпим зло, тем ревностнее служим ему. Перестанем, братья, служить злу!

Кова взметнул на древко, как знамя, свой кожаный передник, вышел на площадь, крикнул:

– Эй, люди добрые, слуги правды, все, кто поклоняется святому огню! Страна обезлюдела, поля не возделаны, – так Ангра-Манью, Теснитель, борется с Многоведающим, а Заххак – его орудие и обличие, его жертва и слуга. А мы, слуги огня, пойдем на битву с властителем мрака!

Во главе людских толп кузнец ворвался во дворец Заххака, схватил перепуганного, дрожащего царя-змея и на быстром коне помчался далеко-далеко, к двуглавному Эльбавенду, и приковал навеки царя-змея к высокой скале. Слетелись вороны, пожрали Заххака, но не по силам было им пожрать железные цепи и змей, и поныне змеи выползают из высокой скалы, и людям кажется, будто это дым. А кузнец стал править Ираном, и правил справедливо, и знаменем страны стал кожаный передник кузнеца.

Среди тех юношей и девушек, которых спасли два богобоязненных человека от царя-змея, были два брата: Гу и Юнан. Сначала был спасен Гу, потом убежал в горы и Юнан. Несколько тысяч людей, бежавших из царской поварни, поселились в тех горах. Нынешние люди называют высочайшие горы Памиром, Подножьем Бога-эмира, но правильное их название – Горы Сынов Божьих. Беглецы образовали целое племя, а потом разделились на два племени.

Гу был пастухом, Юнан – охотником и звероловом. Они взяли в жены девушек, таких же беглых, как сами, родили детей. Братья-близнецы были так похожи друг на друга, что сама мать-земля не могла их

различить, пока не приняла одного из них в свои мягкие объятия.

Зверолов был острословом. Однажды он стал добродушно посмеиваться над молчаливым братом-пастухом:

– Только зверолов и охотник может считаться истинным мужчиной. А ты, дорогой братец, проводишь свои молодые дни на пастбище, единственные твои собеседники – овцы и бараны. Ухом ты неловишь рычание зверя, глазом не ищешь добычу, – ослабели у тебя слух и зрение. Дождешься того, что не заметишь, не услышишь, как украдут твоих лучших ягнят.

Гу не обиделся на слова брата, он знал, что Юнан его любит. И он ответил спокойно, неторопливо, как принято у пастухов:

– Ты прав, Юнан, велика твоя охотничья сила. Как я могу, слабый и робкий, сравняться с тобой в зоркости и меткости? А что до твоих слов, будто украдут у меня лучших ягнят, то разве среди нас, изгнанных, есть воры? К тому же на лугах зимой и летом – тишина, ночью мои собеседницы – звезды, днем – трава, кругом одни скалы, да высокие деревья, да изгороди для загона скота, да овцы и бараны, а возле стада – собака да я.

Настала ночь. Гу пошел на пастбище, прилег на траву, укрылся шубой из овцы. Юнан-острослов встал с постели, оделся, поднялся на высокогорное пастбище и осторожно, как змея, подкрался к стаду. Вот он ползет, как змея, стебелька не заденет, веточки не сдвинет, а сам думает, беззвучно смеясь:

– Ох, и потешусь я завтра утром над братом. "Где ты был, неусыпный страж, – спрошу у него, – когда украли у тебя баранов? А вора ты не приметил, беспечный пастух. Выходит, что попусту болтал, когда говорил, что воров среди нас нет!"

Но Гу не спал. Он лежал у потухшего костра, напрягая слух. Он знал, что насмешник Юнан и ночь за ночь не сочтет. Пастуху почудился шорох. Трава дрожит? Деревья шумят? Молчалив был Гу, не боек, не остер на язык, но умен, смекалист. "Нет, – сказал он себе, – то не деревья шумят, не трава дрожит, то мой братец Юнан ползет к отаре, чтобы посмеяться надо мной, потешиться. А я сам подшучу над ним: и его напугаю, и себя позабавлю".

Так подумав, Гу крикнул. Три крика было у мужчин в горах: охотничий, военный и пастуший. От пастушьего крика скалы рассыпались как песок. Гу натянул свой лук, – у пастухов в горах всегда были луки, пустил стрелу, пустил во мрак ночи, пустил не целясь, пустил забавы ради. Протяжный стон ответил загнувшейся стреле, ответил из-за изгороди для загона скота. Стрела устремилась без прицела, но, безрассудная, пронзила цель: она впиалась в сердце Юнана, она убила его. Светло-алая кровь, кипя, вылилась из сердца Юнана. Уже предчувствуя горе, в смятении Гу бросился к брату, но только тело брата нашел он во тьме ночи. Он приник широкой грудью к бездыханному телу брата, и окрасилась его грудь светло-алой кровью убитого Юнана.

Торжествовал Ангра-Манью, Теснитель: брат убил брата! Многоведающий, Ахура-Мазда, пожалел пастуха: он превратил Гу в

красногрудую чайку, ибо кровью брата была залита грудь неповинного братоубийцы. И поныне реет чайка над морями, — и там, где живут потомки Юнана, и там, где жили потомки Гу, и рыдает об убитом брате, рыдает и просит у мира прощения и милости.

Старшим сыном Гу был Сан: это имя означает "Сын". Сан шепелявил, произносил свое имя "Шан", "Шан, сын Гу". От него пошло племя гушанов. А от Юнана пошло племя юнанов. Не желали юнаны жить в соседстве с детьми Гу, убийцы основателя их племени, покинули высочайшие горы и поселились на островах среди моря, названного по имени несчастного Эгея, о котором сложили сказание и гушаны, и юнаны, — Эгейским. Юнаны стали большим, славным народом. Дальние люди, искажив на свой лад их название, именовали их ионийцами. А гушаны тоже спустились с вершин, построили селения в горах пониже, над городом Маракандой, нынешним Самаркандом. Их стали называть согдами. Как только их не называли соседние племена: и согдами, и скифами, и сарматами, и керкетами (по-теперешнему, черкесами), но сами то они знали свое происхождение, они всегда себя называли гушанами. И долго они еще помнили, что их племя — живая, давняя связь между иранцами и юнанами, говорившими по-гречески. Когда над Ираном стал царем Дара, что означает "Имеющий", и повел войну с юнанами, — так в Иране называли не только племя ионийцев, а всех греков, — гушаны не захотели воевать со своими сородичами и покинули Иран. Долго скитались они по земным дорогам, пока не дошли до Каспийского моря, и через Врата — через Дербент — дошли до гор Кавказа. Их преследовали неисчислимые как пески войны Дары, гушаны с ними бились, отступая, бились, хотя они, как и иранцы, поклонялись священному огню. Много веков они прожили на Кавказе, и даже начали порою забывать, что они и юнаны происходят от одного корня, помнили об этом только гушанские мудрецы и красногрудая чайка, которая реяла над Эгейским морем и окликала сородичей, но никто не понимал ее птичьего наречья. На Кавказе гушаны отпали от веры Зардушты и приняли веру Христа. Дворец их царя был украшен росписями, и воины-гушаны были нарисованы в кольчугах, на которых был изображен крест. Сказывали гушаны, что их крестил сам святой Георгий, и даже став мусульманами, они клялись его именем. В честь матери Христа они наименовали один из дней недели "мариам", и поныне в этот день отдыхают. Но и юнанской богине Афродите поклонялись гушаны, называли ее Апатурой, простирающей свою власть на землю, море и небо.

Сначала жили гушаны по обе стороны Кавказа, на их языке вода — псе, имя города Туапсе означает Междуречье. На Черном море гушаны снова стали соседствовать с юнанами, которые основали там город Диоскурию, приплыв издалека. Потом более сильные племена отбросили гушанов за Кавказский хребет.

Постепенно смешивались гушаны с другими племенами, и слова тех племен вошли в их язык. Но самые древние их слова те же, что у юнанов-греков. У юнанов огонь — пюр, и у гушанов огонь — пюр, у

юнанов хлеб – артос, у гушанов – арт. И слова древних персов сохранились в гушанском языке. И у гушанов, и у персов мать – мадар, отец – падар, жена – зан, лошадь – асп. А по-гречески лошадь – гипсос. Похоже.

Когда гушанов стали называть сарматами, они покорили синдов, колхов и меотов. Их оружием были не луки и стрелы, а длинные мечи и огромные тяжелые копья. Их царство простерлось от Прикубанья до Дагестана. У них были богатые города, самые большие – Аборака, славный город, называемый теперь Анапой, а по другую сторону Кавказа гушаны построили Гугирд. Торговали гушаны с Хиосом, Атикой, Фасосом, Гераклеей, Синопом, Херсонесом, Афинами. Когда из Крыма хлынули готы и оттеснили их на Восток, гушаны раздробились на множество племен, одно из них называлось ахеи, – не того ли же корня наименование ахеян в Греции? И все же не умерло старинное имя гушанов: так продолжало себя называть небольшое племя, поселившееся у подножья Эльбавенда, той двуглавой горы, где когда-то кузнец Кова приковал к скале царя-змея. Платили гушаны дань Руму, и позднее хазарскому кагану, но голову держали высоко, гордились своим происхождением. Христианскую веру принес им Рум, но продолжали гушаны поклоняться огню, как заповедал Зардушт. Забыли гушаны, правда, что огонь создал Ахура-Мазда, Многоведающий, и, хотя отвергли двоичность Ахура-Мазды и Ангра-Манью, познав благодать святой Троицы, трепетали они перед богом огня. Они утверждали: огонь очага соединяет людей, он есть союз.

Однажды, повествует предание, погас огонь в стране гушанов. Серая мгла низко нависла на плоские крыши домов. Ни одной звезды не было на небе ночи. Могло показаться, что гушанскими селениями овладела та первоначальная немота, которая была до Бескрайнего Времени, если бы не слышался то в одном, то в другом доме плач ребенка. Ни одно огниво, как ни старались люди, не способно было высечь огонь, ни один котел не кипел, ни один светильник не пылал, ни один очаг не грел жилье, остывший очажный пепел серел как мгла.

Был среди гушанов отважный юноша по имени Метей. Он часто видел, как из-за двуглавой вершины Эльбавенда загорался по утрам ослепительный свет: то на рассвете бог огня разжигал свой светильник. Он видел, как ярко озарялась вершина Эльбавенда на закате: то бог огня разводил перед наступлением ночи свой костер. От прочих гушанов Метей отличался не только отвагой, но и великой силой, да еще тем, что у него был конь Альп, тяжелокопытный, богатырский конь рыжей масти. Метей надел высокий шлем, прикрыл грудь кольчугой, составленной из железных колец, вооружился мечом и копьём, оседлал Альпа, вскочил в седло и погнал верного коня на вершину Эльбавенда.

Нелегко был подъем. Пришлось всаднику преодолеть пропасти и кручи, туманы и чащобы, град, вьюгу и камнепад. Но Альп двигался сквозь лесные дебри, как бурелом, перелетал через пропасти, как птица. На долине, согретой солнцем, захотелось коню отдохнуть, Но Метей спешил, он в гневе огрел коня плетью. Разгневался и Альп, ударил землю

копытом, и вода, одетая в голубизну, воднялась из глубины земли. Вы, внимающие преданию, видели ли Голубое Озеро на пути к вершине Эльбавенда? Да будет вам ведомо, что озеро возникло, когда Альп ударил копытом землю.

Так доскакал Метей до двуглавой вершины Эльбавенда. Змеи вырвались из скалы, — те самые, что некогда выростали из плеч Заххака. На горе возвышалась другая исполинская гора, и была та гора алого цвета: то пылал костер, разведенный богом огня. Метей поднял голос:

— С просьбой я к тебе, всемогущий бог. Говорят, что ты добр, ибо только доброта светится, а ведь ты — свет наших светильников. Говорят, что ты отзывчив, ибо только отзывчивость греет, а ведь ты — тепло наших очагов. Почему же ты отнял у нас огонь? Погасли наши очаги, не кипят котлы, темны светильники наши. Дай огня людям, дай огня!

Слова Метей привели бога огня в ярость. Речь-молния упала с высоты:

— Вы, люди, серая зола, забыли обо мне. Когда ваши треногие столы уставлены яствами и напитками, когда вы поднимаете заздравную чашу, когда собираете обильное просо, когда побеждаете в ратном бою, — кого благодарите вы? Иисуса Назарянина. Кому вы молитесь? Сыну Марии из дома Давидова. А мною вы пренебрегаете, мною, без которого не может жить живущее. Так ступай прочь, развейся, пепел серый, пыль земная!

— Дай огня, бог, дай огня людям! — не отступал Метей. — Не хочешь дать добром, так вступим в поединок. Если победа будет моя, то и огонь будет моим.

— Хорошо, вступим в поединок, — захохотал бог огня. И смех его был громом, и громом загремели железные цепи, которые сами упали с вершины Эльбавенда и сами обхватили тело Метей. Бог огня спустился с горы, вырвал Метей из седла и привязал его железными цепями к скале. Решил бог огня: "Пусть погибает этот человек, но, не погибнув, останется. Пусть не будет он в числе живых, но пусть и не числится мертвым".

А Метей, прикованный к скале, приказал Альпу:

— Беги, мой верный конь, вниз, пусть узнают братья-воины о моей участи.

Дни и ночи протекали над скалой, к которой прикован был Метей. Выли над ним ураганы, обрушивался на него снегопад, змеи вырывались из соседней скалы, пытаясь его ужалить. Но смерть боялась подступиться к нему, ибо ее страшила гора огня. И стало так, что и не умер Метей, и в числе живых его не было. Орел, прислужник бога огня, клевал кольчугу Метей, хотел добраться до сердца юноши, и Метей иногда жалел, что смерть боится приблизиться к нему, чтобы избавить его от мук. Он спросил орла:

— Кто сильнее, ты или я?

– Глуп ты, Метей, – ответил орел. – У меня крылья, а ты в цепях. Я лечу над горами, а ты прикован к скале. Я сильнее тебя.

– Равен ли ты, орел, каждому орлу?

– Есть орлы послабее меня, а есть и такие, чьи крылья мощнее моих.

– У всех ли орлов есть господа?

– Нет, один только я изо всего орлиного рода служу богу огня.

– Значит, не каждому орлу ты равен, ибо и те, кто слабее тебя, и те, кто сильнее тебя, ничьей власти над собой не признают. А я – человек, и даже прикованный к скале, терзаемый тобою, равен любому человеку, и ничьей власти нет надо мной. Тебе, глупцу, кажется, что ты сильнее меня, но твоя сила – видимость силы, призрак силы, твоя сила – насилье. Только Время – истинная сила. А Время не сегодня началось и не завтра кончится. Смотри, как безнадежно движется твое время, орел! Оно движется в рабстве. Только свободный обладает Временем. У тебя есть Сегодня, у тебя, может быть, есть и Завтра, а что у тебя за завтрашним днем? Ничего у тебя нет за завтрашним днем, ибо у тебя нет силы Времени. А у меня есть сила Времени. Пусть я в твоей власти Сегодня, пусть ты будешь клевать мою грудь Завтра, но придет Время, мое Время, и я буду, а тебя не будет, потому что ты живешь для господина, а я живу для равных, для людей. Время – это и судья, и воин, Время – это слезы людей и торжество людей. Сила Времени не знает видимости или краткости существования. Глупец думает, что он силен насильем, ибо слабость перед ним трепещет, а мудрый знает, что он силен мощью Времени, ибо тот, кто слаб Сегодня, – слаб кажущейся слабостью, видимостью слабости, но могуч истинной силой, силой Времени.

Между тем, преодолев сотни преград, Альп достиг селений гушанов. Мучились люди без огня, темно и холодно было в каждом доме, в каждом сердце. Увидев Альпа без всадника, ужаснулись люди. Значит, погиб отважный юноша? Собрались на совет и решили:

– Пойдем на битву с богом огня. Вызволим Метей, если он жив. Добудем огонь.

Всадники вооружились мечами, чьи рукояти являли собою кресты. Достигли всадники обиталища бога огня. Змеи вырвались из скалы, чтобы ужалить смертельным ядом первого всадника, добравшегося до них, но этот всадник взмахнул мечом и уничтожил черных змей. Никто не мог срезать черных змей с плеч Заххака, и только тот меч уничтожил их, чьей рукоятью был святой крест. На помощь змеям слетел орел, клевавший грудь Метей, но и его сразил меч. А еще один всадник с неслыханной быстротой поднялся к скале, к которой был прикован Метей железными цепями, обнажил меч, рукоятью которого был крест, и разбил цепи. Устрашился креста-рукояти и бог огня, спрятался за вершиной. Метей прыгнул на землю. Сила Времени была у Метей, и не стал юноша, познавший волю, тратить свое Время даром. Он вырвал из земли дерево, вскочил на Альпа, ожидавшего его среди верховых коней, поднялся к горе огня, погрузил дерево в пламя и с горящей

головней помчался вниз, к людям. Огонь – цвет его коня, огонь в его руке, огонь в его душе. Вслед за ним поскакали другие всадники из селения в селение.

– Есть огонь! Есть огонь! – говорил очаг очагу, светильник светильнику.

Другие, например, юнаны, рассказывают это сказание по-иному, но гушаны считают, что только они рассказывают его правильно, – так, как было на самом деле.

Нередко буря ломает и валит большие, многоветвистые деревья, а не в силах уничтожить маленький кустарник. Так было и с гушанами. Как буря, опрокинулись на них сперва орды Темучина Ченгиза, а потом Хромца Тимура, а потом их косила чума, а потом нагрянули арабы из пустыни Всадников, они обратили гушанов в свою веру, и уже не Иисусу Назарянину, а пророку Мухаммеду, сыну Абдаллаха, стали поклоняться гушаны, но выстояли, ибо огонь соединил и сплотил их, – огонь очага, огонь светильника, огонь языка. Они пошли за аварцем Шамилем на битву с белым царем, и Русь одолела их, взяла их землю, но не отняла у них огонь. А огонь есть не только тепло очага, сияние светильника и язык человека, огонь есть неугасимая память о прошлом. И еще огонь – память о родстве. Нередко такая память превращается в золу, и зола тлеет, но не гаснет. Тлела, но не гасла память гушанов о родстве с иранцами и юнанами. И не гасла память о том, что они, гушаны, не просто жители, они – народ.

Пишущий эти строки рассказал о гушанах так, как умел. Кое-что он почерпнул из книг, больше – из устных преданий, но гораздо больше – из бесед с Хакимом Азадаевым, речь о котором впереди.

## Глава седьмая

При форсировании Днепра командир минометного орудия сержант Мурад Кучиев был ранен осколком в ногу и награжден званием героя Советского Союза. В госпитале, в прифронтовом Чернигове, ногу сначала решили ампутировать, боясь гангрены, но вмешалась капитан медицинской службы Калерия Васильевна, еще не старая, как показалось Мураду, лет тридцати пяти, женщина-хирург, пожалела смуглого, с голубыми глазами, горбоносого, немногословного кавказца, спасла ему ногу. Он не знал, как благодарить ее. Однажды, смахнув с него одеяло, она ощупала раненную ногу и обнадежила: — Скоро ходить будем, — и провела рукой по шее и подбородку Мурада. С того дня, когда она появилась в палате, их глаза всупали в оживленный разговор.

Когда Мурад стал ходячим, он, прихрамывая точно так же, как Исмаил, его отец, навещал каждую ночь ту квартиру, где стояла на постое Калерия Васильевна.

Из своей минометной батареи Мурад получил извещение, что его комиссовали, как негодного к строевой службе. Замполит тепло пожелал ему скорейшего выздоровления и намекнул, что ему, герою Советского Союза, не пристало быть беспартийным, найдется для него подходящее место, если не в батарее, так еще где-нибудь. Калерия Васильевна, однако, продлевала его пребывание в госпитале, она была впервые по-женски счастлива, забыла стыд, договорилась с полковником, начальником госпиталя, о том, чтобы оформить Мурада как шофера, — он в армии научился водить машину. Дело, как будто, шло на лад, начальник госпиталя понимал Калерию Васильевну, да и не помешал бы в госпитале еще один шофер. Мураду хотелось домой, в Куруш, покрасоваться перед земляками, наверно, думал он, не так уже много героев Советского Союза среди тавларов, такого знатного человека могут назначить председателем колхоза, а то и повыше. Мурад беспокоился, — три месяца назад он послал родителям треугольник, а ответа все не было. Он мог бы поехать домой, на это тоже намекал в своей записке замполит, но жалко ему было покинуть Калерию и, видимо, покинуть навсегда. Она забеременела и не знала, как поступить, хотела оставить ребенка, но в ее возрасте трудно рожать в первый раз, а Мурад не останется с ней, он моложе на двенадцать лет, нет на это надежды, и все же есть надежда, он так ласков с ней, она чувствует, что Мурад растроган ее признанием, и Мурада вправду трогало то, что эта женщина родит ему ребенка, может быть, сына.

Пришел в госпиталь приказ из армии, — а шел приказ два месяца, — о присвоении сержанту Кучиеву звания младшего лейтенанта. Эта приятная весть была полна горечи, — офицеру не полагается быть простым водителем.



Кончалась украинская весна, голодная, примиренно затихшая среди пустых полей и развалин, любовники обдумывали, как быть дальше. Калерия могла бы, демобилизовавшись по беременности, поехать вместе с Мурадом на его родину, и там ждать, если его опять возьмут в армию, она высказала это предложение то ли вопросительно, то ли как бессмысленное, Мурад молчал, улыбаясь как старший, — и вдруг он получил предписание убыть во Фрунзе, Киргизская ССР, в распоряжение военкома города.

Мурад недоумевал. При чем тут Фрунзе? Ведь их столица — Гугирд. Кроме того, из записки замполита, присланной вместе с приказом о присвоении офицерского звания, было ясно, что Мураду разрешается съездить, скажем, на месяц, домой, а потом уже начать нестроевую службу в армии в качестве младшего лейтенанта. Калерия Васильевна была уверена, что не сработала бестолковая бюрократическая машина, и, сильная этой уверенностью, пошла к начальнику госпиталя, и тот сказал ей правду: тавларов, всех до единого, увольняют из армии, потому что весь этот народ выслан в Среднюю Азию. Он предупредил Калерию Васильевну, что доверил ей военную тайну, Мурад ни в коем случае не должен знать о судьбе своего народа: кавказец, да еще герой Советского Союза, мало ли что сгоряча натворит, им обоим тогда не позавидуешь, — ни ей, ни ему.

Мурада удивляло, что Калерия, всегда откликавшаяся на его ласку, как горы на его голос в Кагарском ущелье, была в последнюю ночь какая-то скучная, унылая, ее печаль и раздражала, и радовала его, он сказал ей, что во Фрунзе не поедет, что это за Фрунзе, наверно, ошибка вышла, он поедет в Гугирд, а оттуда — в свой Куруш. Голая русская женщина уткнулась мокрыми глазами и слабыми раскрытыми губами в его широкую волосатую грудь. Она не думала о его народе, она думала о нем и о себе. Да и он не думал о его народе, он ничего еще не знал, он только знал, что расстанется с этой женщиной, и он пожелал ее, но почувствовал, что ей не так хорошо, как всегда. Но, хотя это было не так хорошо, как всегда, его ласка придала ей силу, заронила в нее семя надежды:

— Мурад, напиши мне, я демобилизуюсь и к тебе приеду, я рожу тебе сына, захочешь — бросишь меня, никогда не буду тебе в тягость, ничего у тебя не попрошу, не потребую, ты будешь моим единственным, моим любимым. Возьмешь меня в жены, — буду счастлива, не возьмешь, — научу нашего сына тебя любить и гордиться тобой.

От этих слов сердце его дрогнуло, и тело дрогнуло, он опять пожелал ее, и опять почувствовал, что сейчас она любит его для него, а не для себя.

Он проснулся поздно, солнце полдня ударило ему в глаза. Калерия была в госпитале. На стульях висели выутюженные брюки и новая офицерская гимнастерка (где ее Калерия добыла?) с геройской звездой и орденом Ленина, с полевыми офицерскими погонами. Между стульями стояли начищенные сапоги, отражавшие лучи солнца, а на одном из стульев лежали бумазеевые портянки.

Уже в плацкартном вагоне, на рассвете, разбуженный внезапным толчком, Мурад вспомнил, как весело и уважительно провожали его сестры, и врачи, и те раненные, с которыми он лежал в госпитале давно, таких осталось мало, ведь он провел здесь всю зиму и весну, прибыли новые, которые не видели, как ему вручил награды специально для этого приехавший член Военного Совета. Пили много, он больше всех, медицинский спирт заглушал боль разлуки с Калерией, неясный страх перед этим неясным Фрунзе, он с высокопарной восточной сердечностью благодарил врачей и сестер, всех звал к себе в гости, после победы, конечно, в Куруш, — мол, моими кунаками будете.

Под головой у него скаталась шинель, прижатая к большому чемодану, он вспомнил, то был чемодан Калерии, да, Калерия провожала его, пьяного, тащила чемодан, "золотко мое" — говорила Мураду.

Вагон заполнили одни военные, много искалеченных. Счастливицы занимали целиком верхнюю полку или третью, некогда предназначенную для поклажи. Нижние полки считались сидячими, на них теснилось по четыре пассажира. Наверно, это Калерия устроила его на верхней полке. Подогнув хромую ногу, Мурад вытащил из-под головы чемодан, раскрыл его с помощью торчавшего в замке ключика. Все было аккуратно уложено: нательное белье, подворотнички, вторая гимнастерка, и что-то крупное помещалось в госпитальной наволочке. Мурад развязал тесемки, заглянул, увидел две бутылки чистого спирта, два кирпичика хлеба, четыре банки с тушенкой. Все Калерия, Калерия. А предписание не забыла? Он нащупал карман гимнастерки, почувствовал что-то плотное, — оказалось, то был конверт, а в конверте — фотокарточка Калерии. Она была молодая, в открытой блузке, косы коронкой. На обратной стороне фотокарточки Калерия Васильевна написала свой московский довоенный адрес. Предписание было в другом кармане, там же — удостоверение героя.

Вытянув вдоль полки здоровую ногу, он опустил вниз изогнутую хромую, кто-то ее попытался отодвинуть над своей головой, он ударил искалеченной ногой эту голову и протянул бутылку со спиртом красноармейцу, сжавшемуся на нижней полке напротив, у окна, но тот не взял ее, глядел безжизненными глазами. — Давай мне, он же слепой, — крикнул, даже взвизгнул от радости, сидевший рядом с красноармейцем лейтенант. Мурад, опираясь здоровой ногой на промежуток на полке между сидящими внизу, слез на пол.

Дальнейшее он помнит смутно. Помнит, с каким почтением к его геройской звезде и к двум бутылкам спирта отнеслись пассажиры-фронтвики, помнит развалины станций в окне вагона, помнит, как прижимала к его хромой ноге свою толстую, теплую ногу рыхлотелая медсестра, сопровождавшая слепого красноармейца, помнит, как ему в это мгновение стало противно, и помнит, как ему вспомнилась Калерия и ее тихие, горячие ласки...

В Ростове была пересадка. Здесь Мурад ощутил силу своего геройского звания. Билет ему закомпостировали без очереди, дали место в мягком вагоне. В купе было пусто, он растянулся на нижней полке, давно

Не лежалось ему так мягко, но потом вошли трое, двое русских, одетых по-военному, но без знаков различия, в третьем Мурад узнал азербайджанца. Один из русских приказал ему убираться, здесь не его место, Мурад обругал его на родном языке, и тогда азербайджанец, маленький, стройный, с девичьими губами, с девичьими глазами, по-мусульмански пресек длинным указательным пальцем недовольство русского, тот сразу же замолчал. Усевшись, азербайджанец спросил у Мурада:

– Товарищ герой советского союза, из какого ты ущелья? Ты Наурузов, Кучиев, Мисостов?

– Кучиев я, – удивился Мурад.

– Мурад Кучиев? Из Куруша?

– Мурад Кучиев из Куруша. А ты кто?

– Я Везиров, нарком внутренних дел Гушанистана.

– Эй, нарком, почему Тавларию забываешь назвать?

– Сейчас узнаешь, почему забываю, – на сладчайшем из тюркских наречий успокоил его Везиров. Один из русских поставил на столик коньяк, постелил газету, ножом с множеством лезвий разрезал лимон, выложил две белые булки, домашний сыр, завернутый в марлю. Такую же бутылку и закуску он протянул вверх своему товарищу. Русские устроились на верхних полках, ели и пили молча, и на Мурада поглядывали молча, а Везиров и Мурад уселись за вагонным столиком, и Везиров, окинув Мурада влажным взглядом, торжественно произнес, поднимая граненный железнодорожный стакан:

– За тебя, Мурад, за Героя Советского Союза Мурада Кучиева, славного сына Гушанистана.

– Спасибо, товарищ нарком. Опять Тавларию забываешь назвать. Меня обижаешь.

Чекист оказался спутником задушевым, доверчивым:

– Неприятности у нас, Мурад. Большой чести мы удостоились, семь героев советского союза у нашей небольшой республики, это очень много в процентном отношении, гордиться можно было бы законной гордостью, но что получается?

Везиров спросил, как бы ища сочувствия к тому затруднительному положению, в которое попало руководство республики, как бы понимая, что Мурад не может не сочувствовать:

– Что получается? Один из героев – русский, Варлыгин, это хорошо: старший брат, но воспитанник гушанистанского комсомола, двое – гушаны, это замечательно, один – горский еврей, тат Авшалумов, ну что же, представитель малой народности, даже красиво, и целых три тавлара. Понимаешь?

Мурад вспыхнул:

– Плохой разговор говоришь, нарком. Не как брат говоришь. Мой народ оскорбляешь.

– Нет больше твоего народа, Мурад, – ласково сообщил Везиров. – Ты куда направляешься? Покажи предписание.

Мурад смутился:

В какое-то Фрунзе мне приказано прибыть. Но я туда не поехал. Я домой поехал. Есть у меня народ, а ты, как все азербайджанцы, хвостун и лжец.

— Я твой народ не оскорбляю, и ты мой народ не оскорбляй, — беззлобно, но грозно ответил Везиров. — Твой народ, как состоящий из предателей, сотрудничавших с немецкими оккупантами, сослан в Казахстан. Можно сказать, ликвидирован как социалистическая нация. И только девять-десять семейств заслуженных в прошлом работников отправлены на поселение в Киргизию, где материально-бытовые условия лучше, чем в Казахстане. И тебе, как герою, твое командование, видно, решило предоставить возможность устроиться во Фрунзе, может быть, договоришься с тамошним начальством, разрешат тебе перевезти туда и родителей. Нет больше Гушано-Тавларской АССР, есть автономная республика Гушанистан. Но должен тебя порадовать, ты правильно сделал, что вместо Фрунзе поехал в Гугирд. Мы, когда получили известие о том, что ты стал героем Советского Союза, изучили твою биографию, Твоя бабушка была гушанкой. Заанкетим тебя как гушана, останешься у нас.

— Так я же ни слова по-гушански не знаю.

— А что такое гушанский язык? Дальше Тепловской на нем не доедешь. По-русски, дорогой, будешь говорить, русский язык для всех нас родной, язык Ленина и Пушкина. Большое место получишь, в партию тебя примем, на красавице женим, заметным человеком станешь.

— Я тавлар и корень мой тавларский. А ты, ширванец-торгаш, плохие слова говоришь, нечистые слова говоришь, не советские слова говоришь.

Везиров наконец вышел из себя. Его девичьи глаза утратили цвет и свет. Двое русских угрожающе свесили с верхних полок ноги в шерстяных горских чулках. Везиров поднял руку и вытянул длинный указательный палец. Двое наверху снова улеглись. Тихие капельки отравы потекли со сладкого языка Везирова:

— Мы не у таких как ты вырывали вместе с мясом звезды из гимнастерки. Пока с тобой говорю я, — ты человек, ты даже еще герой Советского Союза, а когда заговорят те ребятки, что на верхних полках, ты и кониной не будешь, ты лошадиной требухой на мясокомбинате будешь.

На Тепловской сошли. Нарком внутренних дел пригласил Мураба в газик, стоявший на площади перед уцелевшей стеной вокзала. — Герою, — сказал Везиров, — полагается машина получше, но другой у меня нет. Так что ты меня извини. Я как раз по этому вопросу ездил в Ростов, там наши побогаче, договорился с ними, чтобы они нам выделили две-три машины. Расширяемся, штаты растут.

— Я доберусь рабочим поездом, — утрумо отозвался Мурад. — Везиров добродушно рассмеялся:

— Считаю себя арестованным. Мы тебя не отпустим. Герой должен въехать в столицу своей республики в машине.

Уселись так: впереди Везиров, позади между двумя ребятками Мурад. Он чувствовал себя зажатым двумя волками, сквозь их человеческие

личины проглядывали волчьи морды. Дорога была ровная, гор долго не было видно. Везиров повернул голову к Мураду:

– Ты не знал Темира, моего прежнего шофера? Он тоже тавлар.

– Не знал. Из какого он ущелья?

– Он теперь живет в городе Канте, недалеко от Фрунзе. Хорошую должность получил. Пишет мне.

– Передать ему от тебя салам, что ли?

– Я же сказал тебе: твоя бабушка по матери гушанка. Никуда не поедешь, останешься на родине.

– Моя родина Тавлария.

– Сволочь, – сказал один из ребяток. Везиров покачал головой, прикрыв глаза девичьими ресницами:

– Эй, Мурад, нельзя быть таким злым. Главное в человеке – человечность.

Въехали в город. Гугирд был наполовину разрушен. Мазанки кое-как отремонтировали, а большинство новостроенных зданий зияло обгоревшей пустотой. Зато еще гуще разрослись тополя и каштаны. Много женщин и детей. Люди двигались, как будто не замечая зияющих стен. А замечают ли они, что тавларов нет, целого народа нет?

Остановились у этнографического музея. Везиров приказал шоферу:

– Заедешь за мной через час. А ты, Мурад, пойдешь со мной в обком партии. Чемодан и шинель оставишь у охранника. Общий вам, ребятки.

– До свидания, товарищ нарком.

Везиров повел Мурада на третий этаж. – Подожди меня, – сказал он не властно, по-дружески, и вошел в кабинет Парвизова, первого секретаря обкома.

Мурад никогда раньше не был в обкоме партии, не был и в этнографическом музее, чучела оленей и туров удивляли его, – так полагается, что ли? Из-за стола с тремя телефонами рыжая Алевтина расспрашивала красивого, молоденького героя Советского Союза, – как его зовут, откуда он родом, осталась ли у него девушка здесь, или завелась на фронте, смеялась женским смехом. Узнав, что он из Куруша, она замолчала, ее поросычьи глаза одушевились участием. Из кабинета в приемную вышел Везиров, пожал Мураду руку неожиданно сильной рукой, попрощался:

– Помни мой совет, Мурад. Еще увидимся. А теперь тебя ждет Даниял Заурович.

Курчавый, белозубый Парвизов обнял Мурада по-горски, усадил на диван и сам сел рядом, задал обычные вопросы, – как доехал, как нога, обворожительно улыбался:

– Хорошо, что ты к нам приехал. Мы тебе рады. Слух о тебе прошел по всей Руси великой. Гордимся тобой. Я понимаю, тебе тяжело, твой народ выслан, большая трагедия, но будем верить, что тавларов вернут обратно. Оставайся здесь и жди. Сколько у тебя классов?

– Семь. Я в армии на водителя выучился.

– Тебе водителем быть мало. Ты народным слугой станешь. Вот Авшалумова, тоже героя, он без ноги пришел, мы сделали начальником станции Гугирд. И тебя сделаем начальником. У Авшалумова положение, на первый взгляд, хуже твоего, у тебя, хоть хромая, нога сохранилась, а с другой стороны, – Авшалумов вернулся к своим, а ты... Знаешь, как мы спасли горских евреев? Когда немцы приближались к Гугирду, мы всем горским евреям заменили паспорта, они стали гушанами. Немцы их не тронули. Заметь, никто не выдал, а ведь среди гушанов и русских, чего скрывать, всякие бывают. И тебя гушаном запишем.

– Чтобы советские меня не тронули?

– Мурад, я по-человечески тебя жалею. Воевал с честью, заслужил звание героя, пришел домой, а дома, в сущности, нет. Да, тяжело жить без родного народа. Но разве мы тебе чужие? Я не говорю о том, что твоя бабушка была гушанкой. У нас, тавларов и гушанов, только языки разные, но обычаи одинаковые, лица одинаковые. Я не знал до войны, кто в Гугирде гушан, кто тавлар, узнавал только тогда, когда заговаривал с человеком. Все мы, горцы, одна семья. Не покидай нашу семью, Мурад. Мы тебя хорошо устроим, доля спецпереселенца не для тебя.

– Навестить мою семью вы мне разрешите?

– Нечего тебе туда ездить. Будь мужчиной, Мурад. Не надо причинять боль и себе, и своим близким.

Парвизов достал из верхнего ящика в шкафу початую бутылку коньяка, две рюмки, тарелку с куском крутой каши. Выпили, повторили. Мураду понравился Парвизов: большой человек, а простой, душа есть в его теле. Он сказал после третьей:

– Я подумаю, Даниял. Помоги мне добраться до Куруша. Хочу взглянуть на дом, где мать меня в люльке качала.

Парвизов положил ему руку на плечо:

– Сделаем, Мурад. Дам тебе свою машину, поедешь в Кагар, а до Куруша на своих полтора доберешься. Жить будешь на турбазе, в гостинице теперь военный госпиталь. И на турбазе живут военные, подполковники и выше. Мы сами, как видишь, заняли этнографический музей, прежнее здание обкома разрушено. Но дай срок, построим новое здание. И твои вернутся, дай срок. Когда приедешь с гор, придется тебе потрудиться, ты не обижайся, герою Советского Союза надо встречаться с трудящимися. Мы и Авшалумова так загружаем.

Парвизов сдержал слово. И поместил на турбазе Мурада, с ежедневным питанием трехразовым, в отдельной комнате, где стояли четыре кровати, хоть спи каждую ночь на другой, и свою машину секретарскую дал. Шофер оказался пожилым, невысоким, жилистым. Он говорил по-русски, не по-здешнему. Звали его Михал Михалыч.

Проехали мимо серных источников. Там, где вода падала со скалы тяжелой, широкой струей, под нею стояли искалеченные войною, а на земле, желто-серой от соли и мокрой, валялись их костыли. Мурад подумал, что, если останется, то подлечит здесь больную ногу, он еще в детстве слышал от стариков об этой целебной воде.

Кукурузные поля поднимали свои острия. Между ними вилась речка Лапсе, впадающая в Кагар. Одно за другим мелькали селения гушанов, белые одноэтажные домики, плетни, закрытые на засов лавки сельпо. Дорога медленно взбиралась вверх, иногда она опускалась, но ее движение вверх было неуклонным. Из-за скалы предупредительно загудела и появилась машина, Михал Михалыч ловко прижался к отвесному горному камню, пропустил грузовую. — Заключенные, — пояснил он, — наверху вольфрам добывают. Дело секретное.

Среди зелени буков, чинар и платанов розовым пламенем пылали кизилловые ветви. Вот и Кагарское ущелье. Сейчас, за вторым поворотом, откроется Голубое Озеро. Здесь для Мурада начинался его мир, и этот мир взглянул на него ясным, но каким-то настороженным, выжидающим взглядом. Было тихо, травяные ресницы не мигали. Он и Михал Михалыч вышли из машины, спустились к берегу. Озеро было таким же, как тысячу лет назад, как десять тысяч лет назад. Оно, как рассказывают гушаны, видело Метя, скакавшего с горячей головней, оно многое видело, многое узнало в те мгновения, которые люди называют тысячелетиями. А сколько лет здесь жили тавлары? Теперь он, Мурад, единственный тавлар, открытый голубому оку мира, и никакой другой тавлар не видит, как мир смотрит на него голубым выжидающим глазом.

— Перекусим, Мурад? — спросил Михал Михалыч. — Надежда Григорьевна курицу нам зажарила. Евреи, они хорошо курицу жарят. А про нее и не скажешь, что еврейка, внимательная к рабочему классу, со свекровью душа в душу живет, а с такой свекровью и не каждая гушанка поладит, капризная старуха, все ей не так. Слава Богу, сын не в нее. Я Данияла Зауровича с фронта знаю, он инструктором политотдела работал, а я там шофером, я его, раненого, в госпиталь повез, он не забыл про меня, как стал здесь первым, договорился с командованием, вызвал к себе, квартиру дал, семья ко мне из-под Череповца перебралась, изголодалась, а здесь у вас благодать. Для Данияла Зауровича, как поедет, первое дело, — накормить водителя. Все обкомовцы теперь по выходным дням в горы едут, их жены и детишки в ваших тавларских саклях устроились, на дачах, значит, — чего домам пустовать. А Даниял Заурович отказался. — Что за отдых, говорит, на земле угнанных соседей.

В детстве, когда Мурад учился в кагарской школе, он часто взбирался по пяти ярусам старинной сторожевой башни. Между бойницами, если смотреть вниз, были широко видны Кагарское ущелье, шумная река, давшая название ущелью, дома тавларов, а пониже — дома предгорных гушанов, если же смотреть вверх, то, как седые шейхи в чалмах, виднелись вершины гор, собравшиеся на совет, и они вместе со сторожевой башней защищали народ от набегов чужеземцев. Кого теперь защищать, если нет народа? Что вы скажете своему сыну-герою, вы, седые каменные шейхи? Где ваш опыт, где ваша мудрость? Или, быть может, этих болтливых женщин вы защищаете, этих бездельниц, поселившихся на лето вместе с детьми в домах, не ими возведенных, их, которым

привозят снизу жирное городское питание, их, которые развесили для просушки свое белье на террасах чужих домов, их, осквернивших своим присутствием даже дом Мусаиба Кагарского, величайшего поэта гор. Сок этой земли, заря этой земли — в крови Мурада, бешенство горных вихрей скачет по его жилам, он задыхается, он хочет сорвать это воющее белье.

Чтобы скрыть свою боль, он не решался заговорить, и взглядом приказал Михал Михалычу остановить машину посреди бугристого пастбища, заросшего всякими травами, фиалками, ромашками, мятой. Здесь начиналась тропа, взметнувшаяся в Куруш. Михал Михалыч понял его взгляд, сказал.

— Я пойду с тобой. Сейчас лето, можно подняться, хоть я и непривычный. А когда твоих зимой по тропе сгоняли, многие, говорят, свалились в пропасть.

— Я поднимусь один.

Не замечая бездны с обеих сторон тропы, Мурад, прихрамывая, взобрался на отчужденную землю. Куруш был пуст. Почему селение кажется человеку пустым, если оно безлюдно? Жаворонок прилетит, — и услышит птиц, значит, есть свойственники, тающий лед сбежит, — и услышит воду родников и реки, листок, занесенный ветром, услышит родной язык травы. Есть сородичи у жаворонка, у тающего снега, у листка, нет в Куруше сородичей у человека, в дорогом горскому сердцу обезлюдевшем Куруше. Но разве птица, трава, горы, вода не сородичи Мурада? Он и они — единый народ. Душа этой земли — его душа, и повсюду, куда ни занесет его судьба, в нем будет душа его земли.

Он пошел по краю обрыва: здесь в детстве он косил сено. Колокольчики висели на скалах. Он обошел сквозь высокую траву бывшую мечеть — колхозный клуб. Как в детстве, высоко-высоко поднимался минарет. Колочая зелень выползала из орнамента стен, из того орнамента, который был непонятным для Мурада стихом Корана: "Бойтесь огня, уготованного неверным, огня, чье топливо — люди и камни".

Мурад приблизился к родному дому. Ореховое дерево перед саклей высохло, оголилось, только один сухой листок висел на ветке. Двери были выломаны. Очажная зола застыла. Под родительской кроватью, покрытой изъеденной циновкой, слышалось копошение подпольных существ. Против дверного проема стоял шест. На него Айша и Исмаил вешали свою праздничную одежду.

Мурад мерз в окопах, выползал из засыпанного землей бруствера, выходил, голодный и обовшивевший, из окружения, плутал по лесу, плыл в ледяной воде, чтобы занять плацдарм на левом берегу, смерть дышала ему в лицо пулеметными точками, фугасками, огнем и металлом, — все вынес терпеливый солдат, но ужасней ледяной воды, и бомб, и пуль, и прицельного огня была эта застывшая очажная зола родного дома, этот шест для одежды, и солдат упал на земляной пол и заплакал беззвучным плачем, и то был великий плач, ибо человек плакал плачем всего народа.



Мурад почувствовал чье-то дыхание. Кому он нужен, последний сухой листок оголенного дерева? Над ним склонился Михал Михалыч:

– Чего ты, Мурад. Ну чего ты. Мы же не женщины. Ну чего ты.

Он тоже плакал. Они вышли вместе. Михал Михалыч спускался по тропе, держась за Мурада. У него кружилась голова.

В машине они молчали. Это было молчание обезлюдевшего Куруша. За поворотом показался давешний грузовик. Теперь уже он прижался к скале, пропуская легковую машину. Рядом с шофером сидел конвойный. Другой конвойный сидел у заднего борта кузова. Странны были мертвенно-серые лица заключенных, покрытые красными пятнами. – Прикурить дашь? – безнадежно крикнул один из заключенных, но Мурад не успел ответить, что не курит, грузовик поднялся вверх.

– Что у них за красные пятна? – спросил Мурад.

– Высоко работают, кровь давит. Непривычные к климату.

Доехали до турбазы. – Подожди меня, – попросил Мурад и быстро вернулся с шинелью и чемоданом.

– Поедем на вокзал.

– Ну чего ты, Мурад. Ну чего ты. Оставайся. Или, по крайнем мере, проститься тебе надо с Даниялом Зауровичем. По-людски надо. А то оставайся.

Мурад молчал, и то было молчание безлюдного Куруша. Когда показалась единственная уцелевшая стена вокзала, Мурад сказал:

– Ты правильный человек, Михал Михалыч. Душа есть в твоём теле.

Они вышли из машины первого секретаря обкома партии и троекратно, по-русски, поцеловались.

Так как вокзал был почти весь разрушен, то начальник станции временно, покуда еще длилось лето, устроился в бывшем павильоне пивоводы. У Авшалумова сидели двое подчиненных, как и он, в железнодорожной форме. Эти двое с уважительным любопытством посмотрели на геройскую звезду вошедшего. На столе, рядом с графиком, лежал костыль Авшалумова.

– Здравствуй, начальник, – сказал Мурад. – У меня к тебе дело. Я Мурад Кучиев. Я тавлар.

Двое заторопились, вышли. Авшалумов пригласил Мурада сесть. Семитское лицо начальника станции заросло полуседой щетиной. Евфратская печаль была в его глазах. Он выдвинул толстую нижнюю губу, покачал головой в форменной фуражке. Русские слова он произносил также, как их произносили гушаны и тавлары:

– Я слышал хабар о твоём приезде. Жаль мне тебя, Мурад. Мой народ гушаны спасли, а твой не спасли.

– Нас не надо было спасать. Мы сами за себя постоим. За нами вины нет. Мы столько лет здесь живем, сколько горы стоят. – Мурад говорил с самому себе непонятным озлоблением. – Мы не в лавчонках сидели, не по базарам шатались. Не о тебе моя речь, ты честный солдат. Мы в орлиных гнездах сидели, мы были народом орлов. А где теперь мой народ? Горы стоят, народа нет.

— А мы старше этих гор, — спокойно ответил Авшалумов. — Твой народ еще имени своего не имел, когда мой народ владел виноградниками и садами, у нас был храм, у нас были дворцы и не имевшие себе равных цари, — Шаул, Дауд и Сулейман. Здесь нас горсточка на ладони земли, но, хотя мы горсточка, мы всегда знали, что мы великий народ. Наших предков пригнало сюда войско царя Куруша, мы разговариваем по-татски, но наши старики молятся на языке, на котором пророк Моше беседовал с Богом. В рассеянии мы остались великим народом. Теперь судьба испытает, — будет ли твой народ великим, изгнанный на чужбину? Что дороже, — множество песка или горсть жемчужин? Не говори глупых слов, Мурад, а говори, какое у тебя ко мне дело.

Мурад смутился. Он и не думал, что у начальника станции есть такие слова. Не совсем понятные, немного, кажется, обидные, но глубокие слова.

— Литер был у меня до города Фрунзе, а в Ростове я переписал его на Гугирд. Как теперь доберусь до Фрунзе? Там горстка моего народа. И денег у меня нет.

— Денег и у меня нет. А билет тебе выправим до Фрунзе, и сухой паек дадим, да так, чтобы ты кое-что своим привез. Не обидим фронтовика. Только глупых слов не говори. Кто может тебя понять лучше, чем я, горский еврей?

## Глава восьмая

Недалеко от Фрунзе, столицы Киргизии, среди свекловичных полей, разбросан городок Кант, что на тюркских языках означает "сахар". Высланные тавлары прозвали городок "Туз" – "соль". Но нельзя сказать, что им пришлось в Канте особенно солоновато, над ними не было, как над их сородичами в Казахстане, комендатуры, им разрешалось выезжать, без права ночевки, во Фрунзе, и все же пели подростки, ожесточенно переиначивая известную песню: "Хороша страна Тавлария, а Россия хуже всех".

Грех было им жаловаться. Не в пустыне их поселили, как большинство сородичей, а на плодородной земле. Они попали в среду, близкую им по языку, по вере: киргизы – мусульмане, хотя и не такие ревностные, как тавлары. Понимали киргизы, что и их, не приведи Аллах, может постичь такая же участь, и жалели несчастных. Конечно, случались и распри между хозяевами и спецпереселенцами, без этого нельзя.

В Кант попали избранные, тавларская советская знать. Бывшая знать. Председатель совнаркома Акбашев стал председателем райпотребсоюза, он с семьей занимал половину глиняной кибитки с небольшим участком, в другой половине поселился Амирханов, который неплохо устроился в райпищеторге, – занятие прибыльное, ибо он стоял у истоков распределения пищи, а пища в военное – и в невоенное – время была не для всех, карточки в тех местах отоваривались отвратительно.

О чем думали Акбашев и Амирханов? Думали ли они о том, что половина их народа погибла в пути? Никто не знал их дум, даже их жены и дети, даже Темир, бывший шофер наркома Везирова, который в звании лейтенанта продолжал свою службу в органах и жил тоже в Канте, в восьмиквартирном доме работников НКВД.

В городке можно было увидеть не только киргизов в белых шапках-колпаках, но и узбеков в тюбетейках, и дунган – китайцев мусульманского вероисповедания. Они привыкли к нескольким десяткам новоприбывших тавларских семей. Все было похожим на родную землю – и снежная вершина Алатоо, напоминающая Эльбвенд, и поля, и пастбища, и обычаи соседей, но знали тавлары: и горы не те, и поля не те, и не те пастбища.

Мусаиб Кагарский сильно одряхлел. Он перестал в изгнании заниматься по утрам гимнастикой. Старик подолгу сживал на азиатском солнышке у того дома, половину которого хозяйка, вдова погибшего на фронте учителя Джумабаева и сама учительница, отвела семье Гомера двадцатого века, депутата Верховного Совета СССР. Мусаиб получал положенные депутатам деньги и, что важнее, паек, то был хороший, большой паек, с Гулаим Джумабаевой жили одной семьей, она подружилась с двумя дочерьми Мусаиба, тоже военными вдовами, их

сиротки-дети играли вместе, и внуки Мусаиба уже произносили слова на характерный киргизский лад, джокая там, где по-тавларски требовалось "и краткое".

Жена Мусаиба, всегда одетая в черное, всегда на кого-то сердитая Разият, была недовольна тем, что киргизке достается часть депутатского пайка, ходила по дому, бормоча ругательства, но мужу не смела прекословить. Она была намного моложе Мусаиба, но выглядела совсем старухой, беззубая, худая, с трясущейся головой. Ей уже и в молодости не доставало многих зубов, что среди горянок было редкостью и считалось происшедшим от злого заклятия, поэтому и выдали ее за бедняка, не потребовав с него калыма.

Сердце у него к Разият не лежало, да и сыновей она ему не родила, дочери были в мать, скупые, некрасивые, а все же с помощью Разият он завел хозяйство, получил крохотный надел земли, построил дом. Какая длинная жизнь прожита! С детских лет он пас чужое стадо, ходил по чужой земле за чужим плугом, и нефть добывал в большом городе Баку, где научился говорить по-персидски, курить анашу и спать с дурными женщинами. Потом он вернулся в родной аул, женился, начал слагать песни, Аллах Акбар, правильные песни, строки в четверостишии, как четыре палочки шашлыка, но третья без мяса, а первые две и четвертую он связывал рифмой, будто крепким, но нежным жгутом, и той же рифмой он скреплял столько четверок, столько палочек, сколько надо было, слова были мясом, а струны саза — огнем, горячие получались песни, бедняки пробовали их на вкус, говорили: "Хорошо". Аульский мулла презирал его: "Неграмотный!". Это было увидено справедливо, но не глубоким взглядом. Что правда, то правда, рука его была неграмотная, темная, зато глаза — светлые, им открывалось безумие мира. Когда запылала гражданская война, Мусаиб сложил песню о том, что его родная земля, как чаша с хмельной бузой, ходит по кругу, — от денкинецев к англичанам, от англичан к туркам, от турок к большевикам, — где же правда времени? Горские евреи внизу, в предгорьях, проливая семь потов, выращивали упрямый виноград, они давили вино, запретное для мусульман, и мусульмане, пропив свои жалкие деньги, грабили виноградарей, насильовали их жен и дочерей, — разве это правда времени? Но вот укрепилась советская власть, пора бы и отдышаться, так нет же, вместо прежних богатеев, судей-кадиев, князей-таубиев стали всем распоряжаться люди с портфелями, свирепые как палачи и жадные как вольноотпущенники, — и разве это правда времени?

Так вопрошал он в своих четверостишиях, нанизанных на одну хлесткую рифму с повтором, и его народ подхватил эти четверостишия и запел как свои.

Началась коллективизация. Крестьяне резали своих овец, чтобы не сдать их в колхоз, ели днем и ночью, обливая обильную пищу слезами. Разве это правда времени? Он сложил горькие стихи об этих безумцах, гневные стихи. И вот к нему пришел один из начальников и сказал:

— Сладкие это стихи, для родной советской власти сладкие. Нужные это стихи, ты великий поэт, Мусаиб. Ты правильно назвал безумцами тех,

кто не хочет идти в колхоз, кто режет свой скот. Ты сам бедняк, и поэтому понимаешь сердце бедняка. На слезах была замешана твоя ячменная лепешка. Наш отец, товарищ Юсуф Сталин, который родился по соседству, в Гурджистане, хорошо знает долю бесправного горца. Он хочет нас вывести из ущелья нищеты на долину зажиточной жизни, а этот путь лежит через колхозы. Другого пути для нас нет. Те, кто режет скот, чтобы не отдавать его колхозам, — слепцы, они идут по тропинке, по которой их толкает в пропасть каварный враг-мироед. Будь поводырем для слепцов, Мусаиб, пусть твоя песня вернет им зрение. На той неделе открывается в Гугирде первый республиканский съезд колхозников. Возьми в руки саз, сложи для участников съезда песню, твердую и острую, как горский кинжал, мягкую и пахучую, как горский хлеб. Нам нужен хлеб твоей песни, Мусаиб. Отвезем тебя в Гугирд на машине...

Папаха у вас на голове или городская шляпа, бьется ваше сердце под черкесской или под модным вельветовым пиджаком, трогают ваши пальцы клавиши пишущей машинки или струны саза и лиры, но если вы слагаете стихи, то ваш разум и сердце вдыхают лесь, как запах утреннего сада. И лестно было Мусаибу слушать слова районного начальника, человека с портфелем, лестно было впервые въехать в Гугирд не на крестьянской арбе, а в машине. Иные когда-то смеялись над тем, что он слагает песни, не мужское, мол, занятие, а оказывается, что его песня — хлеб для советской власти. И вот Мусаиб, в новой папаче, в новом бешмете, ашуг державы, сел на сцене перед переполненным залом, взял в руки саз и спел песню о счастливой зажиточной жизни, к которой нас ведет тот, кто сам — весь движение в будущее, кто есть райский источник мудрости и утренняя звезда счастья. Он пел от души, — по крайней мере, так ему тогда казалось. И потом лицо Мусаиба, голубоглазое, умное лицо землепашца, было размножено в газетах, печатавшихся на трех языках, да, даже в русской газете, он поднялся по узкому ущелью своих дней к вершине всенародной славы. Но, когда достигаешь вершины, за ней открывается новая. Так, после встречи с Максимом Горьким, он взобрался на новую, недостижимую вершину, его темную руку пожмили Юсуф-пророк теперешнего мира — Сталин и верные сталинские халифы Молотов и Каганович, приезжие знатные русские ашуги. Правда, не всегда ему было легко, ему приходилось петь о том, к чему не был приспособлен его горский саз, петь о том, чего он не знал, петь, зажмурив глаза, чтобы не видеть бед своего народа, и он говорил с детской хитрецой переводчику Станиславу:

— На дне моего хурджина есть хорошие, богатые слова, но мне трудно нагибаться, ломота одолела меня в старые годы, нагнись ты за меня и достань нужные слова.

Когда он в последний раз так говорил, была весна, они сидели на траве перед его саклей в Кагаре, пили домодельное вино, внизу цвели фиолетовые персиковые сады, прямо над головою плыли розовые от закатного света облака, и Мусаиб, почувствовав благодарность к молодому русскому ашугу, который переводил его, доставая со дна хурджина нужные слова, сказал Станиславу:

– Товарищ Сталин – чистый, как этот стакан. Возьми сравнение для своих стихов. Мой подарок.

Где эти фиолетовые сады, эти кагарские розовые облака? Какой шайтан обманул нашего отца, наговорил бесовские наговоры на тавларский народ, и весь народ погнажи, как гонят с гор отару на зимние пастбища, и внезапно выпал снег, ударил град, и половина отары погибла в пути от холода и бескормицы. Где же правда времени, какой храбрец откроет ее великому Сталину, могучему, но доверчивому, как все великодушные богатыри?

Учительница Гулаим Джумабаева считала большой честью для себя пребывание в ее вдовьем доме прославленного Мусаиба Кагарского. Еще до войны она разучивала его стихи по-русски со своими учениками. Мусаиб зорко следил за тем, чтобы скупая Разият не обделяла продуктами из депутатского пайка хозяйку и ее сироток, он видел, что Гулаим – женщина уважительная и добронравная, даром, что входя к нему, не прикрывала лицо краешком платка. Однажды она сообщила ему, глотая слезы, что районо запретило ей учить детей стихам Мусаиба. И добавила с гневом:

– О чем думают ваши люди? Про кавказцев говорили, что они как волки, а вы – овечки. Надо письмо написать товарищу Сталину. Он мудрый, он знает, что виновен бывает человек, а весь народ – никогда.

Гулаим напоила Мусаиба из кувшина горечи, а тут судьба преподнесла ему второй кувшин, еще более горький. Торжественно, с одобрения кантского начальства, навестил его Соронбай, сказитель древней народной поэмы "Манас", насчитывающей чуть ли не полмиллиона стихов, и всех их знал Соронбай наизусть. Слава его гремела в Киргизии, но иссякала, добежав до пределов республики, а для славы Мусаиба раньше не было границ, и вот теперь Мусаиб – изгнанник, спецпереселенец, депутат Верховного Совета СССР, который вне маленького Канта нигде не смеет переночевать. Большие люди до войны и в годы войны не раз убеждали Соронбая складывать песни на современные темы, – о партии, о родине, о Сталине, о героизме советского народа: ведь Соронбай не хуже, а даже лучше кавказца Мусаиба, и Соронбай старался, пробовал, но у него ничего не получалось, слова он выбирал красивые, как чирах-светильник, но в светильниках не было огня. Соронбай давно мечтал о знакомстве со знаменитым Мусаибом, и его мечта сбылась. Сказитель приехал в Кант верхом на куцехвостой лошадке, его черный костюм-тройка был запылен, равнобедренная белая шапка из войлока чуждалась городской одежды, Соронбай был еще не стар, лет под пятьдесят, невысокого роста, коренаст, узкоглаз, щечки как два румяных яблочка. Церемония встречи двух аэдов была величаво проста. Они обнялись, касаясь друг друга щеками и поглаживая друг другу плечи, придавая этому объятию важное значение в глазах присутствующих. Пригласили с десятков соселей-тавларов, киргизов, узбеков. Был среди гостей и инструктор райкома партии, – нельзя же такую встречу пускать на самотек, по его приказу привели из колхозного стада барана. Гости уселись,

поджав ноги, неполным кругом на паласе посреди дворика Гулаим, счастливой от посещения сказителя, от возможности, благодаря Государству, угостить соседей.

Где-то в дальнем, невидимом углу дворика разожгли огонь. Барана повели за поводок по кругу, вдоль глаз и ног гостей, и гости, по обычаю, не смотрели на него, один Мусаиб посмотрел. Баран был не очень упитанный, курчавый, его большие темные глаза стали задумчивыми, женственными, как у шакирда, изучающего богословие. Понимал ли он, что сейчас умрет, станет кушаньем, которое называлось бешбармак, "пять пальцев", ибо пятью пальцами черпали из миски это перемешанное с лапшой мясное варево, — пищу полукочевников, полуоседлых. И Мусаibu показалось, что он и его народ тоже предназначены для варева. Но разве нет разницы между человеком и бараном, между народом и отарой? Разве не выпрямил Аллах стан человека, не отличил его от животного, даровав ему чудо и счастье речи? Разве не сказал Аллах: "О вы, которые уверовали! Ешьте блага, которыми мы вас наделили!"

В этих краях водку называли "Белый мулла", здешние мусульмане ее пили, не таясь. Щечки-яблочки Соронбая еще больше раскраснелись от водки, он почувствовал в своем теле чудо речи, и гости поняли, что он это чудо почувствовал, поднесли ему комуз, он взял его в руки и запел. Сначала он воздавал хвалу Мусаibu, потом всем тавларам, пришедшим издалека, потом узбекам, давним соседям, потом киргизам-соплеменникам. На одно или два мгновения он остановился, обвел всех невидящим взглядом, и у всех замерли сердца. Лицо Соронбая преобразилось, стало властным, царственным. Он приступил к исполнению одного из эпизодов древней поэмы. Сам взволнованный ее содержанием, ощущая, как по его жилам пробегает нездешний огонь, он, сохраняя канву, часто сочинял новые строки. Первые стихи он произнес нераздельно, быстрым речитативом, и с мощной внезапностью перешел на мерную речь, запел, начиная каждую строчку с одного и того же ударного аллитерирующего звука. Он пел о величии и силе Китая, чье войско было гуще муравьев, в чьем войске были и меченосцы, и копыеносцы, и секироносцы, и кинжалорукые, и железноголовые с длинными косами, и полулюди-полутигры, и драконы, и оборотни, и колдуны, и такие широкозадые великаны, что сидели сразу на двух конях, скрепленных драгоценными седлами и сбруями. А за этим войском стоял весь многоплеменный, многобашенный, сорокадержавный Китай, чья казна была несметна, чьи дворцы сияли, как планеты, весь Китай, поклонявшийся золотым бурханам с сапфировыми глазами. Этот веропоганный Китай рассеял кочевников-киргизов, отобрал у них скот четырех родов, поселил на бестравных солончаках, превратил их, и детей их, и детей их детей в рабов. Но Манас и его кырк-чоро, сорок всадников, держа имя Аллаха на губах, отважно выступили против неисчислимого войска сорока ханств.

Когда слова собираются вместе так, что между ними волоска не просунешь, слова становятся стихом. Когда стихи собираются вместе так, что их не может разъять лезвие ножа, стихи становятся песней. Когда люди собираются вместе так, что превращаются в единое тело, а в теле

живет Бог, — люди становятся народом. Когда люди становятся народом, они обретают бессмертие. Потому-то Манас и его сорок всадников и победили неисчислимое вражеское войско: он, Манас, людей из разных семейств, рассеянных и отчужденных друг от друга, превратил в единое тело, в теле поселился Бог, и оно стало народом.

Вот Манас вступает в битву с китайским полководцем Ма-Ды, чьи толстые ноги в пестрых шароварах подобны двум слонам. Сказитель встает, опуская комуз на стол. Стихи, дотоле ограниченные приблизительно четырехстопным размером, растягиваются на длину копья. Уже не только горло Соронбая поет, — поют его узкие, как ножи, глаза, поют его руки, они обхватывают врага, валят его. Вместе с Соронбаем поднимаются с мест его слушатели. Покорясь его песне, они тоже участвуют в поединке.

Киргизский и тавларский языки настолько родственны, что Мусаиб понимал почти каждое слово. Вот, значит, где правда времени! Горсточка способна победить врагов, многочисленных, как песок, если эта горсточка — народ. Что из того, что в народе есть богатые и бедные, белая кость и черная кость? Народ есть единое тело, это понимает и советская власть, раз она угнала весь тавларский народ, и начальников, и рядовых колхозников, и людей с портфелями, говоривших свободно по-русски, и чабанов. Оказывается, пустые слова слагал Мусаиб, жалел бедных, хлестал богатых, но не в этом суть жизни, нет бедных и нет богатых, а есть народ: сын Бескрайнего Времени, народ старше, всегда старше, текущего времени.

Тавлары, восхищенные искусством Соронбая, хотели, чтобы и Мусаиб открыл всем киргизам и узбекам свой словесный дар. — Возьми в руки саз, — просили они, — спой "Песнь о вожде". Нет, лучше о харчевне!

О харчевне им спеть? Что этим чужим людям до таких мелких дел, давно забытых! О вожде им спеть? Но разве Сталин — вождь? Разве собрал он, как Манас, людей из разных народов и превратил их в единое тело? Наоборот, он без жалости отсекает части единого тела, не он истинный вождь, а этот киргизский всадник, чье имя — Манас, чье племя — Манас.

— У каждого соловья — своя песня, — сказал Мусаиб разочарованным почитателям, — у каждого ашуга — свой день для песни. Сегодня день нашего Соронбая.

На другое утро проводили с почетом киргизского сказителя. Он был навеселе, обнимал Гулаим, хвастливо, по-мальчишески, подмигивая собравшимся, как бы рассеивая легкомысленным поведением волшебное марево своего словесного величия, но не рассеивались, после отъезда Соронбая, тяжелые думы старого Мусаиба. За чужим деревянным плугом ходил он в молодости, чужие деревянные слова складывал в годы старости, чужую жизнь прожил он, чужой почет окружал его. Он трогал струны саза, не видя своего народа, зажмурив глаза. Напрасно, оказывается, прожита его долгая жизнь!



Не прикрыв, как всегда, круглое лицо краем платка, вошла в его крохотную, низенькую комнатку Гулаим и сказала с трепетом:

— К вам еще один гость, дядюшка Мусаим, знатный гость!

Так появился в киргизском городке Мурад Кучиев. Он остановился у Мусаиба. Военком города Фрунзе предписал ему жить в Канте, обещал помочь получить жилье, устроиться на работу. Городские подростки, юноши и девушки, толпились возле Мурада, всем хотелось увидеть героя Советского Союза — тавлара. Вечером пришли старшие: долговязый, постоянно чем-то озабоченный Акбашев, — борзая, потерявшая хозяйина, низкорослый, не унывающий Амирханов с блаженной улыбкой на лице, Темир, немногословный, подтянутый в своей чекистской форме, их жены и другие семьи тавларов. Амирханов, благодаря которому было раздобыто мясо, закуска, водка, по праву стал тамадой пира. Он ликовал: во всем Канте был только один депутат Верховного Совета СССР, только один герой советского союза, и оба они — тавлары, высланные, а тавлары, и не какие-нибудь, а из Кагарского района, где он был секретарем, воспитывал людей!

Это ликование придало Амирханову силы сообщить и тяжкие вести: погиб кузнец Исмаил, отец Мурада, упал в пропасть, когда людей погнали из Куруша, скончалась в дороге Айша, мать Мурада. В подробности Амирханов не вдавался: не мог же он сказать, что Айша находилась в скотском вагоне, что поезд шел в Казахстан более трех месяцев, что людей не кормили, что начались повальные болезни, а сам он, и Темир, и их семьи совершали свой изгнанныческий путь в купейном вагоне, а Мусаиб и Акбашев даже в мягком, и голода они не знали. Пал на фронте смертью храбрых и дядя Мурада, муж Фатимы. Тут Амирханов получил возможность перейти к менее горестным известиям: тетка Мурада и ее дети живы, их поселили в Казахстане, Фатима, по слухам, работает звеньевой в колхозе. И Темир обнадежил: можно будет договориться, с кем следует, дадут Мураду разрешение поехать в соседний Казахстан, свидеться с родственниками.

У Амирханова стало тепло на сердце, он разнежился, опять он тамада в своей тавларской компании, как будто ничего не изменилось, как будто они все у себя дома, на родине. Он с ликованием называл имена тавларских девочек, достигших в изгнании возраста невест, одну уподоблял дикой розе у обрыва, которую никто, кроме ветра и солнца, ни разу не тронул, находил не менее красноречивое сравнение для другой, родители этих девочек, здесь присутствовавшие, потупляли глаза, герой советского союза был завидным женихом, Амирханов и выгодное место для него нашел, вкусное место заместителя директора сахарного завода, — ни о чем не беспокойся, Мурад, договоримся в райкоме, тавлары нигде не пропадут.

Провозглашались тосты, много тостов, — водки было в изобилии. Мурад молчал, известие о смерти родителей вызывало слезы, но мужчина плакать нельзя, он подавлял слезы, и перед его глазами хромой отец сваливался в пропасть, Айша, с пересохшими от жажды губами, умирала в вагоне. Кто-то нерешительно и не очень связно произнес здравницу

в честь товарища Сталина, но люди на здравицу не отозвались, один лишь Мурад, ни с кем не чокаясь, осушил стакан и сказал:

– В чем мы, тавлары, провинились? Разве мы хуже других народов? Оклеветали нас. Напишем письмо товарищу Сталину. Откроем ему правду о нашем народе. Здесь знатные люди собрались, – председатель Совнаркома республики, секретарь Кагарского райкома, Темир, который и в Киргизии оказался нужным для органов, да и у меня есть такое звание, которое на земле не валяется, и другие подпишут письмо, все подпишут. Мы – дети Сталина, разве он оставит своих детей в беде?

– Все подпишем, – подтвердил захмелевший Акбашев, даже во хмелю удивляясь своей смелости, а Темир, который пил много и не пьянел, дал неожиданный совет:

– Пусть Мусаиб составит письмо в стихах. Вождь одобрит.

Эта мысль понравилась всем.

– Правильно, в стихах, – воскликнула Гулаим. – Все народы Сталину пишут письма в стихах. И вы напишите. Я уверена, дядюшка Мусаике сложит слова так, что сердце отца повернется к вам.

– Сталин по-тавларски не понимает, – протрезвел Акбашев. – Надо по-русски стихами изложить.

Амирханов был полон уверенности, – дело правое:

– Запишем слова Мусаиба, подстрочный перевод своими силами сделаем, пошлем на обработку Станиславу Бодорскому, может быть, он в Москве окажется. А нет, – отправим стихи по-тавларски, а подстрочный перевод приложим.

– Либретто надо сначала старику составить. Документ ответственный. Обдумаем его произведение, дополним, и все как один подпишем, – предложил осторожный, опытный Акбашев. Он распалился:

– Я первый подпишу, как бывший глава республиканского правительства. Вот мое верное слово. Честь и достоинство – превыше всего.

Амирханов возразил:

– Золотом режу твои слова. Либретто ни к чему. В таких делах старик умнее нас. Пусть сначала Мусаиб сложит песню, примем ее за основу, а потом скажем ему, что надо выбросить, а что – дополнить.

Так и порешили. На другое утро Мусаиб впервые за год изгнания взял в руки саз. Он обращался к Сталину, уже не любя его, но Восток давно был приучен, сам себя обманывая, восхвалять властителей в пышных одах, а здесь речь шла не о благе виршеплета, речь шла о судьбе народа. "Единое тело – народ", – нашел Мусаиб первую строку, – или навеяна она была сказителем древней поэмы? Далее он повествовал о том, как это единое тело раздирали в прошлом чужеземцы, рвали его на куски, как белый царь мучил тавларов, и, подобно раненому туру, умирал горец, окрашивая своей кровью камень, который служил ему ложем, но вот пришел Сталин, исцелил раненого тура, единым телом стали горцы, – зачем же теперь злые люди, с помощью клеветы и навета, подвергли мучениям не только тело, но и душу тавларского народа? А душа эта чистая, верная партии и родине, ни разу она не шаталась ни вправо, ни влево. Затем шли картины угона, гибели половины народа в

пути, перечислялись заслуги тавларов, довоенные имена героев колхозных полей, имена трех героев Советского Союза. Заканчивалось рифмованное письмо исторгнутым из сердца призывом: "О, Сталин, верни нам родную землю, верни нам наши горы и реки, верни нам наши очаги и могилы предков, твою любовь к нам, нашу любовь к тебе, верни нам, о Сталин!"

Тавлары плакали, не стыдясь. И Гулаим плакала. И Мурад плакал со всеми. И Темир был взволнован:

– Ни прибавить, ни убавить.

Амирханов покачал головой:

– Не годится выражение "Любовь к тебе нам верни". Мы не переставали любить Сталина. Пусть Мусаиб выправит. А в остальном – ни убавить, ни прибавить, как сказал Темир. Великие стихи сложил Мусаиб. Надо их записать. Мы все подпишем. Сталин любит Мусаиба. Хорошее дело для нашего народа сделал старик.

– Я не подпишу, – внятно выговорил Акбашев. Низкорослый Амирханов чуть ли не подпрыгнул до головы долговязого Акбашева:

– Чего ты боишься, чего ты осторожничаешь? Стихи марксистско-ленинские. Ты же дал слово, что подпишешь первым, как велят тебе честь и достоинство.

Акбашев, опустив длинную узкую голову, стоял на своем:

– Человек имеет право один раз в жизни нарушить свое слово.

Темира испугала трусость Акбашева. Действительно, кто знает, как посмотрят на тавларское письмо наверху. А ведь никто иной, как он, Темир, предложил, чтобы Мусаиб составил в стихах письмо Сталину. Однако мысль о письме подал не он, а Мурад Кучиев, все подтвердят. И Темир быстро сообразил:

– Переведем письмо, запишем по-русски, я покажу товарищам, посоветуемся.

– Ты сам и запиши, – рассердился Амирханов. – Твоя идея.

Запомнил, значит! Нет, он записывать не станет, доложит о факте Самаганову.

Его начальник Самаганов был всегда полупьян, всегда о чем-то бесвязно болтал, но всегда и все помнил. Говорил он, главным образом, о себе, о своих заслугах, о своих обидах, о своих зложелателях, позволял критиковать стоявших над ним, но слушателей при этом бросало в дрожь, – а вдруг Самаганов потом скажет, что это он, слушатель, клеветца, критиковал. И действительно, Самаганов каким-то необъяснимым ходом поворачивал от первого лица ко второму и уже запальчиво опровергал собеседника, уличая и обличая его.

Работникам кантских органов было известно, что жена Самаганова, крепенькая, кругленькая, румянькая, занимается, как они остро выражались, передовыми вопросами. Однажды Самаганов застучал ее среди бела дня на ковре с командировочным из Москвы, рядом на полу валялась его гимнастерка с ромбом в петлице. Жена, в комбинации до колен, растрепанная, воззвала: "Не трогай гостя, Касымкул, не трогай гостя!" Какая дура, разве тронешь такого гостя, с ромбом. Самаганов был

повышен в должности. Но с тех пор он с женой не спал, бил ее по ночам и грозил: "Пожалуешься, – всю твою родню сгною в лагере!"

Была Самаганову польза и от другого командировочного: он перенял у столичного приезжего привычку носить темные очки. И вот в таинственных темных очках, с жесткими волосами, которые кленовыми черными клиньями торчали на его голове, длиннорукий, кривоногий потомок всадников-кочевников, он предстал перед Темиром. Хотя рабочий день только начинался, Касымкул успел уже принять сто или все двести. Выслушав сообщение Темира, он своими кривыми ногами, в охотничьем волнении, забегал по комнате, сердито разорвал какую-то бумагу и бросил обрывки в корзину, закурил папиросу "Боомское ущелье", и непослушным языком стал что-то плести о своем фрунзенском начальнике, о кознях и глупости этого выскочки, который только тем и держится, что его родственник – член бюро ЦК республики, и о зорком, неподкупном уме его, Самаганова, и неожиданно сам себя прервал распоряжением:

– Бери Мусаиба Кагарского. Выпишем ордер.

Темир опешил, напомнил:

– Старик не нашей номенклатуры. Он депутат Верховного Совета СССР. Надо связаться с наркомом.

– Хрен с ним, с вашим вонючим поэтом. Возьмешь Мурада Кучиева.

– Героя советского союза?

– Слушай, Темир, я тебя считал честным чекистом, а выходит, что для тебя местнические тавларские интересы выше интересов родины. Не нравится мне это. Чекист знает: у нас любой становится героем и любого мы берем.

– Может быть, другому поручишь? Я все-таки тавлар. У нас, как и у вас, есть еще пережитки.

– Ладно, останешься здесь.

Мурада привели через полчаса. Он был без ремня. В его голубых глазах дрожали ужас и гнев. Увидев Темира, он немного успокоился, горячо заговорил с ним по-тавларски. Самаганов приказал по-русски:

– Заткнись. Мы люди занятые. Расскажи, кто тебя научил заниматься антисоветской агитацией, писать письма во вред государству.

– Письмо Сталину – антисоветская агитация? Сын суки, пока ты здесь в тылу жрал бешбармак и пил водку, я за тебя, внук потаскухи и ублюдка, воевал, защищал тебя, ногу мне из-за тебя, вора, покалечили.

И Мурад со всей оскорбленной, обезумевшей силой опустил тяжелый кулак на стекло письменного стола. Стекло разбилось, рука окровавилась. Самаганов ударил его в пах. Мурад упал. Придя в себя, сказал, задыхаясь, по-тавларски:

– Темир, мы одной крови. Расскажи ему, как было на самом деле. Мы хорошее задумали, ты и я, мы Сталину решили написать правду о нашем бедном народе.

– Не смей произносить имя вождя, предатель! – крикнул Самаганов.

– Темир, он что, и тебя втягивает в дело?

Темир разозлился, сначала на себя, потом на Мурада, поднял Мурада, и тот посмотрел на него с такой болью, с таким древним, прародительским укором, что Темир озлобился еще больше, вырвал из гимнастерки Мурада звезду героя и орден Ленина.

Вдвоем с Самагановым они еще долго били Мурада, сломали ему больную ногу. Мурада поместили в тюремный госпиталь во Фрунзе. Через месяц, когда нога кое-как поправилась, состоялся суд. Мурада судили по тяжелой статье, — групповые контрреволюционные действия. Учитывая военные заслуги преступника, ему дали только восемь лет. Он был отправлен в концлагерь, добывать в Норильске никель.

## Глава девятая

Киргизы раньше назывались кара-киргизами, то есть черными или каменными киргизами, так как жили в горах, а степных казахов называли киргиз-кайсаками, то есть вольными киргизами. Очень близкие по языку, казахи и киргизы произросли от разных тюркских корней. Киргизы пришли в Туркестан, в Семиречье, с берегов Енисея, где поныне живут созвучные им по наименованию хакасы, а казахи возникли, когда племя кыпчаков двинулось в далекие степи после распада Золотой Орды, и смешались с населением Семиречья, говорившим по-тюркски. Образовался большой племенной союз, он разбил свои юрты от Сибири до Каспия. Богоподобная царица киргиз-кайсацкой орды, — вряд ли Фелица знала, каковы земли этих самых киргиз-кайсаков. Но то, чего не знала Екатерина вторая, хорошо узнали тавлары. Их привезли в скотских вагонах в конце марта. Половина народа погибла в пути. Другая половина состояла, за ничтожным исключением, из больных, истощенных голодом стариков, детей, женщин, подростков, инвалидов войны. Потом прибыли полноценные мужчины, бывшие солдаты и офицеры, которых отправили сюда из действующей армии.

Это была лучшая пора пустыни. Много лет спустя Алим Сафаров вспоминал на бумаге, — или выписал из книги?

”В предгорьях таяли снега, и к застывшему красно-желтому морю сыпучих песков сбегала мутная, буро-зеленая вода, наполняя такыры — впадины с глиняной поверхностью. Ярко и мягко зеленели солончаки. Когда-то именно в эту пору кочевники-казахи перегоняли сюда свой стада, чтобы накормить их жирной, свежей травой. Надо было торопиться, — в мае трава выгорит, зеленые солончаки, чем ближе к осени, станут постепенно розовыми, потом кроваво-красными. Но пустыня не умирает. Она только живет отдельной от людей жизнью. Не дают тени мясистые, жесткие, колючие кустарники с серо-меловыми, узкими, как чешуя, листьями. Заметив человека, тонкопалый суслик на дне глубокой котловины быстро прячется в норку. Только семена хазар-аспана связаны с живыми существами: путники собирают эти семена, чтобы ими окуливать от дурного глаза новорожденных детенышей человека и домашних животных, а дымом этих семян одуряют себя мусульманские юродивые — диванá.

Редко-редко выпадает дождь, и земля так отвыкает от него, что пьет его скучно, без жадности. Днем при бесконечном безоблачном небе нельзя определить положение солнца, и даже самый яркий день кажется темно-серой лунной ночью. Гребни сыпучих холмов как бы дымятся, — это струи песка вздымаются ветром пустыни. Верблюды, лошади, люди каравана вязнут в песке, песок набивается в уши, в глаза, между зубами, жгучую боль всему телу причиняют летящие на ветру песчинки. Ближайшие песчаные холмы так неясно очерчены в густом тумане, что кажутся маревом. Вечером ветер замолкает. Луна высвечивает растения —

тамариск, саксаул, польнь. Обозначаются солонцы. Где-то вдалеке мерещатся горы, на чьих вершинах – гранит и сапфир. Еще дальше течет река, она слышна, но заросли огромных камышей делают незаметной черту, отделяющую сушу от воды. А вблизи воды нет. Веками этой земли не касались ни плуг, ни соха, ни мотыга”.

Не тавларам, однако, выпало на долю первыми облагородить эту землю. Когда их выбросили из скотских вагонов, здесь уже были дома, и поля, и каналы, по которым бежала вода из далекой мутной реки. Великий восточный мудрец Зардушт считал важнейшим долгом человека, угодным Богу, превратить пустыню в пашню. Но не дети Востока выполнили здесь завет Заратустры, а саратовские, пензенские, самарские мужики, высланные сюда как раскулаченные. Их вывезли в таких же скотских вагонах и выбросили на бестравную, безводную, безлюдную землю. Кто сейчас сосчитает, какая часть этих людей выжила? Те, кто выжил, работали в зной и лютый холод. Их ослабевшие от недоедания, но умелые руки исправных крестьян пахали землю, возводили глиняные дома, – природная смекалка помогла высланным, привыкшим к дереву, приспособиться к глине, – рыли канавы и могилы, могилы, могилы. Первых русских крестьян объединили в казахстанской пустыне в колхоз имени Меча Революции. Сельсовета не было, вместо него действовала комендатура, и только с позволения коменданта строителю колхозной жизни разрешалось, по рабочей надобности, покинуть Меч Революции на сутки или даже на двое суток. Тех, кто это делал без разрешения, комендант и его холуи били смертным боем и отправляли в концлагерь.

Во время войны, когда идея коммунизма оказалась бессильной для того, чтобы люди шли на смерть за родину, за Сталина, и для этого Сталину понадобилась идея России, участь русских спецпереселенцев смягчилась, годных к военной службе стали брать в армию, уже поговаривали о том, что позволят после победы вернуться домой, в Россию, ощущимо ослабла всеобъемлющая власть коменданта, легче было теперь съездить в районный или даже областной центр, как-то неторопливо забывалось, что они – раскулаченные, они теперь считались русскими на казахской земле, их дочерей, которые поспособней, допускали на курсы медсестер, в педагогические училища, в институты. К концу войны семьи фронтовиков выехали в Россию, хотя их предупредили, что там жизнь поголодней. В нескольких освободившихся домах поместили тавларов.

Комендантом Меча Революции был Вадим Терентьевич Кобенков. Он казался выше ростом из-за копны темно-рыжих волос, узкая прямоугольная полоска лба отделяла на его квадратной голове эту копну от таких же темно-рыжих бровей, в маленьких глазах быстро происходила смена выражений, – от наглости до пугливости, и носик у него был маленький, в центре квадрата, большая, почти всегда небритая челюсть выдавалась далеко вперед. Трудовую деятельность Кобенков начал в качестве затейника в парке культуры и отдыха в городе Акмолинске. На своей непростой работе он надорвал горло, и с тех пор говорил

хриплым, свистящим шепотом, достаточно, однако, хорошо слышным и посетителям парка, и тем, кому он доносил о поведении и разговорах посетителей. Видимо, доносил он толково, потому что его сделали директором дома отдыха работников просвещения. Только половина фондовых продуктов достигала отдыхающих, которые называли продукты крадуктами, другую половину Кобенков делил с бухгалтершей и завгаром, который сбывал продукты сложным путем, через продавцов магазинов. Сослуживцы знали, что Кобенков живет с бухгалтершей, позднее всех, как водится, узнала его жена, она всплыла, и, не подумав о будущем, донесла на него, и за воровские махинации Кобенкова отправили в пустынную глушь, назначили комендантом спецпереселенцев, и жене с детьми пришлось вместе с ним покинуть городскую жизнь.

Нельзя сказать, что к мужикам Кобенков относился особенно плохо. Заставлял их, конечно, работать на себя, кормить и холить личных свиней, доить двух коров, не трогал баб и девок, даже тех, которые были у него всегда перед глазами, нянькали его детишек, стирали белье. А вот кого он ненавидел всей сутью, так это ленинградцев, высланных сюда после убийства Кирова, большей частью петербургских немцев, но были среди них и русские, и евреи. Впрочем, одного из них, Николая Леопольдовича Гензельта, он сделал секретарем комендатуры: иметь секретаршу запрещала жена. Если бы она знала, где таится опасность!

Кобенков мечтал вырваться из этого аила в пустынной глуши, опять зажить культурной городской жизнью. Он изо всех сил старался, чтобы колхоз выполнил и перевыполнил план, но, крайне бестолковый, только мешал председателю колхоза, который, будучи сам из раскулаченных, дорос до своей должности благодаря природному уму, опыту земледельца, благодаря войне, изменившей к лучшему положение русских спецпереселенцев в нерусской республике, благодаря своей недавней партийности. Как и председатель колхоза, Кобенков вставал чуть свет, сам гнал ленинградских очкариков на работу, приказывая своим свистящим, хриплым шепотом: "И три-четыре становись, висторину мне не устраивать! Эй, Вагон, Взопрей, Вареник, все ко мне!" – переиначивал он фамилии инженера Вагенау, историка медицины доктора Зоргенфрея, настройщика роялей Варнеке, переиначивал не насмешки ради, а просто так было легче его языку и большой гортани.

Когда в аилы стали выбрасывать и подбрасывать тавларов, начальник районного НКВД вызвал к себе комендантов четырех соседних колхозов (а расстояния между колхозами достигали пятидесяти и даже семидесяти километров): имени Меча Революции, имени 15-летия Рабоче-Крестьянской милиции, имени Дзержинского и имени Павлика Морозова. Указания начальника были противоречивые. С одной стороны – строжайшая дисциплина без ротозейства и чистоплюйства, большевистская бдительность, всемерное обособление казахов от тавларов, родственных по языку, происхождению и религии, с другой – постоянно помнить о том, что тавлары – не законопослушные русские крестьяне, а разбойники, им ничего не стоит зарезать нашего человека. Разбойника, конечно, расстреляют, а нашего к жизни не вернешь. Лучше всего опираться на женщин. В общем, нагнал на комендантов страху.



Тавларов разместили по колхозам так, чтобы всюду они составляли не более пяти-шести процентов населения. По-марксистски предвидели, что, во время выборов, тавлары вычеркнут из списка единственного кандидата. Что же, не беда: если учесть их многодетность, количество подростков, то окажется, что не больше одного процента имеющих право голоса голосовало против. Цифра общесоюзная. Не предвидели только такую мелочь: случилось, что комендант был беспартийный, и он не мог участвовать в важных собраниях своих подневольных. Но и с этой трудностью власть как-то справлялась, на то она и власть.

Кобенков назначил бригадирами и звеньевыми только женщин. Он учитывал должность, занимаемую на родине до высылки, и так Фатима Сафарова, работавшая у себя председателем колхоза, здесь стала звеньевой. Амирханов не совсем точно обрисовал Мураду Кучиеву состояние семьи его тетки. Мужа Фатима потеряла на фронте, а трех маленьких детей – в долгом пути во время утона, в живых остался один Алим.

С детьми тавларов тоже получилась викторина, как говорил бывший затейник. Они привыкли учиться по-тавларски, но был приказ: изъять все учебники на тавларском языке, за сокрытие любой тавларской книги, даже букваря, – год тюремного заключения для взрослых. Вместе с тем, чтобы не вызвать ожесточения разбойного народа, преподавателем в школе по всем почти предметам Кобенков назначил высланного тавлара Берда Отарова, кандидата филологических наук. Берд Измайллович был человек смиренный, недалекий, по любому поводу смугло красневший. Научную карьеру он сделал благодаря жене, свояченице бывшего секретаря Гушано-Тавларского обкома Девяткина. Интеллигенция республики считала, что именно карьеры ради хитрый Берд Отаров женился на некрасивой, безгрудой, ширококостной, злоязычной свояченице первого секретаря обкома, но это было не так. Галина Петровна, учительствовавшая в свое время в одной школе с Бердом Отаровым, женила на себе робкого, безвольного тавлара. Среди его бесчисленных родственников многие часто умирали, устраивались в разных аулах долгие поминки, Берд Измайллович внезапно покидал семью и школу, и когда он, полный раскаяния, возвращался с поминок домой, жена кричала на весь дом, что он пьяница, что он не знает знаков препинания, что это она помогла ему диссертацию написать. Вряд ли такого рода утверждения целиком противоречило истине. Галина Петровна действительно неплохо знала знаки препинания, окончила Пятигорский пединститут, свояченица Девяткина в республике кое-что значила. Но вот что отметим: эта малообразованная, бессмысленно злая женщина могла бы, как русская, остаться в Гугирде, а все же отправилась в изгнание вслед за мужем и детьми-метисами.

Кобенков, ознакомившись с анкетными данными Галины Петровны, дал указание директору школы, Абдильде Хасенхановичу, чтобы тот назначил Галину Петровну классной руководительницей. Однажды она вошла в класс, когда ее супруг, Берд Измайллович, вел урок по геометрии: филолог и этим вынужден был заниматься. Стоявший у доски мальчик, по требованию преподавателя, начертил мелом на доске круг, и

такой правильный круг, как будто циркулем вывел его, и Берд Измайлович восхитился: — Молодец, Алим, вот что значит художник!

И тут Галина Петровна, та самая Галина Петровна, которая добровольно, благородно отправилась за мужем в изгнание, неожиданно крикнула: — Тавларские ишаки, один другого хвалите, привычка нацменская! — и стала распекать класс за неряшливость, рваную одежду, за то, что ученики редко моются, запах от них, как будто не знала, отчего все это происходит, и покинула, негодуя, класс.

Выходка Галины Петровны имела свою причину. В колхозе имени Меча Революции, как всюду в стране, шла жизнь. Голодная, жалкая, без надежд, а шла. И были не только голод, подневольный труд, нищета, горе изгнания, были и сплетни. Роились они вокруг Заремы Отаровой, вдовы погибшего на фронте родственника Берды Измайловича. Зарема была актрисой, незадолго до войны окончила в Москве театральный институт, в выпускном спектакле она сыграла благочестивую Марту так, что несравненный Леонидов воскликнул: "С каким изяществом эта кавказская дикарка вошла в роль благородной испанской дамы!" Она и в жизни была изящна, грациозна, нежен был тон ее лица и шеи, гушанотавларские зрители успели ее полюбить. Она и по-русски играла. Во время угона пробежал по составу слух, что ради куска хлеба она спит с конвойными (произносилось именно множественное число). В колхозе она кружила головы мальчикам, ставшим в изгнании юношами. Джемалдин Аталыков, высокий, тоненький, с жаркими разбойными глазами, тракторист и первый плясун, считался ее женихом. Ни у него, ни у нее не было пока постоянного жилья, и только это мешало им жить вместе. Но Кобенков обещал, что даст комнату. Берд Измайлович не одобрял этого брака, уж слишком юн был будущий супруг бывшей актрисы, и на правах старшего родственника он подолгу беседовал с Заремой, наставлял ее на путь истинный. Эти беседы вызывали ревность Галины Петровны. Не себе ли в жены готовит ее этот безвольный Берд? От тавларов жди всякой мерзости.

Зарема Отарова в колхозе не работала, а трудодни, между тем, на нее записывались. Она числилась кем-то в клубе, который давно не действовал, был закрыт, ключом владел Кобенков, и комендант, встававший до зари, отпирает клуб и впускал Зарему. На любовь отводилось не более получаса: Кобенкова звала колхозная работа. Никто ни разу их не застиг, но привилегированное положение Заремы могло иметь только одно объяснение: ей покровительствовал Кобенков, и не за красивые глаза, хотя глаза у нее были красивые, с косинкой. Галина Петровна, встретив Джемалдина Аталыкова, который в прошлом году еще был ее учеником, с радостью сообщила ему слух о Зареме. С той же злой радостью она сказала мужу:

— Твоя родственница-шлюха спит с Кобенковым.

Как всегда при волнении, Берд Измайлович смугло покраснел, тихо упрекнул жену:

— Зачем сплетни повторяешь. Она не шлюха. Безалаберная. Работу ей надо подыскать.

Галина Петровна взвизгнула:

– Ревнуешь? Сам с ней спишь. Половина тавларских ишаков с ней спит!

Вечером Берд Измайлов побрел искать Зарему, решил с ней поговорить. Оказалось, ее избил разъяренный Джемалдин. На другое утро Зарема не явилась в клуб на свидание с Кобенковым. Старый партиец, тавлар, служивший Кобенкову информатором, доложил ему о случившемся, – как докладывал о всех пустяковых и непустяковых делах в Мече Революции. Информатор добавил, что Джемалдин Аталыков не из тех, которые забыли о горском законе кровной мести. Кобенков испугался, начал размышлять.

Опять настал вечер, Берд Измайлович поздно вернулся из школы, было партийное собрание. Галина Петровна почему-то поспешила уйти с собрания без мужа, и соседи слышали: Галина Петровна не выпускает мужа в дом. Он до рассвета стучал в узкую дверь глиняной кибитки. "Галя, Галя", – умолял он, но дверь не открывалась. Под утро соседи ждали над учителем, позвали его обогреться, напоили чаем.

А все это произошло после беседы Галины Петровны с комендантом. Кобенков вызвал ее к себе, когда секретаря, Николая Леопольдовича, не было в предбаннике конторы. Он усадил учительницу против себя, придвинул к ней стул, сел и погладил ее по костлявому колену. Галина Петровна поднялась, оскробленная.

– Садись, садись, – беззлобно и хрипло сказал Кобенков. – Нужна ты мне. Пожалел я тебя, вижу – внешних данных у тебя нет. Потому и за тавлара вышла, что внешних данных нет.

– Кто вам позволил вмешиваться...

– Кто надо, тот и позволил. Войди обратно в игру. Хочу тебя назначить директором школы. Справишься? Смотри мне в глаза.

– А как же Абдильда Хасенханович?

– Не нужна мне никакая Абдильда. Уволим его с повышением, в райцентр поедет. Не годится Абдильда: директор – казах, ученики – тавлары, не совпадает. Остановил выбор на тебе. Только условие: прогони своего чучмека. Крепко ты его при всем классе поправила. Сама подумай: русская женщина, директор школы, воспитательница поколения, а муж – спецпереселенец, вшивый тавлар. Не совпадает. Не та пара.

– Он отец моих детей.

– Других народов нет. Может, на тебя польстится русский человек. Или здешний немец. Хочешь моего секретаря Гензельта. Вдовый старик. Подумай. Дом Абдильды тебе передадим, кулаки строили, добротню строили, жалование в два раза больше, а главное – улучшенное снабжение. Не дури, соглашайся. Тем более, – в глазах Кобенкова зажглось озарение, – что твой Берд с Заремой Отаровой спит, мне докладывали. Если жизнь твоя только лишь пьеса, кто сыграет в ней главную роль?

Хитрый Кобенков. В сущности, обыкновенный Кобенков. Любой советский человек, судьбой обреченный занять комендантское место Кобенкова, действовал бы, возможно, не менее, а порой и более грязно и жестоко. Есть такое выражение: "Не худшее из отребьев человечества". К ним принадлежит и Кобенков. О, как страшны отребья человечества!

Не звери, не палачи, а отребья: их больше, они обыкновенны, они извечны.

И вот Кобенков сидит в комендатуре с женщиной, и она ужасается. Значит, правда? Берд и Зарема? Все знают! И она согласна. Она разведется с мужем. – Ради моих мальчиков, – объяснит она сослуживцам. – Вырастут без дурного буржуазно-националистического влияния отца. Мою фамилию возьмут, получают русские паспорта.

– Почему же ты не осталась в своем Гугирде? – спросят сослуживцы, и Галина Петровна, не кривя душой, ответит:

– Не хотела расстаться с детьми.

Став директором школы, она переехала вскоре с детьми в освободившийся просторный дом Абадильды Хасенхановича, милостиво, с разрешения Кобенкова, оставив бывшему мужу глиняную жалкую мазанку. Берд Измайлович запил. Самогон доставал его обычный собутыльник – Николай Леопольдович Гензельт, секретарь коменданта. Берд Измайлович благоговел перед Николаем Леопольдовичем, в прошлом – известным тюркологом, профессором Ленинградского университета, автором замечательных, оригинальных трудов, которыми, надо сказать, весьма бесцеремонно воспользовался Берд Измайлович, когда составлял свою диссертацию.

За всю жизнь у Николая Леопольдовича сменилось три дома. Первый дом – аптека его отца на Петроградской стороне, второй дом – на улице Зеленина большая квартира, с женой, тоже немкой, с ее тремя кошками, с огромной библиотекой, а третий дом – глиняная мазанка в казахской степи, где мало что сохранилось от любимых книг, где не было ни трех кошек, ни жены, умершей в насильственном пути. Он удивлялся тому, что Кобенков сделал его своим секретарем, он не понимал, чем он понравился коменданту, разве что своей нескладной фигурой. Может быть, так было на самом деле. Пристрастия комендантов необъяснимы. Берд Измайлович был для Гензельта не только собеседником, но и предметом изучения: тавларами тюрколог раньше не занимался.

Фатима Сафарова жалела учителя, да и его друг мог пригодиться, она посылала с Алимом обоим то лепешку, то чудом (и неправдой) раздобытый кусок вяленой баранины. Алим оставался подолгу в нищей мазанке у двух собутыльников. Галина Петровна не выделила мужу ни одной тарелки, только керосинку, чайник, нож, две двупалых вилки, две чашки с отбитыми ручками, два табурета, тумбочку, служившую столом. Хлебнув из чашки самогону, Берд Измайлович начинал плакать: "Почему Галя меня бросила, ведь я так любил ее, и она меня любила, поехала за мной, а могла остаться в Гугирде. Детей вижу только в школе, и они на меня смотрят, как на чужого".

Николай Леопольдович, как бы состоявший из одних углов, – у него справа был небольшой горб, – не утешал Берда Измайловича, пил и говорил, говорил. Вынужденный рабски молчать в конторе Кобенкова, он давал себе волю, обретя собеседника, если не равного себе, то, по крайней мере, такого, который мог его понять, вставить – и к месту – словечко-другое в длинные речи Николая Леопольдовича, напоенные

восторгом по отношению к существу его ученности — к тюркам. Алим слушал его с восхищением. Он понял, что Берд Измайлович, его учитель, знает мало, а Николай Леопольдович знает много. Наблюдение Алима было правильным. Николай Леопольдович принадлежал к востоковедам старого закала, то есть совмещал в себе и лингвиста, и историка, и географа, и социолога, и литературоведа, и знатока мусульманского богословия. Он говорил, держа в худой остроугольной руке чашку с самогоном, но упиваясь не хмелем, а собственными словами:

— Ученые установили... Вернее сказать, я установил: там, где тюркский язык сталкивается с другим, всегда побеждает тюркский. Почти всегда. Мой учитель Александр Александрович Семенов, окончив в прошлом веке лазаревский институт, был направлен в Ташкент в качестве чиновника-драгомана при губернаторе. Это было вскоре после завоеваний Кауфмана, Черняева, Скобелева. И что же? Тюркский язык Семенова оказался в Ташкенте непригодным: жители говорили на фарси. Но за каких-нибудь два-три десятилетия горожане-таджики обузбечились. Есть одно исключение: тюркское племя болгар двинулось на Балканы, завоевало местных славян, дало им свое название, но приняло язык покоренных. Дорогой Берд Измайлович, знаете ли вы, что сказал Кемаль-паша о словаре Эдуарда Карловича Пекарского?

— Зачем при мальчике о Кемаль-паше? Пантюркизм получается.

— Причем тут пантюркизм? С Кемалем сам Ленин установил дружеские отношения. Кстати, вы помните телеграмму Ленина в Реввоенсовет Кавказского фронта, посланную в 1920 году? Звучит она, если память мне не изменяет, так: "Еще раз прошу действовать осторожно и обязательно проявлять максимум доброжелательности к мусульманам. Всячески демонстрировать и притом самым торжественным образом симпатии к мусульманам, их автономию, независимость и прочее". Вот и продемонстрировали. Автономию, симпатию и прочее. Притом самым торжественным образом. Но вернемся к Пекарскому. В прошлом веке он был сослан, за революционную деятельность, в места не столь отдаленные. В царской ссылке над ним не было Кобенкова, и он неторопливо составлял словарь тюркских языков, от якутского и хакасского до языков крымских татар и османских турок. И Кемаль-паша говорил своим приближенным, указывая на этот уникальный словарь: "Вот самое сильное наше оружие!"

— Не надо, Николай Леопольдович, — взмолился Берд Измайлович, — вы же взрослый человек, а мальчик может вас неправильно понять.

Но мальчик понял правильно. Он спросил по-отрочески требовательно, по-горски страстно:

— Если нас так много, почему же наши братья за нас не заступятся?

— Вот видите, — сказал укоризненно Берд Измайлович, смугло покрасневший от самогона. Николай Леопольдович потянулся к чашке. Грязная лампочка в шестнадцать свечей освещала сверху небритое, но все еще детское лицо петербургского немца, увеличивала тень его горба на потрескавшейся стене. Отпив из чашки и не закусывая, он, заразившись от Берда Измайловича страхом, ответил невпопад:

– Тебе, Алим, надо учиться живописи. В Акмолинске есть художественная школа. Я попрошу Кобенкова, чтобы он разрешил тебе переехать в Акмолинск.

– Не разрешит, – сказал Берд Измайлович.

– Не разрешит, – согласился Николай Леопольдович. – Нужен ходатай посильнее меня. Скажем, союз художников Казахстана. Или Акмолинский обком партии. На худой конец – райком. Но все это отпадает. Может быть, воспользоваться тем, что выборы не объявляются, Мусаиб Кагарский пока еще депутат Верховного Совета СССР. У него, как положено, должен быть соответствующий бланк, пусть подпишет письмо к Кобенкову, а составить письмо ему помогут.

– Не разрешит, – пьяно повторил Берд Измайлович.

Алиму так хотелось учиться живописи! Он вспомнил взволновано:

– В Кагаре наш дом стоял недалеко от дома Мусаиба. Я приходил к нашему великому поэту, он любил, чтобы я читал по книге его стихи, сам он книгу только в руках держал, прочесть не умел, я помогал его хозяйке, подметал террасу. У Мусаиба жил его переводчик, московский писатель Станислав Бодорский. Он разговаривал со мною, спрашивал разные тавларские слова.

Николай Леопольдович задумался, посоветовал:

– Напиши письмо Бодорскому. Мне говорили, что он человек порядочный, пишет стихи не для печати. Гушановеды уважают его за перевод народных сказаний.

– Как найду его адрес?

– Напиши в союз писателей, ему перешлют.

На другой день, вернувшись из школы, где ученики не занимались, ремонтировали к весне коровник, Алим написал письмо:

”Наш дорогой Станислав Юрьевич, помните ли вы меня? Я Алим Сафаров, сосед Мусаиба, приходил к вам со своими портретами. Вы мне говорили, что не надо копии делать с плохих оригиналов, а рисовать то, что видишь вокруг. Вы еще говорили, что линия должна быть продолжением руки художника, а кисть – ударять краской полотно так, как ударяет сердце. Это я вам пишу для того, чтобы вы меня вспомнили. Мы теперь спецпереселенцы, гор своих не видим, живем в Казахстане, в колхозе имени Меча Революции. Я очень хочу учиться на художника, в областном центре, в городе Акмолинске, есть художественная школа, но мне не разрешают выехать за пределы колхоза. Помогите мне, наш Станислав Юрьевич, если сами не напишете, то, наверно, у вас в Москве есть знакомые – большие люди, пусть кто-нибудь похлопочет за меня, а просьбу надо послать на имя коменданта Вадима Терентьевича Кобенкова. Извините меня за это письмо, но кого, кроме вас, я могу попросить? А вы так любили наш несчастный народ, перевели на русский язык произведения Мусаиба Кагарского. В нашем народе все вас уважают. Помогите мне и не очень сердитесь на меня. ”Тому, кто просит, тяжелее, чем тому, кого просят”, – говорят тавлары.

Ученик шестого класса неполной средней школы колхоза имени Меча революции Алим Сафаров”.

– Не ответит, – сказал Берд Измайлович, прочтя письмо Алима. Но ответ пришел, – правда, через три месяца, ранним летом, когда уже погас огонь войны на западе и отгорала трава в казахской степи:

”Милый Алим, ты хорошо сделал, что написал мне. Конечно, я тебя помню и никого из ваших не забываю. Тебе действительно надо учиться, мне кажется, что у тебя есть способности, но ничем не могу тебя утешить. Единственный большой человек, с которым я в Москве знаком, – Фадеев, руководитель союза писателей. Я к нему записался на прием, показал твое письмо. Он сказал, что помочь не может. Я постараюсь найти другого заступника, но честно тебе говорю, что надежд у меня мало. Посылаю тебе краски и репродукции картин Сезанна. Напиши мне, подтверди, что посылка до тебя дошла. Передай привет своей маме и поцелуй за меня братишек и сестренку. Твой друг Станислав Бодорский”.

У Алима было двое братишек и одна сестренка, московский поэт забыл об этом, не знал он и того, что сестренка и братишки умерли в пути, но не в этом была суть письма. Суть письма была в ином. Все тавлары в колхозе читали и перечитывали письмо Бодорского. Уже им было не важно то, что к Алиму не пришла помощь, – не слова были важны, а дыхание слов. Русский человек ответил изгнанному тавлару, от души ответил, как заповедал Аллах отвечать тем, кто находится под гневом. Дурные люди разъединяют то, что Аллах велел соединять, но пройдет время, и дурные окажутся в убытке, а чистые обретут прибыль.

## Глава десятая

Посылку Алим не получил. Марина Зоргенфрей, жена историка медицины, работавшая в звене Фатимы, а по выходным дням выполнявшая обязанности прислуги в доме Кобенкова, видела валявшиеся в комнате детей репродукции картин Сезанна, дети Кобенкова вымазали себе руки и лица красками. Каким-то особенным холодом веяло время, и Алим постепенно охладевал к живописи. Он завел тетрадку, в которой записывал случаи из колхозной жизни, события из жизни природы, свои размышления. То были непростые размышления. Вот он спецпереселенец, потому что родился от матери-тавларки и от отца-тавлара. То, что его отец погиб на фронте, не было случайностью, в этом был смысл, но ведь его отец мог быть, скажем, грузином, а мать, скажем, гушанкой, и при такой случайности Алим остался бы на родине. Значит, его народ есть его вина. И вина немцев, высланных из Ленинграда еще до войны с немцами, есть их народ. С ними вместе высланы и русские, и евреи, но у них другая вина, они враждебны пролетариату. Им лучше. Они могут повиниться, они могут дождаться счастливого дня, как дождались саратовские, пензенские, самарские, и перестанут быть виновными. А он виноват навсегда, потому что он тавлар. У Сарият Бабраковой родился в скотском вагоне мальчик, и он родился виноватым. Ему еще пуповину не перерезали, а он уже был виноват перед родиной, перед партией, перед Сталиным, перед всем советским народом, потому что на крохотном тельце есть незримое тавро: тавлар. Одни народы, и среди них – соседи тавларов, виновны, другие – не виновны. Но, может быть, невинные сегодня будут виновны завтра? Как уйти от вины, если твоя вина – твой народ? Здесь, в Мече Революции, есть беременные тавларки. Их дети еще на свет не родились, но зародыши уже виновны, потому что виновен народ. Но что такое народ? Как часть людей, отделенная от другой части, становится народом? Как народом стали тавлары?

Может быть, Алим не умел задавать вопросы так, как нужно, но и Николай Леопольдович не всегда отвечал так, как того хотела душа Алима. И все же кое-что Алим от него узнал и записал в своей тетради, – сведения необычные и общеизвестные были для него одинаково новы.

### Из тетради ученика шестого класса неполной средней школы Алима Сафарова

В этой степи когда-то кочевало скифское племя саков. Саки разводили лошадей и овец. Кочевали так: мужчины верхом на лошадях, женщины и дети в повозках. Повозки везли быки и лошади. На головах у саков были остроконечные шапки из плотного войлока, стоящие прямо. Женщины саков и их соседей массагетов воевали наравне с



мужчинами. Главным божеством саков и их соседей массагетов была мать-земля, они изображали свою богиню в венце из ста звезд и в одежде из тридцати шкур выдры. Персидский царь Куруш, тот самый, в честь которого назван наш высокогорный аул, вознамерился их покорить, но саки и массагеты разбили его войско, и царь Куруш погиб в бою с кочевниками. Царица массагетов Тамарис наполнила кровью кожаный мешок и, опустив в него голову Куруша, сказала: "Ты жаждал крови, пей же ее".

Часть саков двинулась на Кавказ. Эти саки стали одними из предков наших ближайших соседей – гушанов. Другая часть осталась в нынешних казахских степях. Волны новых племен, набегаая на степи, поглощали саков. Эти племена говорили по-тюркски. Самые древние из них – усунь и канглы. Хан племени канглы имел письменный кодекс и хранил его в своей ставке. Потом новые тюркские племена хлынули с Алтая. В короткий срок они подчинили себе пространства от Тихого океана до Черного моря, смешиваясь с людьми, населявшими эти земли. Знать у них называлась костью тенгри. Тенгри означает "небо" и "Бог". Во главе тюрков стоял каган. От этого слова произошло всем известное "хан". Приближенные кагана заплетали свои волосы в косы, а у кагана волосы были распущены, голова его была обернута кусками шелка. Николай Леопольдович рассказывал: "Утонченный знаток Махаяны, отрицавший Бога-творца и понявший мир как всеобщую пустоту, монах, врач и поэт-скиталец Сюань-Цзянь посетил большую юрту повелителя тюрков и подробно описал ставку кагана:

"В юрте было много вельмож. Они сидели, одетые в шелка, в два ряда на кошмах. За ними стояли телохранители кагана. Выделялись послы из Китая и Уйгуристана. При кагане были переводчики. Заиграла музыка, то были струнные инструменты и дудки из тростника с четырьмя отверстиями. Начался пир. Гости кагана ели мясо и пили вино. Мне дали молоко и хлеб. Хотя каган был варварским государем, живущим в войлочном шатре, на него нельзя было смотреть без удивления и почтения".

Подумать только, все это было тогда, когда еще не существовало российское государство!

Главным городом каганата был Тараз. На Востоке его считали городом красавиц. Через него проходили пути из Западной Азии в Китай. На его месте потом построили город Аулие-Ата. Недавно Аулие-Ата переименовали в честь умершего поэта в Джамбул. Здесь немало сосланных из России, статьи у них разные. Величие каганата постепенно разрушалось. На государство стали нападать тюрки другого корня – тюргеши. Но и тюргеши были разгромлены китайцами. А на степь все набегали и набегали новые тюркские племена – огузы, карлуки, кыпчаки.

Кыпчаки были многочисленны. Русские называли их половцами. Их новое государство получило название Дешти-кыпчак – "Кыпчакская Степь". Они жили и на Днепре, и в Крыму, и на берегах Нижней Волги, где у них был красивый деревянный город Булгар. Бежит

кыпчакская кровь в жилах татар, башкир, узбеков, казахов, туркмен, чувашей, тавларов, кумыков, балкарцев, карачаевцев, крымских татар. У кыпчаков были метательные машины, стрелявшие снарядами. Об этом говорится и в "Слове о полку Игореве": "Поскочи по русской земле смагу мычючи в пламяне розе... Ты бо можешу посуху живыми ширешеры стреляти".

Николай Леопольдович объяснил: "Смага" – это нефть, и "ширешер" – по-персидски "тыри-черх" – по старо-русски "пламенный рог", это означает – снаряд. Николай Леопольдович обрадовался, когда Берд Измайлович ему сказал, что в гушанских сказках метательное колесо называется "шан-шерх". Один корень.

Метательные машины управлялись умелыми мастерами. То были выходцы из далекого Хорезма, из кавказских земель, "иже стреляши живым огньмь", – говорит русский летописец, а знаменитый путешественник Рубрук удивлялся: "Какой дьявол занес в город Булгар закон Магомета!"

Здесь Николай Леопольдович остановился:

– Рубрук не знал, что это сделали купцы и ремесленники, которые приезжали из стран, завоеванных арабами-магометанами. Задумывался ли ты, мальчуган, почему тебя зовут Алим? Что это имя означает на твоём языке? Ничего. А ведь каждое имя что-нибудь да означает. Алим по-арабски "ученый". Почему же ты, тавлар, носишь арабское имя? Потому что твой народ принял ислам – веру, рожденную арабами. И когда вы приняли эту веру, вы стали народом. Более того, сами арабы стали народом, когда родили свою веру. Кем они были до этого? Населением, родственным евреям. "Араб" и "еврей" – слова одного происхождения, "араб" – "живущий по ту сторону реки", "еврей" – "живущий по эту сторону реки". Мухаммед, развивавший вдохновенно прозрения Ветхого Завета, сделал арабов народом. Когда люди познают Бога, они становятся народом. Можно, познав Бога, не сразу почувствовать себя народом, европейцам понадобилось для этого девятнадцать столетий, но нельзя почувствовать себя народом, пока не познаешь Бога. До ислама арабы были жителями, бедуинами, что и означает "жители пустыни", и только познав Аллаха, превратились в народ, воины и кочевники стали философами, математиками, поэтами, пастухи приобщились к божественной мысли. Твои тюркские предки владели, как я уже тебе говорил, землями от Тихого океана до Черного моря, но они не были народом, ибо не приобщились к божественной мысли. А вот вы, тавлары, несколько зернышек на ладони земли, стали народом, когда стали мусульманами. И не потому вы перестанете быть народом, что вас выслали сюда, а потому, что вы забываете Бога. Евреи потому великий народ, что первыми на земле поняли божественную мысль, стали народом Книги, и от их веры произошли две мировые религии, две мировые цивилизации. Вера движет не только горами, она выдвигает на поверхность бытия жителей и делает их народов. Как некогда арабы, позднее, в тринадцатом веке, двинулись под предводительством Чингиза Темучина

из глубин Азии дальние родичи тюрков – монголы. Историки, рассказывая о нечеловеческой жестокости Ченгиза, отмечают одну его хорошую черту: веротерпимость. При его кочевом дворе можно было встретить и поклонника Будды, и поклонника Христа, магометанина и еврея. Но то была не веротерпимость верующего, то было равнодушие обезбоженных. Население империи Чингиза потому-то не стало нацией, что не познало Бога.

Монголы, завоевав кыпчакскую степь, основали не ее месте сильное государство – Синюю Орду. Русские называли это государство Золотой Ордой. Чингиз отдал Золотую Орду во владение своему сыну Джучи (считается, что от него пошел дворянский род поэта Тютчева), и входили в Золотую Орду богатый Булгар, Крым, Северный Кавказ, Хорезм – житница Средней Азии, Нижнее Поволжье, покорили золотоордынцы большую часть Руси.

Настоящее имя могучего завоевателя неизвестно. Темучин означает предводитель тюменя (с этого начал завоеватель), а тюмень – отряд в десять тысяч воинов, русское "тьма тем" – это десять тысяч тюменей. Как судьба сделала так, что немногочисленные монголы, вдруг выйдя как бы из небытия, завоевали землю от Китая до Трансильвании, уничтожая или вбирая в себя покоренные племена? – К чему города? – спрашивал Чингиз. Это имя означает "великий". Как же на самом деле звали этого человека, который утверждал: "Зеленая земля есть пастбище для скота, и только скот четырех родов нужен человеку, а города ему не нужны".

И Чингиз уничтожал города. В его племени жило предание о том, что есть большая река Итиль, а берега ее – чудесные пастбища. И он повел свое войско к Итилю, как некогда повел – и по той же причине – туда свое войско тот, кто свое имя – Атилла – получил от названия реки, как через несколько столетий двинулись к этим местам отделившиеся от монголов калмыки, но, увы, Итиль уже назывался Волгой и владела ею могучая Русь. А если вернуться к поре Чингиза, то жил тогда арабский историк Ибн-аль-Ансар, и он поведал, глотая слезы:

"Из событий, которые описывают летописцы, самое ужасное то, что сделал Навуходоносор с Израильтянами, перебив их и разрушив Иерусалим. Но что такое Иерусалим в сравнении с теми странами, где каждый город был вдвое больше Иерусалима? И что такое Израильтяне в сравнении с теми, которых злодеи перебили? Ведь в каждом из народов было большее число жителей, чем Израильтян. Монголы не жалели никого, избивали женщин, мужчин, младенцев, распарывали утробы беременных и умерщвляли зародышей!"

Кыпчакский царь Котян сообщил своему тестю, князю галицкому Мстиславу Удалому, что в землю кыпчакскую, в Нижнее Поволжье, вторглись монголы, просил помощи. Начались битвы. На одной стороне – русские и кыпчаки-половцы, на другой – монголы и бродники, славяне, жившие на берегах Азовского моря и Дона, может быть, праотцы казаков. Бродники давно враждовали с князьями черниговским и

и киевским. То гремели битвы племен, а не сражения народов. Были победы у русских, но, когда во главе монголов стал внук Чингиза Бату, сын Джучи (у русских он назывался Батыем), русские потерпели великое поражение. Кыпчак Котян с остатками разбитого войска бежал в Венгрию. Бату взял Киев. Бородники там бесчинствовали не хуже монголов. Не было слышно человеческого голоса "от гласа скрипяя телег Батыя, множества ревеня вельблуд его и от ржания стад конь его".

Монголы вступали в брак с дочерьми покоренных кыпчаков, и их языком стал кыпчакский язык, язык тюрков. Военным кличем монголов было слово "Татар!", и новый смешанный народ стал называться татарами. Русский летописец передает о татарах такие слухи и толки:

"По грехам нашим придоша языци незнаеми, их же добре никто не весть: кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их. А зовутся татары".

Как жили русские триста лет под Золотой Ордой? Как пахали землю, женились, рожали детей, пели и плясали? Удельные князья заискивали перед ханами, клеветали, корысти ради, друг на друга, ползали перед потомками Бату, но ведь иногда и боролись с ними. Когда я спросил Николая Леопольдовича, почему русские терпели чужеземное иго триста лет, он мне сказал:

– Самые тяжкие материальные трудности, испытываемые людьми, самое оскорбительное унижение еще не способны вызвать ярость против поработителей. Ярость вызывается жаждой свободы, жертвенной любовью к свободе. Но любовь к свободе рождается тогда, когда у свободы есть вожатый: мысль. Только верующий в Бога свободен. Ибо какая мысль выше мысли о Боге? И когда в русском сердце созрела мысль о Боге, русские стали народом, и народ выпрямился. Дмитрий Донской повел его на Куликово поле тогда, когда святой Сергей Радонежский благословил народ на битву, когда татары стали для русских не обычными противниками, а исчадьями дьявола. Дмитрий был палицей, а истинным воином был Сергей. Дмитрий прал против рожна, он, как потом декабристы, хотел по выражению Тютчева, "вечный полюс растопить", не он разгромил Золотую Орду, это сделал Тамерлан, и все же он победил. То была победа Бога. В русском стане не было рязанцев, на его стороне сражались литовцы, и победили не просто русские: победу одержало русское православие. И теперь выжили в казахской степи самарские, пензенские, саратовские мужики, поредевшие числом так же, как войско Донского, выжили, потому что в их сердце не погасла вера в Христа, не погасла, хотя они сами, наверно, этого не знали...

А мы? Выживем ли мы в изгнании, будем ли всегда рабами коменданта? Не о нас ли проповедовал епископ владимирский Серапион: "Каких только наказаний не приняли мы от Бога! Не пленена ли земля наша? Не взяты ли города наши? Не усеяли ли землю трупами отцы и братья наши? Не уведены ли жены и дети наши в плен? А кто остался в живых – не поработены ли они на горькую работу от иноплеменников? Навел Бог на нас народ лютый, народ, не щадящий красоты юношей, немощи старцев, младости детей. Воздвигли мы на себя ярость Бога".

Так было с русскими. Но ведь русские не против нас. Кто же против нас? Бывают ли народы лютые и нелютые? Немцы – лютый народ? Мирные волжские татары – лютый народ? Карамзин писал: "Нашествие Батыево ниспровергло Россию. Могла угаснуть и последняя искра жизни; к счастью, не угасла; имя, бытие сохранилось".

И в то же время, хотя гнет был нестерпим, татары оставили русским их законы, их нравы, их язык. Тот же епископ Серапион, называя татар "погаными", говорит: "Хоть и не знаши законы Божия, однако не убивают своих единоверцев, не грабят. Никто из поганных не продает брата своего, а если кого из них настигнет беда, то выкупят его".

Распад Золотой Орды начался при хане Тохтамышше. В молодости Тохтамыш дружил со знаменитым Железным Хромцом, с Тамерланом. Когда Тамерлан создал большую империю со столицей в Самарканде, он решил завоевать и Золотую Орду: он не мог существовать, не завоевывая новые земли. Как и при Чингизе, подъяремные крестьяне, становясь его воинами, должны были каждый взять с собою лук, тридцать деревянных стрел, колчан, щит, одного доброго коня на двух всадников, один шатер на десять человек, две лопаты, кирку, серп, пилу, топор, секиру, сто иголок, веревку, котел. С таким самостоятельным войском Тамерлан пошел на Тохтамышша. Друзья молодости стали врагами. Тамерлан разбил войско Золотой Орды. Он уничтожил на Нижнем Поволжье города – цветущий Сарай Берке и Ашдархан (Астрахань).

Потом пошел Тамерлан на Русь. Он дошел до Ельца и внезапно повернул назад. По преданию, перед ним предстал святой Хызр, обладатель воды, оживляющей мертвых, и приказал ему:

– Нет позволения тебе этот народ воевать. Только одно тебе позволено: явить свою силу.

И тогда Хромец схватил двухлетнего жеребенка и бросил его в сторону русского города. По допущению Аллаха жеребенок сломал при падении каменную башню и упал за версту. Там, где упал, потекла вода обильной струей. А Хромец повернул свое войско вспять, хотя один Аллах про то ведает, сколько чисел было тому войску...

Поражением Золотой Орды умно и отважно воспользовалась молодая Москва. Она сбросила с себя тяжкое иго. Дешти-Кыпчак рухнул. Радуюсь гибели Золотой Орды, почуяв волю, кыпчаки разбрелись по разным землям, смешиваясь с местными тюркскими племенами. Так возник в среднеазиатском Семиречье казахский народ, а смешавшись с черными болгарями, жившими между Волгой и Доном и на Кавказе, кыпчаки стали предками тавларов.

И вот теперь кавказские потомки кыпчаков высланы на землю их казахских потомков. Не усеяли ли землю трупами отцы и братья наши? Не пленена ли земля наша? Кто мы? Саки, усунь, канглы, тюргеши, огузы, карлуки, кыпчаки, черные болгары, монголы? Какая путаница, язык сломается, шайтан захромает! Чья кровь бежит в наших жилах? За чью кровь мы в ответе перед Сталиным? Неужели мы превращены в спецпереселенцев только потому, что переселялись, кочевали наши предки? Чингиз распарывал утробы беременных, Тамерлан уничтожал

и грабил наши селения, нас косила чума, великие напасти мы извели, но всегда оставались в списке народов. А Сталин вычеркнул нас из списка народов. Сохранится ли в изгнании наше имя, наше бытие?...

Пока Алим записывал, как запоминал и понимал, исторические повествования Николая Леопольдовича, живая история продолжалась. Джемалдин Аталыков посреди поля задавил трактором коменданта Кобенкова.

## Глава одиннадцатая

Станислава Бодорского пригласили в Гугирд. Хотя после войны прошло почти четыре года, он впервые получил телеграмму из Гугирда, правда, не простую, а правительственную, впервые вспомнили о нем там, где, казалось бы, его не должны были забывать. Все эти годы республика молчала. Это было тем более странно, что управителем республики стал его студенческий друг Парвизов. В чем таилась причина отлучения? В высылке тавларов и среди них – Мусаиба Кагарского? Предположение зыбкое. Или в том, что он попытался похлопотать за тавларского мальчика? Фадеев говорил с ним неожиданно зло, раньше был к нему расположен, не раз в печати хвалил его перевод гушанских сказаний. Но в тот день Фадеев встретил его неприветливо, руководитель союза писателей долго его не принимал, а приняв, не подал руки, и когда Бодорский изложил ему свою просьбу, лицо Фадеева налилось кровью, ресницы его волчьих глаз быстро и страшно зашевелились, он, сам себя распаяя, закричал: "Забудьте их, забудьте их!"

Не могла ли эта краткая, пусть и неприятная встреча наложить отпечаток на положение Бодорского в литературе? А положение было не то, что плохое, а какое-то неопределенное. Стихов его по-прежнему не печатали, несколько попыток, достигнув наивысшей точки на желанном пути, провалились в бездну. Работу он имел, не жаловался, но работу малоинтересную, переводы чисто коммерческие. Имя его не всегда упоминалось при перечислении ведущих переводчиков, одобряли редко и бегло, сквозь зубы, чаще покусывали. Когда еще была карточная система, литер "Б" (о литере "А" он и мечтать не смел), выдавали ему не каждый месяц, а через два на третий, хотя, помимо литературных заслуг, у него были заслуги фронтовые, провел на войне четыре года. С женой Машенькой и сыном Колькой, которых он обожал, он жил в двух крохотных, сырых, полутемных комнатках в коммунальной квартире на первом этаже дряхлого деревянного дома за Немецким кладбищем, весной и осенью черный ход (парадная была давно переделана милиционером под комнату) заливало водой, вода просачивалась в квартиру, водопровода не было, пользовались колонкой на улице. Союз писателей оставался безучастным к его слезницам.

Неужели он неудачник! Ему казалось, что военная служба должна была изменить его судьбу. Он кончил войну в звании майора, его наградили орденами и медалями, он, казалось бы, приблизился к власти, но нет, чуждалась его эта власть. Редактор армейской газеты Эммануил Абрамович Прилуцкий хотел с ним подружиться, но Станиславу Юрьевичу не о чем было говорить с этим недалеким, хотя и несчастным человеком (он потерял на фронте юношу-сына), в мирное время – театральным критиком. Истерик с подчиненными, подхалим при начальстве, Прилуцкий мучил его, посылал под огонь, а потом кричал, картавя, что

очерк написан плохо, без души. Чуждалась Станислава Бодорского эта власть, не печатала его стихи, а теперь и его переводы, видимо, оказываются ей ненужными.

Бодорский внезапно, хотя и смутно, почувствовал, что дело не в нем, а в государственной машине. Воздух был насыщен ее зловонными выхлопными газами. Не предлагая ничего существенного русским, Государство брезгливо, неприязненно терпело нерусских, вообще – не славян, а в особенности – малых сил. Древние литературы восточных народов подозревались во всех грехах, в пантюркизме, в панисламизме, в байском феодализме. Татарам, поскольку они триста лет владели Русью, просто указывалось начинать свою историю с октября 1917 года: до этого они как бы не существовали. Изустные эпические поэмы, продолжавшие жить в народной среде, юбилейные даты которых, действительные или придуманные, отмечались до войны, с милостивого одобрения Сталина, весьма помпезно, теперь оказывались в лучшем случае лишними, в худшем – враждебными интернациональному духу русского народа. Гушанские сказания держались, можно сказать, на волоске, каждый день ожидалась в республике их политическая казнь, и этем объяснялось охлаждение Парвизова к их переводчику. Бодорский отталкивал эту мысль, ведь речь шла о любимом детище Бодорского, он хотел думать, что Парвизов не приглашает его в Гугирд, потому что ему было бы неприятно появление в республике друга студенческих лет, – а вдруг не соблюдает дистанцию, положенную теперь между ними? В действительности же боялся Парвизов, боялся, что его заставят выступить против народных сказаний, и народ будет его втайне презирать, а не выступить, если прикажут или намекнут, нельзя. Объяснение Бодорского имело некоторое основание, но главное заключалось в ином: в том, что изменился воздух Государства, в том новом, что становилось воздухом Государства. Наконец, многое прояснилось: "Правда" опубликовала статью об одной антипатриотической группке театральных критиков. На первый взгляд – чисто литературный вопрос, но нет, речь шла о важном, предопределенном повороте всей государственной машины. Чтобы успешно, с блеском, двигаться вперед, машина должна была на своем пути воздвигать и преодолевать мнимые преграды. Преграды эти были классовые. Классов не стало, а преграды были нужны. Оставалась одна возможность: иметь преграды расовые. После черновых набросков – высылки малых народностей – был избран наилучший, всегда оправдывавший себя вариант: евреи. Запахло чем-то существенным, общепонятным. Война, как никогда прежде, сблизила партию и народ. Теперь они сближались еще крепче.

Сотрудник издательства Анатолий Кузьмичев, фронтовой приятель Бодорского, эстет и коммунист из дворян, сказал ему, сладко потягиваясь на редакторском стуле: "Стасик, какое счастье быть русским!" Действительно, большая часть крепостной дворовой интеллигенции вдруг почувствовала, что она близка барину-Государству, а другие – чужды ему. Сам того не замечая, изменился и Станислав Юрьевич. То ему нужно было вспомнить в кругу знакомых, как он говел с матушкой в армянской церкви, то рассказывал о том, как любил посещать с отцом



костел св. Стефана. Казалось, еще одно мгновение, и можно будет, даже выгодно будет сообщать о прошлом офицерстве отца, пусть и жандармском, — что из того? При этом Станислав Юрьевич в кругу других знакомых совершенно искренно возмущался грязным антисемитизмом правительства, тем более грязным, что, в отличие от немецкого, советский антисемитизм был труслив, опасался самовыражения, а это это за антисемитизм, который трусит?

Станислава Юрьевича стали чаще упоминать в газетных обзорах, ему дали мелкую выборную должность в союзе писателей, потом повысили — сделали членом редакционного совета издательства, к нему, как к оплачиваемому консультанту, прикрепили подающего надежды студента Литературного института Мансура, сына Хакима Азадаева, тот приходил к нему раз в неделю, — ниточка, связывающая Станислава Юрьевича с республикой. И вот теперь — правительственная телеграмма из Гушанистана, приглашение в Гугирд.

Парвизов принял старого приятеля сердечно. Государственные заботы и хорошая пища не пошли ему впрок, он обрюзг, курчавая голова стала черно-белой, но глаза по-прежнему излучали живой ум, улыбка оставалась чарующей. Он понимал, откуда движется идеологическая опасность, гибельная для карьеры партработника. Изустные эпические поэмы мусульманских народов, такие, как азербайджанская "Книга моего деда Коркута", киргизский "Манас", узбекский "Алпамыш", татаро-башкирский "Идегей" объявлялись, несмотря на свою древность, орудием буржуазных националистов, окопавшихся в различных советских, партийных и научных учреждениях, порой на высоких и даже на самых высоких постах. О гушанских сказаниях пока ничего не говорилось, но Парвизов ждал, что погибнут и они. Первый секретарь обкома партии запретил в газетах и журналах республики ссылаться на патристические пассажи из сказаний. Ему не нравилось, что писатель Хаким Азадаев ухитряется печатать исследования о гушанских сказаниях, — не в республике, а в московских научных изданиях, упрямым старик, в прошлом мулла, доказывает их первородство, по сравнению с греческими. А младший сынок Азадаева (двое старших погибли на войне), гуляка Мансур, приезжая на каникулы из Москвы, разглагольствует среди молодых пьяниц и бездельников о том, что Парвизов не любит свой народ, что он — прислужник Москвы, любит себя. Буквально как снег на голову обрушилось на Парвизова предложение Цека — готовиться к декаде гушанской литературы в Москве, предположительно — на конец осени будущего, 1950 года.

Чем объяснить это неожиданное, крайне неожиданное решение? Обычно о декаде, осторожно, боязливо, ходатайствует республика, а тут сама Москва... По телефону справляться не имело смысла, когда придет в Москву, найдет возможность поговорить с кем-нибудь из ответственных работников аппарата. Азадаевская семейка раздражала Парвизова, но придется с ней примириться, вся гушанская литература держится на толстых книгах отца и на стихах ловкого, остроумного Мансура.

Парвизов еще не сообразил, нужна ли ему эта декада. С одной стороны — шум в печати, поездка в Москву, встреча с руководителями партии, не исключается встреча с самим Сталиным, награды, можно обворожить, кое-чего добиться для хозяйственных нужд республики, а заодно и для себя: он был членом Центральной ревизионной комиссии, ему хотелось на ближайшем съезде стать членом, на худой конец, кандидатом в члены Цека, как некогда был Сулейман Нажмуддинов. В то же время с декадой было много возни, тягостное это дело. Нужны романы и повести помимо азадаевских, но их нет, то есть найдутся, но на таком низком уровне, что ни один переводчик не возьмется из такого дерьма сделать конфету, чтобы, если нюхать ее нельзя, то хотя бы вид имела. Стихи тоже сочинялись длиннейшие, скучнейшие, все об одном и том же, без выдумки. Надо будет хлопотать об их издании в Москве, хлопотать самому. Жаматов с этим не справится. Жаматов был тот самый гушан, который когда-то встречал на Тепловской Станислава Бодорского, впервые приехавшего в Гугирд. У Жаматова, как у секретаря обкома по пропаганде, были свои бесспорные достоинства: он не отличался умом, безынициативный, ничего толком не понимал ни в сельском хозяйстве, ни в промышленности, типичный приказчик, как Ленин называл Молотова, и Парвизову было с ним спокойно, подвоха не ожидал. Но когда нужно было делать дело, Жаматов никуда не годился. Деньги на декаду тоже придется выколачивать из Москвы самому, — дадут, но мало, там не представляют себе, как обнищала республика за последние годы, надо одеть в яркие национальные костюмы актеров, музыкантов, которые всегда в подобных случаях сопровождают литераторов, чтобы московская публика не скучала, слушая стихи, содержание которых предусмотрено, надо обновить инструменты, реквизит, нужна меловая бумага для подарочных книг, и все необходимо просить и суметь выпросить, а тут Жаматов беспомощен. Но это мелкие трудности. Главная трудность в том, что понять, какой линии следует держаться. Древний они народ или, как татары, начали существовать только с октября 1917 года? Гордиться ли Шамилем или отречься от него? Опирайтесь ли, как на национальную гордость, на эпические сказания, или умалчивать о них? Переводить ли на русский язык романы Хакима Азадаева, популярные в народе, потому что они исторические, или отказаться от них, потому что они исторические? Тогда с чем ехать в Москву, на строгий столичный суд? Надо вызывать Станислава.

Парвизов принял переводчика не в обкоме, а у себя дома, в кругу семьи. Этим подчеркивалась давняя дружба и как бы снимались возможные упреки в четырехлетней холодности. На столе, среди русских разносолов, красовалось любимое блюдо Бодорского — баранья печенка с жиром, а потом Надежда Григорьевна, ничуть не постаревшая, нарядно, по-московски одетая, принесла, держа у высокой груди, другое гушанское блюдо — домашнюю колбасу, баранью кишку, начиненную печенкой, почками, всякой трехухой. Вкусно до умопомрачения!

Парвизов, скрывая тягостную заботу, весело изложил суть дела, сказал:

– Работы много. Ты один не справишься. Тебе, Станислав, нужен помощник.

Бодорский подумал:

– Есть способный поэт-переводчик. Капланов, мой ученик. Прошел всю войну рядовым красноармейцем. Молодой член союза писателей. Я ручаюсь за него.

– Капланов? Не Мотя ли это, сын моего двоюродного брата Зямы? Он с детства творил, – вмешалась Надежда Григорьевна. – Я ведь тоже Капланова. Сколько лет этому поэту?

– Ближе к тридцати. Он на десять лет моложе меня. Возможно, что он и вправду ваш родственник, его зовут Матвей Зиновьевич.

– Конечно, он, – обрадовалась Надежда Григорьевна. – Подумать только, маленький, кругленький Мотя, – поэт! С тех пор, как я вышла замуж, я никого из этой семьи не видела.

Парвизов не обрадовался:

– Не очень это удобно, не очень кстати – родственник. К тому же...

Бодорский понял:

– Не беспокойтесь, Даниял Заурович, в союзе писателей к Капланову относятся неплохо, в космополитизме не обвиняют. Его переводы стали в "Правде" появляться. А главное, на него можно положиться, не подведет. Ремесло свое знает. Вам понравится.

Парвизов немного успокоился, – главным образом, потому, что Станислав обратился к нему на "вы", по имени-отчеству. Понимает этику. С тем большим удовольствием он продолжал говорить Бодорскому "ты".

– Тебе придется переквалифицироваться. Это я тебя прошу как друг. Займешься прозой, – переведешь роман Хакима Азадаева, сам понимаешь, – другому доверить не могу. Надо хорошо разбираться в нашей истории, где потребуются, поправить старика. Знаю, работа не для тебя, но дырочку в пиджаке пробуравь, орден тебе обещаю...

На ужин Станислав Юрьевич был приглашен к Хакиму Азадаеву. За ним в гостиницу должен был зайти Мансур, приехавший домой, чтобы закончить дипломную работу – то есть, поэму. Гостиница была новая, еще даже не достроенная, одна ее сторона была в лесах; Станислав Юрьевич занимал так называемый полулюкс – большую гостиную-кабинет и маленькую спальню с трельяжем, при номере имелись ванна и сортир. Станислав Юрьевич разулся, прилег на диване в гостиной. Он вспомнил, как у него в Москве несколько лет назад впервые появился Мансур. Он вошел в его трущобу, держа пакет с начинающими гнить яблоками. – Тебе, – сказал он Маше. – Из солнечного Гушанистана. – Яблоки были явно куплены в ларьке напротив.

Нос у Мансура был не то, что просто огромным, – он был огромным вызовом симметрии, делил лицо на две неравные продольные части. Каждая из частей выражала разные черты характера их обладателя. Глаза небольшие, один жуликоватый, другой жестокий. Несмотря на холодную московскую зиму, Мансур был одет в худое пальтецо, не по сезону тонкое. Ботинки он снял у дверей, остался в носках. Когда он представился,

Станислав Юрьевич вспомнил его. В свой первый приезд в Гушано-Тавларскую АССР он посетил маститого Хакима Азадаева. Старик (ему тогда было меньше пятидесяти) долго и поучительно рассказывал о своей жизни, между прочим, сообщил, что у него три сына, старший – агроном, работает наверху, в горах, средний преподает математику здесь, в городе, а младший, школьник еще, живет при нем, видно пойдет по стопам отца, сочинительствует. Вскоре в комнату вошел некрасивый, приземистый мальчик лет двенадцати и остановился, как велит обычай, у дверей. Две струйки сбегали из его непомерного носа на нижнюю губу.

– Что ты сочиняешь, мальчик? – спросил Станислав Юрьевич.

– Стихи. А ты?

... В ту, первую послевоенную московскую зиму, Мансур навестил Бодорского, чтобы передать ему привет от отца. Потом он стал приходить каждый месяц, а позднее, когда Бодорского оформили в Литературном институте консультантом Мансура, – каждую неделю. Он шагал, взволнованный, по крохотной комнатке, излагая своему руководителю содержание поэмы о Сталине. По-русски говорил он плохо, да и вообще у него была каша во рту.

Видимо, задумано было не вовсе трафаретно, несколько иначе, чем восточные и русские панегирики, но общий смысл понять было трудно, только и слышалось: "Он сказал", "он пошел", "он сделал". Голова начинала трещать, Станислав Юрьевич не выдержал, спрашивал:

– Кто – он?

– Он – это ми, – спокойно объяснял Мансур...

Молодой поэт пришел за Бодорским в назначенное время. Был заботлив, нежен. Побеспокоился, – идет ли теплая вода, как гость питается. Узнав, что обедал у Парвизова, сказал, прикрыв жестокий глаз и щуря жуликоватый:

– Это хорошо. Теперь весь Гугирд будет знать, как вас принял первый. К обкомовской столовой прикрепят. Там лучше, чем в городских, но невкусно. У нас будете обедать.

Вышли вдвоем. Глазам Бодорского открывался город, с которым сроднилась его душа. Много разрушенных зданий, много – в лесах, немало и новых, возведенных в общесоюзном стиле сталинской архитектуры. Одно, четырехэтажное, поражало, среди пестрой, шумной улицы, ведущей к базару, молчаливой жесткостью линий, бездушной прочностью черного гладкого камня.

– Этот дом важнее парвизовского, – сказал Мансур. – Наша республика – продовольственный склад Москвы, а этот черный дом – сторож продовольственного склада.

– Вы не бойтесь, что до сторожа дойдут ваши слова?

– Я знаю, с кем говорю.

Мансур был похож на отца, во всяком случае, в его чертах легко и сразу угадывались отцовские черты, и все же большеносое лицо Хакима Азадаева было иным, чуждым сыну лицом, – мягкое, доброе. Или дело было в очках, в мусульманской полукруглой бородачке, чья белизна живописно соединялась с коричневой кожей лица, с бороздами морщин?

Хаким принадлежал к тем, кто первыми здравомысленно испугался. Такие люди имеются в каждой среде, в каждом советском народе. А было чего испугаться. Хаким считал себя глубоко верующим сунитом. Это не мешало ему восторгаться языческими сказаниями родного народа. В сущности, его верой был его народ, и все в этом народе казалось ему значительным, красивым: языческие и христианские обряды и предания, сохранившиеся при мусульманстве, язык, гортанно заявлявший о своем родстве с древнеперсидским и древнегреческим, с аланским и сарматским, минувшая слава и теперешние песни, кровавые битвы, князья и рабы. Он гордился (при большевиках боязливо) своей настоящей фамилией – Шарматов, указывающей на его дворянское происхождение. Когда русские свергли белого царя, в сердце Хакима проникла надежда, что гушаны станут свободным мусульманским народом. Во время гражданской войны турки, ненадолго захватившие гушанскую землю, привезли с собой потомка Шамиля, как законного правителя правоверных горцев. Хаким, побеседовав с ним, публично подтвердил, что этот человек действительно происходит от имама. Слово его было веским: среди гушанов тогда мало насчитывалось грамотных, а Хаким был не просто грамотным, не просто муллой, он к тому времени успел выпустить, на родном и арабском языках, исследования, посвященные гушанским сказаниям, русские ученые высказались о них уважительно, хотя и считали их весьма спорными, он издал первый гушанский роман "Птица разума – птица добра", встреченный с восторгом читателями, любившими свою нацию, наслаждавшимися неторопливым повествованием, в котором сочетались метафизические иносказания и привлекательные подробности быта.

Когда турков выбили, часть гушанов примкнула к деникинцам, другая, большая часть вела, под началом Сулеймана Нажмуддинова, партизанскую борьбу в горах на стороне Красной Армии. Победили большевики. Тогда-то Хаким благоразумно испугался, тогда-то он избрал себе псевдоним – Свободный, Азада. А, может быть, он поверил, хотел поверить, что его народ действительно станет свободным, что теперь большевики откроют перед гушанами путь к просвещению? Может быть, он и вправду поверил торжественному обещанию Сталина, что большевики будут уважать законы шариата?

Мулла стал школьным учителем. Вместе с Зауром Парвизовым, тоже учителем, отцом нынешнего первого секретаря, он приспособил для родного языка латинский алфавит, заменивший арабский. Его прошлые грехи, в особенности – подтверждение истинности родословной потомка Шамиля, были, как будто, забыты. Этому деятельно и заботливо способствовал Сулейман Нажмуддинов, ставший главой республики: он не только ценил, – он всем сердцем любил национального писателя и объяснял вышестоящим важность перехода Хакима Азадаева на сторону большевиков.

Ни разу ЧК не тронула Хакима Азадаева, и вместе с тем он жил в постоянном страхе перед властью. Этот страх странно слился с чувством благодарности к власти, простившей его и хорошо кормившей его, и

он воспевал в стихах, вошедших в букварь и хрестоматию, в повестях и романах, названия которых были взяты либо из пословиц, либо из газетных лозунгов, эту правильную власть. Только исследуя древние сказания, пространно разбирая каждое редкое слово или словосочетание, споря с литературоведами, отрицавшими первичность этих сказаний, он был самим собой, он отводил душу. Ему присвоили звание народного писателя, это усилило не только его чувство благодарности к власти, но и его страх.

Оказалось, что страх не напрасен. Когда сняли и убили его покровителя Нажмуддинова, в городе заговорили, что судьба Азадаева предрешена. Газетчик Хаджи Муртазалиев, перед тем отсидевший год в тюрьме и непонятным образом, необычно так скоро выпущенный, напечатал в "Гушано-Тавларской правде" статью, в которой называл Хакима Азадаева панислаμισмом и деникинцем. В доме ждали каждую ночь ареста, но все обошлось. Почему обошлось, — неизвестно.

За год до войны ему и Зауру Парвизову поручили составить новый алфавит на русской основе. Оба воспротивились: во-первых, рассуждали они, русский алфавит менее приспособлен к гушанскому языку, чем латинский, во-вторых, реформа отрицательно скажется на всей системе образования, — уже и так неразбериха, старшее поколение читает и пишет с помощью арабской графики, молодое — с помощью латинской, новое изменение повредит детям, внесет путаницу в трудное дело обучения. Оба не понимали, в какую трясиину заводят их эти здравые рассуждения, не понимали, что партия старается отдалить восточные народы от их прошлого, от Востока и Запада, вовлечь их в широкое русское русло. Сколько лет само слово "Русь" считалось признаком неблагонадежности произносивших его, характерным для притаившихся недобитков, и вдруг все перевернули. Парвизова и Азадаева вразумляли, вызывая куда надо, и так сильно вразумляли, что Заур Парвизов умер от разрыва сердца на улице. Хаким Азадаев создал новый алфавит. Тогда-то Даниял Парвизов, сын Заура, ставший к тому времени заместителем наркома просвещения, невзлюбил Азадаева, невзлюбил, конечно, не за то, что Азадаев создал гушанский алфавит на русской основе, а за то, что отец его умер, а Хаким Азадаев остался в живых, и слава создателя алфавита досталась ему одному. Парвизов, став первым, не только не сделал Азадаева, что, казалось бы, сам Аллах велел, председателем своего союза писателей, но, как бы назло старику, назначил на этот пост невежественного Хаджи Муртазалиева, который и писателем не был, напечатал всего несколько инспирированных органами статей и был принят в творческий союз.

Как раз о нем зашла речь, когда изрядно выпили и послали. В дверях иногда появлялась высокая молодая фигура женщины в большом черном платке, она безмолвно подавала Мансуру блюдо и исчезала, пока Мансур приближался с блюдом к столу. Кроме хозяина дома, Бодорского и Мансура, за столом сидел Ибрай Рахметов, видимо, друг семьи. Оказалось, что Бодорский и он служили в соседних армиях одного фронта, Рахметов — командиром роты. Теперь ничего командирского в нем не

осталось, он разговаривал с известным переводчиком, смущаясь, как девушка, что не шло к его более чем плотному сложению и круглому широкому лицу. Хаким Азадаев считал его прекрасным знатоком родного языка (лестная похвала из таких уст) и даровитым поэтом. Ему не дают ходу, объяснял хозяин дома, потому что мать Ибрая – тавларка. Рахметов служит в союзе писателей консультантом по работе с молодыми, и Муртазалиев, полуграмотный председатель союза, всячески, при людях, унижает его. Бодорский выразил естественную настороженность, узнав, что Муртазалиев просидел всего один год, случай редкий. Мансур, щуря жуликоватый глаз и раскрывая жестокий, сказал, указывая на Рахметова:

– Он тоже недолго сидел в тюрьме, меньше года.

– Расскажите, Ибрай, – предложил Бодорский. Разговор шел то по-русски, то по-гушански. Мансур не дал Ибраю рта раскрыть:

– Лучше я расскажу, это мой рассказ.

Все знали, что у Мансура было несколько рассказов, которые он часто повторял. Были и присловья, вроде: "Я бедный угнетенный горец" или (обращаясь к женщине): "Ты для меня как четвертая глава краткого курса" (считалось, что эту главу истории партии написал сам Сталин). Рассказ об аресте Ибрая Рахметова Мансур повел по-русски, его ломаная речь украшала рассказ, усиливала впечатление:

– Ибрай купил на базаре большой арбуз. Дом его далеко, около еврейской слободки, а было жарко, вспотел Ибрай, пока шел с базара. Приходит, – а во дворе черный ворон стоит, красивая жена плачет. Ибрая хватают, он вырывается, заявляет: "Я в такую жару арбуз тащил, имейте понимание, дайте, съем кусочек перед тюрьмой". Поняли человека, разрешили, и он, Аллах Акбар, сел на ступеньках, красивая жена вынесла ему нож, и он сам съел весь арбуз, никому ни кусочка не дал. Съел, поднялся, направо по двору пошел. Его хватают, – "Тюрьма-тюрьма знаешь? Тюрьма-тюрьма ехать надо?", а он их спрашивает: "После арбуза мне в туалет-туалет надо, или нет, а?" Оправился, брюки не успел застегнуть, – его втолкнули в машину. А он уснул. Ой, Аллах Акбар, говорят впервые в истории народов СССР человек уснул, как только его арестовали.

Ибрай залиvistо расхохотался, как будто не он был героем рассказа. Впрочем, он слушал Мансура не раз, заранее знал все слова, все интонации. Мансур продолжал:

– Тюрьма у нас старая, еще при царе построена, камеры рассчитаны на одного, на двух или четырех заключенных, а Ибрая посадили в камеру, где дышать нельзя было, человек сорок туда запихнули. Считается, что посадили, а никто не сидел, все стояли, – места не было, где сесть. Стоит со всеми и Ибрай, задыхается. На другой день его вызывает следователь, наш гушан, мы его знаем, он и сейчас там работает, говорит:

– Ты буржуазный националист. О тебе знающий коммунист Муртазалиев написал, что ты идеологический диверсант. Вот передо мной статья в газете, могу дать прочесть: "Насаждая панарабизм, Ибрай Рахметов засорял свои "литературные" в кавычках произведения арабскими словами, чуждыми народу. Строку великого Маяковского: "Я – гражданин

Советского Союза” этот выродок коварно перевел так: ”Я гражданин советского мамлаката”.

Ибрай возражает:

— Это одно и то же. Мамлакат значит государство. Для рифмы подходило.

Следователь размахнулся, ударил Ибрая, а Ибрай спокойно говорит:

— Сын прокаженного и свиньи, не смей, дурак, драться. Я тебе не буржуазный националист. Я резидент.

Машалла! Следователь ушам не верит. Кого поймал!

— Ты резидент? Ты чей резидент?

Ирбай загибает пальцы:

— Тюрция, Ферсия. На меня твои буржуазные националисты работают.

Мансур с восхищением ударил по-кавказски, крест-накрест, ладонью о ладонь:

— Следователь и думать не думал, что так повернется дело, он приготовился к тому, что Ибрай начнет оправдываться, как все, решил запугать его. Он даже скучал сначала, зная, что придется с Ибраем долгую возню возить, а уже запланировали дать Ибраю всего пять или восемь лет, а тут такой красавец-тур пошел ему в руки, редкостной породы тур, — резидент! Понял следователь, что богатая добыча ему досталась, выдвинется: настоящее, большое дело, не выдуманное. Спрашивает Ибрая с уважением:

— Как вы оплачивали работу своих агентов?

А Ибрай не знает, какая валюта теперь в Персии и в Турции. Он по стрым книгам объясняет:

— У меня есть дирхемы, динары. Есть и драгметаллы.

— Где вы храните ваше имущество?

— Тебе не скажу. Все вы в этой вонючей республике воры, себе все возьмете. В Москве скажу. Москве отдам. Так мне выгоднее будет. Там государство получит, а здесь ты украдешь.

Аллах Акбар! Поместили Ибрая Рахметова в отдельной камере, позволили его красивой жене, чтобы она ему пижаму принесла, кормят как конвойных. Парикмахер через день приходит к нему, а Ибрай тройной одеколон отвергает, требует ”Красную Москву”. Передали дело Ибрая Рахметова старшему следователю. Тот каждый день вызывает к себе Ибрая, где, спрашивает, валюта и драгметаллы, а Ибрай как бык уперся:

— В Москве раскроюсь. А вам, вора, не доверю.

— Хорошо, согласен, отправим вас в Москву. Мы идем вам навстречу, пойдите навстречу и нам. Назовите хотя бы несколько своих агентов, чтобы Москва видела, что мы от вас кое-чего добились, поймите нас, господин резидент!

Машалла! Опять загибает Ибрай свои пальцы, сообщает: журналист Хаджи Муртазалиев, критик Гурганов, композитор Мирзаев (все они были известными стукачами), колхозный бригадир Дустов. Приказали



красивой жене Ибрая принести в тюрьму хороший костюм, демисезонное пальто, отправили резидента в Москву. Просидел он на Лубянке три месяца, его не вызывают, а тут вместо Ежова назначили Берию, новые сотрудники стали разбираться в делах. Пришел в камеру московский следователь, тоже ударил Ибрая по щеке, сказал:

– Вы ввели в заблуждение органы. За это, сволочь, полагается шесть месяцев, но вы отсидели больше. Вы свободны.

Мансур захохотал, раскачиваясь. Заливисто рассмеялся и герой рассказа. Улыбнулся и старый писатель. Станислав Юрьевич спросил по-гушански:

– Напоминает ли начальство Ибраю, что он сидел?

– Не это напоминают, – ответил Хаким Азадаев. – Напоминают, что мать его тавларка. А человек всю войну под огнем был, на фронте вступил в партию. Издевается над ним Муртазалиев, оскорбляет, мстит за старое, а что делать Ибраю, гонорары у нас маленькие, не проживешь, а в союзе писателей жалование.

Была уже ночь, когда Станислав Юрьевич покинул дом Хакима Азадаева. Хозяин дал ему для прочтения и, возможно, для перевода свой новый роман "Цепи". Было очень удобно, что Станислав Юрьевич читает по-гушански, отпадала нужда в подстрочнике, в оплате подстрочника. Станислава Юрьевича провожал, как заведено у горцев, до гостиницы Ибрай Рахметов. Всеми семью планетами нависало ночное небо над городом. Станислав Юрьевич спросил, – правда ли все, что рассказал Мансур?

– Мансур придумал, что я дал показания на четырех человек. Я назвал только Муртазалиева и колхозного бригадира Дустова, который избил мою мать. И не приходил ко мне в камеру московский следователь, – так не полагается. А в основном, – все так было.

## Глава двенадцатая

На имя секретаря обкома партии по пропаганде Жаматова пришло из Москвы письмо. Правление союза писателей СССР не возражает против кандидатуры Матвея Капланова в качестве переводчика поэмы Мансура Азадаева, но считает нецелесообразным приезд Капланова в республику, поскольку поэма пишется и заканчивается в Москве, в качестве студенческой дипломной работы, и Капланов может осуществить перевод в содружестве с автором, не выезжая из Москвы. В республику, в помощь С.Ю. Бодорскому, направляется молодой поэт Олег Башашкин.

Об этом письме сообщил Станиславу Юрьевичу в машине Мансур. Машина направлялась к Голубому Озеру, было воскресенье, хозяева решили устроить в честь Бодорского пикник в горах. Рядом с шофером Султаном сидел хозяин машины, сам Жаматов, а позади поместились Станислав Юрьевич, Мансур и Ибрай Рахметов. Замена Капланова никому неведомым Олегом Башашкиным неприятно удивила Станислава Юрьевича, но он решил об этом поразмыслить позднее, когда вернется в город, а сейчас он напряженно, задумчиво всматривался в буковые и ореховые леса. Он их не видел столько лет! Как неровно отделяют землю от неба ветви кизила, какие соборы образуются из ребристых скал! Однако Станислав Юрьевич начал постепенно прислушиваться к Мансуру. Оказывается, Башашкин уже позавчера прибыл в Гугирд. Его, по поручению Муртазалиева, встретил на вокзале Ибрай Рахметов и отвел в гостиницу. Позавтракать спустились в ресторан. По словам Мансура, который не хотел уступать Ибраю роль рассказчика (он редко кому вообще уступал эту роль), Башашкин заказал поллитра. Заплатить пришлось Ибраю из собственных денег. Командировочный поэт-переводчик был молод, лет тридцати, вихрастый, густобровый, лупоглазый, толстоносый и толстогубый. Он заинтересовался, сколько в местном издательстве платят за перевод стихотворной строки. Узнав, что семь рублей, сказал: "Скупиться на культуру не надо". Голос у него оказался густой, уверенно преодолевавший толстогубую преграду. Башашкин утешился, когда собеседник ему сообщил, что работы много, помимо стихов разных поэтов к декаде готовятся две поэмы – Ибрая и Мансура Азадаева. Командировочный заявил:

– Обе поэмы переведу я. Заплатить мне должны по двенадцати рублей за строку. Зато уж переведу крепко, по-башашкински.

В союз писателей они пошли вдвоем. Союз помещался на улице Ленина, в бывшей парикмахерской. Он прошлого остался только линолеумный пол. Председателя союза не было, куда-то вызвали, его часто куда-то вызывали, стучала на машинке секретарша Белла, два поэта играли, за большим заседательским столом, в шахматы, другие сидели на протертом диване, разговаривали, кое-кто просматривал газету. Все

они приходили в союз без определенного дела, на всякий случай, — а вдруг дело появится.

Ибрай хотел представить им поэта из Москвы, но тот, ни с кем не поздоровавшись, спросил у секретарши, где находится спецотдел. Белла, молоденькая, кокетливая, привыкшая к незамысловатым горским комплиментам, опешила, испуганно указала рукой на дверь, ведущую в заднюю комнату. До сих пор ни один командировочный так не поступал. Башашкин провел в спецотделе два часа. Взволнованные, встревоженные поэты не расходились, приходили новые и тоже тревожились. Из задней комнаты Башашкин вышел удовлетворенный. — Хорошо поработали, — сказал он густым, трубным голосом, ни на кого не глядя, но вдруг обратил внимание на пожилого писателя Юдакова. — На фронте? — спросил он: Юдаков был кривой. — Нет, в детстве болел оспой, — вежливо ответил Юдаков. — Многие из вас смотрят на окружающую действительность одним глазом, — поучительно-угрожающе произнес Башашкин и покинул союз писателей. Многовековая гушанская учтивость была обескуражена и оскорблена. — Старший брат, — сказал Юдаков.

... Приехали к Голубому Озеру. Местные поэты однообразно сравнивали его с огромным глазом, окруженным, как ресницами, травой и деревьями. Вода в озере была тиха, задумчива, как в первый день творенья. В горах, подумал Станислав Юрьевич, легче, яснее понимаешь первый день творенья. Машину поставили повыше, а сами устроились под чинарой на самом берегу. Шофер Султан вытаскивал из багажника бутылки коньяка, граненые стаканы, зелень, мясо, шампурсы. Ему помогал Ибрай Рахметов, хотя, по обычаю, этим должен был заниматься самый молодой — Мансур. Становилось понятно, что сын тавларки невольно и благодарно смотрит снизу вверх на благосклонных к нему Аздаевых. Первый стакан, пока Ибрай жарил шашлык, закусили редиской и черемшой. Жаматов сказал:

— Этот Башашкин уже был у нас в обкоме. Говорил и о вас, Станислав Юрьевич.

Слабо выказывая интерес, как научился на Востоке, Бодорский посмотрел на Жаматова. Тот продолжал:

— Башашкин с Муртазалиевым явились к Даниялу Зауровичу. Позвали и меня. Башашкин заявил, что главное — уничтожить перед декадой сорную траву буржуазного национализма. Он, дурак, не понимал, что оскорбляет Данияла Зауровича, — разве такая мелкая вошь вправе об этом говорить с первым секретарем обкома? Муртазалиев не умнее Башашкина, поддерживал его. Башашкин приводил примеры, хотел показать первому, что за краткий срок успел изучить каждого из гушанских писателей. Оба они, Башашкин и Муртазалиев, не замечали, что лицо Парвизова становится неприветливым, а мы-то, работники обкома, хорошо знаем Данияла Зауровича. Но Башашкина не остановишь, он — как глупый двухлетка-жеребенок, и все говорит, говорит, — мол, сионисты вроде Матвея Капланова только навредят республике, он, Башашкин, сам переведет к декаде всю гушанскую поэзию, и Бодорский не

нужен, он скрытый еврей. Тут Даниял Заурович крикнул так, что стены задрожали: "Я Бодорского знаю лучше, чем вы, а такие, как вы, в этой моей республике воздух портят, сегодня же возвращайтесь в Москву, чтобы завтра я вас в Гугирде не видел!" Тут Башашкин испугался, заплакал, буквально заплакал, стал умолять Данияла Зауровича оставить его в Гугирде, не то у него в Москве будут неприятности в союзе писателей, а он беден, надеялся на заработок в Гушанистане, в Москве заработков нет, все забрали себе евреи, признался: "С Бодорским я перебрал, он не еврей, он поляк". Даниял Заурович поднялся, приказал Муртазалиеву: "Сегодня же посадишь его в поезд, пусть убирается. И больше мне из Москвы таких не приглашай".

Мансур крест-накрест ударил ладонью о ладонь, беззвучно рассмеялся, раскачиваясь на траве. Бодорский задумался, но продолжал со всеми пить, закусывать, участвовать в беседе, которая перешла к обсуждению мужских достоинств Султана. Ему было тридцать два года, у него уже было шестеро детей, шестой родился только вчера. Он был, как заметил Бодорский, услужлив, воспитан, явно предан своему хозяину Жаматову. Мансур утверждал, что благодаря энергии таких горцев, как Султан, малые народности, увеличиваясь в численности, вынесут все удары судьбы. Приложив обе руки к сердцу, Султан попросил образованных людей дать имя его шестому мальчику. Мансур сказал:

– Пусть Станислав Юрьевич даст имя. Будет тебе память.

Бодорский понимал, какой почет ему оказывают. Он сказал:

– Назови его Джахангиром. Это значит "Завоеватель мира".

– Ай, хорошо! – Искренно восхитился Мансур. – Большой знаток Станислав Юрьевич, походная энциклопедия. Да здравствует Джахангир!

Коллизия прояснялась. Злодеем был Муртазалиев. Это он устроил так, что в Москве не позволили приехать в Гугирд Капланову и прислали дурня Башашкина, зловредного дурня, опасного. Силы, противостоящие Муртазалиеву, силы добра, представлены в гушанской литературе отцом и сыном Азадаевыми. Еще больше утвердился Бодорский в своих мыслях, когда узнал, что Азадаевы, Ибрай Рахметов, Жаматов и даже шофер Султан – из одного аула, одного рода. Им надо было сбросить Муртазалиева, а для этого – склонить на свою сторону Парвизова. Наглая глупость Башашкина оказалась им на руку. И он, Бодорский, будет с ними против стукача Муртазалиева. Когда Мансур произнес в честь Станислава Юрьевича сердечно-витиеватый тост, Станислав Юрьевич, выслушав, что он большой поэт и учитель Мансура, поблагодарил наклоном головы и, помедлив, посоветовал:

– Мансур, вам надо вернуться в Москву. Капланов, поверьте мне, переведет вас отлично, если вы засядете рядом с ним, вы вместе будете флотировать, то есть обогащать текст. А поэму Ибрая Рахметова переведу я.

На глазах у Ибрая выступили слезы счастья:

– Аллах Акбар, какая честь для меня! Сам Бодорский меня переведет! Станислав Юрьевич, не я, а горская моя душа вам скажет: вы для нас как отец. Даже не читая мою поэму, вы решили ее перевести. Мы

всегда знали, что человечность для вас прежде всего. Вы настоящий мужчина, Станислав Юрьевич, вы чувствительный мужчина, будьте здоровы!

Широко раскрыв жестокий глаз на ассиметричном лице, Мансуров внимательно посмотрел на Бодорского. Он было обиделся на то, что Бодорский не взялся перевести его поэму, предпочел ему слабенького Ибрая Рахметова, но быстро понял, что Бодорский действует правильно, понимает их обычаи, неудобно ему переводить и отца, и сына, другие будут недовольны, Парвизов будет недоволен, а Азадаевым надо, чтобы Парвизов прислушивался к объективному мнению Бодорского, и Мансур мысленно одобрил решение своего наставника.

А Бодорскому сперва сильно захотелось съездить на машине в Кагар, это недалеко от озера, там он провел прекрасные месяцы в доме Мусаиба, но он подумал, что увидит безлюдье, запустенье, безмолвное горе, что на сердце у него станет тяжело, а он старался, чтобы почаще было на сердце легко. Когда они усаживались в машину, Бодорский посмотрел на озеро. Теперь голубое око мира не показалось ему тихим, задумчивым. Оно глядело на Бодорского с безнадежной укоризной, устало и печально, и Бодорский внезапно понял, что голубое око мира никогда не было тихим и задумчивым, и тысячу, и десять тысяч лет назад оно разглядывало людей с укоризной и безнадежностью.

Вечером у себя в номере Бодорский стал читать роман Хакима Азадаева. Много было незнакомых слов, — приходилось часто пользоваться словарем. Действие романа "Цепи" разворачивалось в восемнадцатом веке. Скажут, что автор убегает от жизни, зарывается в глубокое прошлое. А, может, и не скажут. Сюжет развивался неспешно. Хвастливый князь; охота, пиры; избалованная, взбалмошная княгиня; красавица-рабыня, прислуживающая княгине; дерзкий уздень, доезжащий князя; уздень влюблен в рабыню; князь соглашается на брак, при условии, что свободный уздень тоже станет рабом, ясырем; уздень отказывается; князю нравится служанка княгини, он хочет сделать ее своей наложницей; с помощью нескольких сотоварищей — узденей и рабов-ясырей — уздень выкрадывает темной ночью рабыню; удалой джигит и его красавица находят пристанище в пастушьей хижине среди неприступных скал; князь, во главе дворян, отправляется в погоню за беглецами; возглавляя уздень и рабов, джигит борется с отрядом князя; бой неравный; смертельно раненый джигит погибает; но умирает и князь, не спасается от кремневки одного из рабов; люди джигита окружены; рабыня бросается с крутого утеса в реку; этот утес поныне носит ее имя.

Дело не в сюжете, дело в подробностях, главным образом, этнографических, в наши дни известных одному Хакиму Азадаеву. Эти подробности слабо, непрочно связаны с банальным сюжетом, — не беда, именно в них ценность романа. Но именно от них переводчику полагается извлекать. Трагедия писателей советского Востока в том, что читающие их на родном языке имеют иные представления о красоте слога, о художественности вообще, чем русские, чем европейцы, но восточный писатель начинает у нас утверждаться только тогда, когда его утверждает

Москва. Вот Бодорский и приспособит гушанского Вальтер Скотта, с его медленным повествованием, с его мусульманским мышлением, к требованиям современного русского читателя, вернее, к требованиям литературного московского начальства, иначе роман не будет иметь успеха, — по крайней мере, у того же начальства. А до чего хорошо было бы перевести все так, как есть, с очаровательными длиннотами, со стариннейшей манерой письма, с описаниями на десятках страниц обычаев, обрядов, с отвлеченными рассуждениями о мировоззрении суннитов, шиитов, хариджитов, мурджитов, карматов, измаилитов, со сведениями об устройстве крепостных башен, с кропотливыми исследованиями происхождения — иранского или греческого — того или иного слова в коротенькой заунывной песенке рабыни. Но нет, нельзя, надо сократить, сюжет сделать более острым, может быть, ввести для этого в роман новое действующее лицо, может быть, благородного русского, обман, везде обман, и что глупо — никому не нужный обман.

В московских литературных кругах, и не только в тех, которые заворожены Прустом, Джойсом, Хемингуэем, но и в более примитивных, установилось презрительное отношение к собратьям — писателям советского Востока. Распространяются анекдоты, вроде таких: переводчик читает автору свой перевод. Когда переводчик, закуривая сигарету, на миг прерывает чтение, взволнованный автор просит: "Читай, весь дрожу, весь дрожу, интересно, что дальше будет".

И действительно, чтобы угодить государственному (и русскому читательскому) вкусу, переводчику часто приходится быть соавтором: начинать текст броскими деталями, усложнять (мнимо усложнять) характеры, порою изменять фабулу, убирать длинноты. Но на языке подлинника эти длинноты и не длинноты вовсе, в них-то, может быть, заключается вся прелесть, а не в сложных характерах и мелких деталях. Самоуверенный переводчик смотрит на восточный подлинник свысока, в своем ложном превосходстве не понимая, что художественная мысль Востока развивалась иначе, чем, скажем, русская или английская, по иным законам мышления. Станислав Юрьевич вспомнил замечательное в своем роде высказывание Хакима Азадаева о русской классике. Разговор происходил незадолго до войны. Переводчик рассуждал о печальном отставании гушанской прозы от достижений современной литературы, от современных понятий. Хаким соглашался, глаза его добродушно, покорно улыбались сквозь очки, он заметил по-гушански:

— Русская классика великая, нам надо у нее учиться, как шакирдам в медресе. Я это понимаю, очень жалею, что плохо знаю русский язык. Но у нас, на Востоке, тоже есть классика, тоже великая. Мой мальчик Мансур прочел мне рассказ Ивана Тургенева (Хаким произносил "Тюргенева"). Называется "Муму" (Хаким произносил "Мымы"). Конечно, это великая классика, но кто главный герой рассказа? Собака! Собака!

Чтобы Бодорскому было понятней его негодование, он перевел по-русски: "Собак!" Все многовековое презрение к нечистому животному, к псу, идущее из мусульманских глубин, слышалось в словах старого гушанского писателя.

– Собака! И немой! У нас тоже есть классика – народные сказания, Фирдауси, Джалаледдин Руми, Умар Хайям, Низами, Физули. Какие величественные произведения, какие мудрые, красивые мысли, какие герои – цари, могучие воины, философы, красноречивые влюбленные. А тут – Мымы! Собак! И немой! Конечно, мы отсталые, нам надо учиться у русской классики, кто с этим спорит, но и свое забывать не надо. Собак! Немой! Трудно, ой, как трудно понять.

Не прост, не прост был Хаким Азадаев. А самоуверенный переводчик убежден: раз народы советского Востока перешли от феодализма к социализму, минуя капитализм, то и литературы их, минуя промежуточные стадии, должны перейти от фольклора и одической высоты к реализму и к его вершине – социалистическому реализму. Не понимает самоуверенный, что на Востоке есть, может быть, другой реализм, рожденный иначе, чем наш, нам чуждый, но свойственный именно Востоку, хотя и не одинаковый на Ближнем, Среднем и Дальнем. А переводчик-варвар, переводчик костоправ ломает саму душу подлинника на общесоветский пошиб, и редакционные дамы в восторге, и автор большей частью доволен: русским нравится, он даже сталинскую премию может получить. Доволен и переводчик, ему недурно заплатили, и со всех сторон он слышит: Это все ты сделал, разве не понимаем!” А что они понимают, невежды!

Вот и поэма Ибрая Рахметова. Полуобразованный столичный стихотворец, или, того хуже, темный, как сапог, едва раскумекавший, что к чему, прочтя не шибко грамотный подстрочник, с важностью ужаснется: “Ну и работка мне досталась!” Между тем, если бы сделали перевод на гушанский язык его собственных опусов, то гушаны остолбенели бы от несуразностей, от грубого письма, от примитивного мышления. Но стихотворец этого не знает, даже не догадывается, он ведь полуобразованный, и потому самоуверенный. Кроме того, признаемся, подстрочный перевод с гушанского, весьма неуклюжий, дает ему некоторые основания для надменности.

Поэма Ибрая Рахметова рассказывает о том, что уже набило оскомины. Солдат возвращается из Германии через год после победы: он остался служить в штабсбатальоне, овладел профессиями каменщика и плотника; родной дом разрушен немцами, родители нашли приют у соседей; одноклассница, в которую он был влюблен и которая писала ему письма на фронт, не дождалась его, вышла замуж за другого; солдат пьет запоем; парторг, прошедший, как и он, всю войну, в задушевной беседе наставляет солдата на путь истинный, пробуждает в нем лучшие чувства; фронтовик, с помощью колхоза, отстраивает родной дом, поселяется там вместе с родителями; вскоре находит хорошую девушку; апофеоз – свадьба.

С какой чванливостью отнесся бы какой-нибудь темный Башашкин к трафаретному сюжету, не заметив, что сюжет для автора не важен, ибо все сюжеты давно известны, что автор влюблен в обычаи родного народа, видя в них самоутверждение народа, в его песни, которые он по-своему перевоссоздал, не заметит Башашкин, не читающий

по-гушански, что стих удивительно изящен, певуч, что прекрасны и умны пословицы, вроде: "В год, обильный росой, будь спокоен", или: "Убери от нас свое зло, а твоего добра мы не хотим". Нет, вовсе не слабосилен Ибрай Рахметов, как полагает остроумный Мансур, который как-то сказал: "У гушанов нет рифмы, как нет пуговиц на бурке. Но переводить гушанские стихи без рифмы – все равно, что шить шинель без пуговиц". Фраза броская, но бессмысленная. Шинель, кстати, порою шьется без пуговиц, на крючках, а кроме того, переводим же мы Илиаду или Одиссею, Горация или Вергилия без рифм, почему же поступать иначе с литературами Востока? Потому что Мансур прав правотой раба: древние греки и римляне не нуждались в одобрении Москвы, а теперь гушанским писателям необходимо, чтобы их поняла и одобрила Москва, а тогда одобрит и свое, республиканское правительство, а, значит, и им, гушанским писателям, будет хорошо.

На другой день, когда Станислав Юрьевич мысленно составлял план переложения аздаевских "Цепей", чтобы заранее договориться с автором обо всех возможных изменениях и сокращениях, телефонный звонок позвал его к Парвизову. Станислав Юрьевич пошел через парк, тенистый, длинный, доходивший до самых предгорий. Вдоль окружности того круга, в который вливались три аллеи, где на скамейках сидели горбоносые старики и в песке играли дети, возвышались, вылепленные неумелой, ремесленной рукой, бюсты великих людей недавнего прошлого. Некоторые постаменты были обезглавлены, Станислав Юрьевич понял, что убрали знаменитых тавларов, а замену им пока не нашли. В эполетах подполковника царской службы белел на фоне ветвистых деревьев знатный гушан, князь Исмаил-Бей, основатель парка. Этот просветитель когда-то высказал нужные теперь слова: "Благоразумие предков наших, которых иметь нам любезно, советовало нам жить под защитой великой России". Не за такие ли слова его убила внезапная пуля правоверного, выпущенная из-за скалы?

Когда Станислав Юрьевич, немного не дойдя до здания театра, свернул направо, чтобы, покинув парк, пересечь огромную площадь перед полукружьем правительственного здания, неожиданно к нему подошла из-за табачного киоска молодая высокая женщина в черном. Она сказала:

– Здравствуй. Куда утром идешь?

– В обком меня вызвали, – улыбнулся Станислав Юрьевич.

– Потом по обкомам ходить будешь. Сиди дома, мои стихи переводи.

Это была та самая женщина, которая выносила из кухни в столовую блюда, когда Станислав Юрьевич ужинал у Аздаева. Ей было девятнадцать лет, ее звали Мухаббат Хизриева. Мансур рассказал ее историю. Она была из его аула, значит, по гушанским понятиям, считалась родственницей их семьи. Семнадцати лет она вышла замуж за учителя аульной школы и сама, кончив десятилетку, преподавала в младших классах. Только недавно она перестала кормить грудью своего первенца. Она была, как мог заметить Станислав Юрьевич, дурно сложена, при



худобе – кривоватые толстые ноги, но румянец на смуглом лице, большие выразительные глаза и превосходные белые зубы делали ее привлекательной. Она сочиняла стихи, несколько из них были напечатаны в гушанской комсомольской газете, ее пригласили в Гугирд на совещание молодых писателей. Может быть, она еще не созрела для участия в таком совещании, но у гушанов была только одна поэтесса, член союза писателей, надо было растить новые женские кадры в творческих организациях, этого требовала Москва. Муж не пустил Муххабат в город. Она настаивала на своем. Муж обозвал ее плохим русским словом и крепко избил. Она убежала ночью из аула и на попутных грузовых машинах добралась до Гугирда. Азадаевская семья ее приютила. Мансур попросил Станислава Юрьевича помочь молодой горянке, перевести ее стихи, Станислав Юрьевич, пожалев ее, согласился, но никак не мог взяться за перевод, подлинник состоял из прописных газетных истин, ни одной живой строки.

О совещании молодых писателей, которое собралось незадолго до приезда в Гугирд Станислава Юрьевича, Мансур рассказывал с беззвучным смехом, раскачиваясь и щуя жуликоватый глаз. Совещанию придавалось большое значение, хотели перед декадой найти свежие, неиспорченные таланты. Сам Парвизов сидел в президиуме. Докладывал Муртазалиев, в облике которого смешались восточный базарный плут и провинциальный сыщик:

– Всего приглашено двадцать шесть человек, среди них восемнадцать работают в сельской местности, восемь – в городе. Все члены ленинского комсомола. Женщин пока одна. Рабочих пока один. Прозаиков пока один. Столько-то колхозников, столько-то служащих, столько-то учителей. Один артист. Не приехало трое, из них двое по уважительной причине: один болеет, есть справка врача, у другого умер отец, есть справка. Третий тоже не приехал.

– Почему? – раздраженно спросил Парвизов.

– Сидит.

– Где сидит? Как сидит?

– В тюрьме-тюрьме сидит. Крепко сидит.

– За что сидит?

– Кровника зарезал...

Обкомовский страж встретил Станислава Юрьевича как доброго знакомого, бессмертная Алевтина ему милостиво улыбнулась, в распахнутое окно приемной вливался разгорающийся летний день, освещающая несколько важных лиц республиканской номенклатуры, Алевтина, не спросив хозяина, заранее уверенная в одобрении, впустила его в кабинет, и Парвизов двинулся ему навстречу, обвораживая. Едва Бодорский начал: "Я внимательно ознакомился с "Цепями" Азадаева и поэмой Ибрая Рахметова, вы, Даниял Заурович, можете быть спокойны...", как Парвизов весело оборвал его:

– Правильно поступаешь, обращаясь ко мне при людях на "вы", иначе нас в республике не поймут, но с глазу на глаз и у меня дома говори мне по-прежнему "ты", как в наши студенческие годы. Тебе

известно, что я прогнал из Гугирда присланного Москвой Башашкина?

– Неизвестно. Какого Башашкина?

Восточный (да и советский, происшедший от восточного) этикет требовал, чтобы такую новость Бодорский услышал впервые из уст первого секретаря. Рассказав о том, что Бодорский уже узнал от Жаматова и Мансура, глава республики добавил:

– Я позвонил Фадееву. Он мне сказал, что Башашкин охотнорядец, и что я хорошо сделал, выдворив его из Гугирда. Он громко хохотал, но я не понимаю: раз он так относится к Башашкину, почему же он прислал его нам? Командировка Башашкина была подписана Фадеевым. Видимо, это дело рук Муртазалиева, он бездарный, боится за свое место, ему нужен такой, как Башашкин, а у того, я думаю, есть покровители, они входят в силу. Между прочим, Муртазалиев тебя не любит. Фадеев по телефону подтвердил, что Капланов в Гугирд не приедет, обстановка сложилась так, что этому переводчику лучше работать, сидя в Москве. Я с Фадеевым согласен. Теперь я должен тебя поздравить. Фадеев мне сказал: "Во всем полагайся на Стасика Бодорского, он умница и талант, и человек честный".

Какой изумительный летний день в окне, как все удачно складывается! Бодорский стал советоваться с Парвизовым, хотя в совете не нуждался, все уже решил сам:

– Роман Хакима Азадаева сильный. Хотя он исторический, его, уверен, Москва примет хорошо. Но работы предстоит немало. Как ты думаешь, будет ли уместно, если введу в роман Измаил-Бей? Спрашиваю тебя как историка. Измаил-Бей воевал с Турцией, это сейчас в цене, принимал участие в переговорах по заключению Ясского мирного договора и, будучи русским патриотом, одновременно сетовал на то, что горские крестьяне находятся в совершенном унизительстве дворян и князей. Эффектно?

– Очень эффектно. Я знал, кому поручить перевод романа Хакима Азадаева.

– Теперь смотри, что у нас получается. Проза: объемный исторический роман Хакима Азадаева. Поэзия: поэма Мансура Азадаева о Сталине и поэма Ибрая Рахметова о послевоенной гушанской деревне. Вместе с несколькими сносными рассказами и десятком приличных стихотворений других авторов можно устроить декаду. В Москве лицом в грязь не ударим. А к тому же еще и концерт, ваши плясуны всех перепляшут.

– Перепляшем. Слушай, а не стал ли ты рупором местничества? Ты опираешься на Азадаевых и Рахметова, а они – из одного аула.

– Ты еще сильнее упрекнешь меня в местничестве, если я тебе скажу, что Муртазалиева надо убрать. Нельзя с таким председателем союза писателей ехать в Москву на декаду. Он дискредитирует республику своей бездарностью и безграмотностью. Подведет тебя. Ты представляешь себе этого зловредного комика, делающего доклад в Колонном зале?

– Докладывать все равно будет Жаматов. Кстати, доклад придется писать тебе. Но кого назначить вместо Муртазалиева? Уж не Хакима ли Азадаева?

Лицо Парвизова стало злым, старым. Резче обозначился калмыцкий разрез его карих глаз. Но Бодорский знал, что говорил:

– Хаким по возрасту не подходит. Нужен человек помоложе, конечно, партийный, но неглупый, литературно авторитетный.

– Значит, Мансур?

– Мансур слишком молод, только институт кончает.

Парвизов задумался. Действительно, от идиота-стукача Муртазалиева надо избавиться. Станислав честен, явно не поддерживает семью Азадаевых. Кого же?

– Что ты думаешь об Ибрае Рахметове?

Именно о нем думал Бодорский. Но надо было, чтобы имя Ибрая первым произнес Парвизов.

– По-моему, прекрасный выход из положения. Фронтвик, член партии, одаренный поэт, скромный, начитанный, не карьерист. Будет в Москве себя держать достойно, понравится.

– У него мать тавларка.

– Это помешает?

– Подумаем...

Из обкома Станислав Юрьевич направился к Азадаевым. Его наполнило острое счастье сознания собственной силы. Он, беспартийный, сверг одного председателя союза писателей и почти возвел на этот пост другого. Дверь ему открыла Мухаббат. Она спросила, не поздоровавшись:

– Принес переводы?

– Мухаббат, мы виделись с тобою всего лишь два часа назад, когда бы я мог успеть?

– Мог успеть. Запомни: такие стихи на полу не валяются.

Она принесла хинкал, чачу. Виноградная водка обожгла Станислава Юрьевича, подарила ему ясность, он нашел гушанские слова, чтобы убедить Хакима Азадаева в необходимости существенных изменений в романе, желательно, чтобы он внес эти изменения впоследствии в подлинник, при переиздании, таков совет друга, а друг это брат, не рожденный твоей матерью.

Старик слушал, кивал серебряной головой, поглаживал серебряную с мелкой чернью бородку, соглашался, но нельзя было понять, действительно ли он убежден советами Бодорского или покоряется неизбежному злу. Когда узнал о разговоре с Парвизовым, морщинистое, усталое его лицо внезапно порозовело, он гортанно крикнул:

– Мансур!

В дверях появился Мансур. Пришлось повторить рассказ. Мансур широко раскрыл оба глаза – жуликоватый и жестокий, черты асимметричного лица вдруг стали соразмерными:

– Станислав Юрьевич, вы, можно сказать, великое дело сделали, вы – второй Шамиль, но Шамиля царь победил, а вы победили Муртазалиева. От грязи нас избавили. Отцу стать председателем уже поздно, а мне

бедному дикому горцу, еще рано. Разрешите мне сказать Ибраю, что это я посоветовал Парвизову сделать Ибрая председателем. Пусть он всегда будет благодарен нам, Азадаевым.

Станислав Юрьевич ответил пословицей, – не столько потому, что она подходила к разговору, сколько потому, что неожиданно вспомнил ее по-гушански:

– Тот, у кого длинные рога, трется ими там, где ему удобно.

Старый Хаким обрадовался, пословица была редкая, и Станислав Юрьевич ее хорошо произнес. Мансур, раскачиваясь на стуле, беззвучно рассмеялся, пословица ему не понравилась.

Через неделю состоялось общее собрание гушанских писателей в бывшей парикмахерской. Муртазалиев попросил освободить его от обязанностей председателя – в связи с назначением на новый пост заведующего отделом культуры в редакции газеты. Председателем союза единогласно, по рекомендации обкома партии, избрали Ибрая Рахметова. В новое правление вошли отец и сын Азадаевы, оставили в нем и Муртазалиева.

Бывший председатель стал как-то меньше ростом, его лицо базарного плута превратилось в скомканное личико. Пришел день, когда он сдавал Ибраю Рахметову инвентарь союза – столы, стулья, диван, папки, сейф, библиотечку, машинку и секретаршу Беллу. Вдруг, словно черного котенка, взял он в руки вертушку без цифр на диске. Слезы выступили у него на жестяных глазах:

– Это прямой телефон, соединяет с обкомом. Сколько трудов мне стоило раздобыть его! Бери, Ибрай.

## Глава тринадцатая

Пишущий эти строки прожил достаточно долго для того, чтобы вслед за философом спросить: "Познал ли я самого себя?" – и ответить: "Мне ясно, что все мне не ясно". Но кое-что пишущий эти строки уяснил, а именно: он понял, что начисто лишен дара фантазии. Все, о чем здесь рассказывается, было на самом деле, ничего не придумано, и пусть вымышлены названия двух народов, – их судьбы не вымышлены, пусть персонажам даны другие имена, – персонажи существовали и существуют. Вот и сейчас пишущий эти строки, желая вывести новое лицо, дает ему вымышленное имя – Кирющенко.

Крепкого крестьянского сложения, рано и тотально облысевший, покорный и наглый солдат, он выдвинулся как убежденный и твердокаменный антисемит. Говорят, что на писательских партийных собраниях у всех замирало сердце от ужаса и рокового восторга, когда Кирющенко брал слово: он говорил, в отличие от официальной прессы, открыто, прямо, не таясь, чувствовалось, что он старается не только ради конъюнктуры, что он искренен. Если бы продолжала выходить газета "Фелькишер беобахтер", то она бы с удовольствием и удовлетворением помещала его речи на своих палаческих страницах. Был такой случай. Театральный критик Эммануил Абрамович Прилуцкий обвинялся на партийном собрании (после собрания, в ту же ночь, его арестовали и он навсегда исчез) в том, что, будучи во время войны редактором армейской газеты "Сыны Отчизны", устроил, в качестве вольнонаемной, свою жену на должность корректора. Прилуцкий, в страхе и смятении, как загнанная царскими охотниками газель, дрожа сообщил собранию, что его сын, мальчик шестнадцати лет, в порыве патриотизма, убежал из дому на фронт и был убит, жена перенесла тяжелое нервное потрясение, родных и близких у нее в Москве не было, и Прилуцкий взял ее к себе в редакцию, и когда он, Прилуцкий, находился на передовой, на избу, где помещалась редакция, упала случайная бомба, и жена вместе с другими сотрудниками погибла. В притихшем зале раздалось слова Кирющенкова:

– А сам дал круглая на передовую?

Другого критика, не театрального, но тоже коммуниста, посвятившего себя изучению творчества лучшего поэта советской эпохи, который кончил самоубийством, Кирющенко публично уничтожил лермонтовскими словами: "И вы не смаете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь", и при этом не скрывал, что черная кровь – еврейская. Кирющенко стал одним из руководителей союза писателей, получив сталинскую премию за поэму "Колхоз "Зеленое богатство". Пишущий эти строки ничего о поэме сказать не может, он ее не читал, и ни один из его знакомых не читал, видимо, читал Сталин, а теперь поэма бесспорно забыта даже государственной критикой. Сила Кирющенкова

заклучалась не в поэме, а в чем-то более существенном и, если прибегнуть к каламбуру, в органическом. По крайней мере, он всегда выступал и поступал так, как это нужно было органам. И как же был напуган упитанный воробышек Матвей Капланов, когда прошел слух, что руководить гушанской декадой в Москве союз писателей поручает Кирющенкоу!

На фронте красноармеец Матвей Капланов был ранен в живот, выжил, и, выжив, хотел жить, — сладко есть, модно одеваться, спать с женщинами. Собственные его стихи текли беспомощно, он их разумно перестал писать, а натура была артистическая, точнее и уже — актерская, он владел искусством перевоплощения, необходимым переводчику. Ему помогало и то, что, как и все его поколение, он не знал ни золотого, ни серебряного веков русской поэзии, был знаком только с текущей стихотворной литературой, считал ее действительно существующим явлением, это избавляло его от сомнений, его святая простота стала источником и залогом его искренности, а искренность в коммерческом переводе имеет стоимость. Поэма Мансура Азадаева оказалась для него находкой. Автор сочинял ее не для единоплеменников, а угождал московскому вкусу начальников литературы, и тем самым сильно облегчил задачу переводчика. У гушанов жанры разнствовали, как в средние века, не смешивались ода, басня, сатира, размышление, нравоучительное описание. Мансур Азадаев обладал природным нюхом, а годы, проведенные в Москве в Литературном институте, этот нюх обострили. Он понимал, чего надо русским советским читателям. Семидесятилетие со дня рождения Сталина он воспел устами старика-горца, мудрого и простодушного, много испытывавшего, любящего Сталина без ненужных сложностей, о врагах Сталина говорящего с неподдельным, глубоко народным гневом, о счастливой колхозной жизни — с неподдельным, глубоко народным весельем, понимая, однако, что шутовности должна быть хорошо рассчитанная мера. В противоположность национальной гушанской традиции, поэма сделалась сплавом одической торжественности и басенного смеха. Капланову оставалось убрать несколько несурзностей, повторений и немного подсветить колера, что ему всегда удавалось. Наверху поэма явно понравилась, даже в центральной партийной печати критика была хвалебная, но, увы, имя переводчика не упоминалось. Капланов и его друзья связывали это обстоятельство с одним неприятным событием. В "Комсомольской правде" Михаил Шолохов выступил со статьей, в которой ополчился на литераторов-евреев, печатавшихся под русскими псевдонимами. Среди такого рода презренных лиц был назван и Капланов, хотя его фамилия не была псевдонимом: писавшие заметку Шолохова ошиблись.

Капланов нервно улыбался: что-то будет? А должно было быть вот что: обсуждение произведений гушанских писателей. Этому предшествовали торжественное открытие декады в зале имени Чайковского, выступления участников на предприятиях в городе и в двух подмосковных совхозах, куда весело, с пением, ездили в автобусах, и потом — непременные банкеты после выступлений.

И было утро, и был девятый день декады: обсуждение. Обычно аппарат привлекал к такому мероприятию знаменитостей, чтобы оказать

внимание представителям малой литературы. Но знаменитости подвдрили, у них всегда возникали более выгодные обязанности, и состав обсудителей постепенно мельчал, обесцвечивался, так что в день обсуждения в конференц-зале собрались если и звезды, то даже не второй, а третьей и четвертой величины, да и то большей частью потухшие или потухающие. Вот они говорливым ульем расселись за длинным столом и на стульях вдоль стен, вот уже пришли и разложили свои бумаги и остро очиненные карандаши равнодушные стенографистки, ждали председательствующего, его место во главе стола оставалось свободным, — и кто же появился? Конечно, к ужасу Капланова, — он, Кирющенко. Поэт-лауреат приветливо улыбнулся трепетавшим гушанским писателям, поздоровался за руку с секретарем обкома по пропаганде Жаматовым. Гушанские писатели попытались было привстать, но Кирющенко скромно и небрежно их остановил.

Все пошло надлежащим порядком. Во вступительном слове Кирющенко охарактеризовал гушанскую декаду как большое событие в литературной жизни нашей многоязыковой родины, как новое проявление торжества ленинско-сталинской национальной политики, как новый мощный удар по космополитизму. Затем стал вызывать ораторов по заранее составленному и крупно напечатанному, чтобы легче было разобраться в нерусских фамилиях, списку. Выступавшие, кто научно, кто по-писательски свободно и образно хвалили объемный, многоплановый, масштабный роман Хакима Азадаева, в особенности — фигуру Измаил-Бея, и — достаточно почтительно — переводчика Бодорского, одобряли, с неперменными оговорками, других авторов, хвалили нужную современную поэму Ибрая Рахметова и переводчика Бодорского, восторгались поэмой о Сталине, ее автор, Мансур Азадаев подкупал всех своей молодостью, непосредственностью, остроумием, асимметричным лицом, с некоторыми обсудителями он, учась в Москве, успел познакомиться раньше, и они не раз имели возможность оценить его щедрость выпивохи. Переводчика-Капланова не упоминали, как будто Мансур писал по-русски. Попросил слова Лев Болдырев, не значившийся в списках выступающих, угрюмый неудачник, бездарный даже по советским понятиям. Держа в дрожащей руке алкоголика московское издание поэмы Мансура, он цитировал, сценически содрогаясь, якобы неуклюжие, даже и не шибко грамотные строки перевода. Слушали его в настороженной и чем-то завораживающей тишине. Когда он закончил речь и с надменностью обиженного, но верного слуги направился от стенографисток к своему месту, ему неожиданно и в неположенное для председательствующего время возразил Кирющенко:

— Оратор выступил против Капланова плохо оснащенным. Он вооружился нестреляющим оружием. Капланова скорее можно упрекнуть в изысканности, противоречащей народности, нежели в небрежности. Хотелось бы от перевода большей близости к языку горского крестьянина, больше высокой простоты. Но и в этом виде перевод в целом заслуживает положительной оценки.

Что же произошло? Злобное выступление Болдырева легко объяснилось во время перерыва. Его собственные стихи недавно обругал критик Каплан, и в непрочно укрепленной голове Болдырева смешалось в одно Каплан и Капланов. Он решил отомстить. Это пустяк, важнее другое: почему еврея Капланова защитил Кирющенко, да еще после нашумевшей статейки Шолохова о псевдонимах? Пишущий эти строки не в состоянии ответить на этот вопрос, взволновавший присутствующих. Читателя этой главы огорошат еще большие неожиданности, которые останутся без ответа. Пишущий эти строки допускает, что и Кирющенко не чужды обычные чувства, что ему, старательному подражателю, возможно, понравился умелый перевод Капланова, человека столь незначительного, что и заступиться за него можно было без опасения, даже, наверно, нужно было заступиться, чтобы доказать свой интернационализм, тем более, что в переводе Капланова поэма понравилась наверху. Мансур Азадаев с подобающей сдержанностью упомянул в поэме о том, что во время войны Берия приезжал в республику, чтобы возглавить строительство оборонительного укрепленного пояса, Болдырев — дурак, с этим шутить нельзя.

Заключительный вечер декады состоялся в Колонном зале. В артистической стол был уставлен большими блюдами с бутербродами (колбаса полукопченая, ветчина, сыр), с пирожными, а также бутылками с минеральной и сладкой водой. Здесь была творческая дворня, но она была неоднородна, разбивалась на группы, соответственно месту, занимаемому при барине — Государстве. Самая знатная группа состояла из Фадеева, Парвизова, Надежды Григорьевны и министра культуры СССР. К этой группе никто не осмеливался приблизиться. Вокруг другой, тоже достаточно знатной, вокруг Кирющенкова, Жаматова, нескольких ответственных работников Цека и министерства культуры толпились наиболее влиятельные московские писатели. Газетчики фотографировали Хакима Азадаева. Переводчики беседовали со своими гушанскими братьями. Капланов ел пирожное. Он подумывал, не подойти ли ему к самой знатной группе и со столичной непринужденностью обратиться к Надежде Григорьевне: "Здравствуйте, тетя, я ваш племянник Мотя", но вовремя сам себя одернул. Кем-то в нужную минуту был подан знак, и дворня, уступая первые места тем, кому их надлежало уступить, двинулась двумя ручьями, слева и справа, в зал, в президентум.

Бывшее дворянское собрание сверкало. Те же колонны, что и когда-то, та же огромная, великолепная люстра империи, только лампы новые и челядь в зале новая, которая здесь, в отличие от прежних именитых посетителей, не отдыхала, не веселилась вольно, а продолжала дневную службу. Чиновники, знатные передовики производства, студенты из республик, учащиеся в Москве, слушатели всевозможных партийных школ и академий, работники издательств и аппарата союза писателей, — они пришли сюда не развлечения ради, а так, как равнодушные к религии приходят в церковь: это нужно, это принято. И только солдаты, отличники боевой и политической подготовки, которых нагнали сюда после трудных занятий, откровенно скучали, все свои надежды возлагая на объявленный в программе концерт. А некоторые из них спали.



Кирющенко вел литературную часть вечера неумело, без подъема, тяжело и малопонятно острил. Фадеев, сидевший с ним рядом, седой, красивый волк, с болезненно-набухшими, после недавнего запоя, глазами, втайне злобствовал. Он знал, что находится на краю бездны, что вот-вот свалится в яму черной сотни, по своей воле свалится, и находил жалкое утешение в сознании своего превосходства над более мощными, чем он, страшными силами. Но это превосходство того, кто терпит поражение. Выпуская на трибуну писателей, Кирющенко коверкал трудно произносимые фамилии. Один раз получилось совсем плохо: вместо "Юдаков" (казалось бы, такая простая фамилия), председательствующий произнес "юдофоб". По Фрейду, что ли? Фадеев громко, от души, по-детски расхохотался. Не выдержал и министр культуры СССР, улыбнулся. Оговорку председателя расслышали только в первых рядах, стали шушукаться, но большинство сидевших в зале не поняло причину фадеевского смеха и оживленно ожидало, что сейчас появится на трибуне сатирик. Эти ожидания как будто оправдывались, уж слишком нарочито растерянным было одноглазое, будто облитое чернилами лицо этого Юдакова, пишущего по-гушански горского еврея, уж слишком комически нудно он извинялся в том, что не имеет стихов и не может ничем порадовать москвичей, кроме как пересказом своей повести для детей старшего возраста. Пересказывал он долго, и вдруг поняв, что наскучил публике, воодушевленно провозгласил здравицу в честь Сталина и старшего брата – великого русского народа, и сорвал большой аплодисмент. Зато от души хлопали Мансуру.

– Этот зал, – так он начал, выгодно используя свою ломаную русскую речь, закрыв жестокий глаз и шуря жуликоватый, отчего его лицо стало еще более асимметричным, – этот зал слушал Максима Горького и Маяковского, слушает Александра Фадеева, почему же сюда допустили меня, дикого горца? Я думал: из-за моего большого таланта, но потом понял, что для этого есть другие причины. Во-первых, наша национальная политика. (Оживление в президиуме и в зале, аплодисменты.) Во-вторых, потому что руководство нашей республики решило показать москвичам очень красивого гушана. (Хохот. Радостные аплодисменты.) В-третьих, потому что я очень хорошо говорю по-русски. (Хохот и аплодисменты переходят в восторг.) Все же я свои стихи, несколько строчек, прочту на родном языке, а потом по-русски отрывок из моей поэмы прочтет мой друг и хороший переводчик Матвей Капланов.

Невысокий, толстенный Капланов сразу расположил к себе публику тем, что читал наизусть, внятно и уверенно. Жители колхоза обсуждают: что подарить Сталину к семидесятилетию со дня его рождения? Сельский умелец предложил смастерить трубку из янтаря: когда Сталин закурит, маленький огонек его спички озарит весь мир. (Аплодисменты прерывают стихотворца.) Мать-героиня сказала: "Трубку может подарить каждый народ, а надо такой подарок сделать, чтобы видно было, подарок – горский. Много отважных горцев знал наш народ, но никогда не было такого отважного и мудрого, такого великодушного, как Сталин. Поэтому пошлем ему, вечно молодому, папаху и белую бурку

горского джигита”. (Аплодисменты.) Но тут вставил свое тихое слово школьный учитель. Он был в стоптанных сапогах, в линялых военных брюках защитного цвета и в потертом черном пиджаке, на лацкане которого светилась одна-единственная потускневшая медаль (подробности, с трудом пропущенные редактором: слишком бедно одет учитель, слишком скромно награжден, собраты восхищались смелостью Мансура). Держа в руках книжку, учитель сказал: ”Смотрите, односельчане, на эту книгу. Ее ранила немецкая пуля, когда книга была у меня на груди, и книга меня защитила. Она спасла не только меня, она спасла весь мир от фашистской нечисти, эта книга, которую написал товарищ Сталин. Никакая пуля не способна ее убить, эта книга бессмертна. Ее, пробитую пулей, но бессмертную, мы и пошлем в подарок Сталину”.

Голос Капланова дрогнул. Колонный зал зарукоплескал, очарованный талантом и душевностью некрасивого, но такого остроумного гушана, самого молодого из выступающих. Фадеев, обернувшись (Мансур скромно сидел в четвертом ряду президиума), велел поэту встать и поклониться. Удача, удача!

Затем председательствующий вызвал на трибуну Ибрая Рахметова, затем — его переводчика Бодорского. Интеллигентный, не эстрадный стиль чтения не соответствовал содержанию стихов, Бодорского проводили аплодисментами приличными — но и только, Бодорский к этому привык, аплодисменты его не интересовали, к тому же он знал, что его наградили орденом ”Знак почета”, о чем завтра сообщат газеты, и завтра же он будет присутствовать на торжественном приеме участников декады в Кремле, на билете был указан и номер стола — тридцать первый. ”Может, и квартиру дадут, — подумал Станислав Юрьевич. — Не попросить ли Парвизова переговорить с Фадеевым? Впрочем, не надо”.

Концерт кончился поздно, и, когда Бодорский вышел из метро, осенняя ночь так тепло дышала, что, вместо того, чтобы пересесть в трамвай, он решил пойти пешком. У Елоховской церкви он свернул в темный кривой переулок. Он был взволнован, шептал стихи, которые сочинил вчера, которые были так далеки от гушанской пляски, от предстоящей награды, от правительственного приема. Квартира была пуста. Зажег свет, прочел на старинном письменном столике записку жены: ”Увезла Колю с приступом аппендицита в больницу”. Боже мой, как жалка его жизнь — с этим орденом, с этим завтрашним приемом в Кремле, с этим нищим сырым жильем, с этими всегда мокрыми обоями, блеск и нищета литературной куртизанки. Что будет с его дорогим мальчиком? Маша-дура не написала, в какую больницу его увезли. Он не мог заснуть.

Жена вернулась под утро. Операция, слава Богу, прошла успешно. Больница — в Лефортове, посетителей впускают ежедневно, от четырех до шести, но надо прийти пораньше, поговорить с главным врачом, чтобы Колю поместили в палату, он пока в операционной, в палатах мест нет, положат в коридоре.

И вот, после бессонной ночи, — районная больница, койки с больными в коридорах, вонь из уборных, в операционную не пускают,

труднодоступный главный врач, его полуобещание: "Оставлю на сутки в операционной, потом что-нибудь придумаем". С этим и покинул больницу, так и не повидав бедного мальчика.

В Кремль тогда нельзя было запросто попасть, Станислав Юрьевич, получив приглашение на прием, задумал, что придет часа за два, все осмотрит, но теперь, усталый, с головной болью от ночи без сна, он добрался на метро до Боровицких ворот почти к самому началу приема. Вот прошли уверенные в себе, довольные, известные дворовые люди (он не знал, кто именно, но понимал, что известные; а некоторые были ему знакомы), предъявил и он паспорт и плотный пригласительный билет часовому-чекисту, тот долго, враждебно вникал в оба документа и сказал: "Подождите", вошел в будку, позвонил по телефону. Станислав Юрьевич услышал:

– Тут несогласованность: в паспорте – Бодорский, в пригласительном – Бадорский, через "а".

Часовой выслушал ответ, вышел из будки, предложил: "Проходите". Бодорский по асфальтовой дорожке дошел до Ивановской площади, здесь его, как и прочих, остановили двое часовых. И эти мучительно медленно, поочередно, вчитывались в паспорт и пригласительный билет, перелистывали паспорт, подозрительно сверяли фотокарточку с лицом Бодорского. Другие приглашенные, ожидая своей минуты, настороженно молчали.

– Почему в паспорте Бодорский, а в пригласительном билете – Бадорский?

Бодорский вспыхнул:

– Спросите у того, кто выписывал билет.

Один из часовых, видимо, старший по званию, приказал другому отправиться с обоими документами во дворец. Положение Станислава Юрьевича было комическим и отчаянным. Ведь плюнуть, уйти назад тоже нельзя. Прочие приглашенные вручали свои документы и через несколько минут беспрепятственно проходили, нарочито не глядя на Бодорского. Наконец, вернулся часовой, сообщил:

– Велел пропустить.

Бодорский, в отвратительном настроении, оскорбленный и, как ему казалось, униженный, вошел, вслед за другими, в широкие двери дворца. Здесь опять двое часовых поочередно, с деловитой и важной неторопливостью вчитывались в оба документа, но без слов пропустили наверх. Когда царская лестница осталась позади, и Бодорский показал новому – и, видимо, последнему и главному – часовому раскрытый паспорт и билет, главный, не глядя на них, приветливо улыбнулся:

– Проходите, товарищ Бодорский.

Голова была в тумане, но боль, как будто, прошла. Справа виднелась громадная картина, Бодорский смутно вспоминал: "Что-то репинское, не то заседание Государственного совета, не то прием старейшин". Он вошел в Георгиевский зал. Молодой человек с необходимым лицом, в синем костюме, повел его к столу, который оказался близко от входа, усадил на предназначенное Бодорскому место, сел рядом. Будто

вырезанные с помощью лекала из одной синей бумаги, сидели, по обе стороны от каждого приглашенного, одинаковые молодые люди в синих костюмах. Бодорский оглянулся. Столы тремя бесконечными рядами уходили в сияющую даль, они образовали, как он потом узнал, букву "ш", перекладина буквы была в противоположном конце зала. А у дверей, параллельно этой перекладине, стояли два одиноких стола: его, тридцать первый, и следующий, по ту сторону дверей, наверно, тридцать второй. А двери вели в Грановитую палату.

Стол был щедрый. Вдоволь водки. За столом, вперемежку, четверо синих и четверо приглашенных. Каждый синий ухаживал за своим соседом, наполнял рюмку, придвигал закуску. Приглашенные не были друг другу представлены, молчали. Бодорский сидел лицом к выбеленной мелом стене, спиной к букве "ш". – Как прошла операция Коли? – спросил ближайший синий, предлагая Бодорскому хрустальную вазочку с зернистой икрой. Станислав Юрьевич, несколько удивившись, собирался ответить, но другой синий прервал его: – Прием начинается, пришли руководители партии и правительства. – Не понятно, как он узнал, что они пришли, но, действительно, раздались рукоплескания, все встали. Прошло минут десять и синий сказал: – Сейчас опять поднимемся, – тост за товарища Сталина. – И опять было непонятно, каким образом он узнал, что произносится тост, но опять все поднялись, гром потрясал стены Георгиевского зала. Рукоплескания, правда, не столь громокипящие, время от времени повторялись, значит, где-то там, за перекладиной буквы "ш", произносились другие тосты, но слов не было слышно. И, разумеется, никого из руководителей не было видно. Не видно и не слышно было и артистов, – московских и гушанских. Бодорский томился, скучал. Пить ему не хотелось. За ближайшим, тридцать вторым, столом громко и весело разговаривали, видимо, там все друг друга знали, и одного из них знал и Бодорский, то был популярный поэт-песенник, он рукой позвал Бодорского, показал глазами, – мол, есть у них за столом свободное место, Бодорский поднялся, но синий остановил его:

– Не положено.

– Мне надо в уборную, – рассердился Бодорский. Синий не перечил:

– Пойдемте.

Уборная была просторная, очень светлая, чистая, гораздо чище, чем районная больница. Бодорский прикидывал, как бы он ее перестроил себе под квартиру. Когда помыли руки, синий сказал:

– В Грановитой веселей, посвободней, там артисты сидят, ждут выхода своего, но водки им не дают, только вино сухое в ограниченном масштабе, чтобы концерт не сорвали. А в Георгиевском у нас сознание, что сидим в одном зале с руководителями.

Когда поднялись по лестнице, Бодорский остановился перед репинской картиной, но синий поторопил его:

– Скоро горячее принесут.

Опять уселись. В сущности, чем эти синие отличаются от художников, писателей, артистов? И те вырезаны, с помощью лекала, из одинаковой бумаги, и те двухмерны, и те неотличимы друг от друга.

Против Бодорского, спиной к стене, возвышался над другими худощавый, лысый старик, в превосходно сшитом костюме красновато-коричневого цвета, в галстук бабочкой. Он сильно захмелел, обнимал длинными руками двух синих, называл их "Петя", "Ваня". Опираясь на Петю и Ваню, он то и дело вскакивал, шумел нечленораздельной пьяной обидой. Петя и Ваня нежно его усаживали. Вот он чокнулся с ними, выпил, слеза выкатилась из его глаза, он снова вскочил, крикнул:

– Я – первый художник России! А меня посадили черт знает куда, черт знает с кем! Петя, Ваня, я люблю вас, приходите ко мне в мастерскую, выпьем, поговорим по душам.

Он стал блевать. Петя и Ваня осторожно, почтительно вывели его из Георгиевского зала. Спина его была в мелу. Бодорский спросил у своего синего:

– Кто это?

– Не знаете? Художник Иогансон. Обиделся. Его всегда сажают поближе.

– Что ждет его за такое поведение в Кремле?

Синий искренно удивился:

– Да ничего не ждет. Как можно, ведь он гость. Наподдал немного, с кем не бывает, русский человек, открытая душа. У нас так: завтра утром позвонит, забеспокоится, мол, простите, вел себя неподобающим образом, а мы: – Что вы, ничего такого не было, спасибо, что выбрали время, позвонили нам, приходите еще раз. – Нельзя человека травмировать.

Официант принес горячее: судак орли. Официант был в черном смокинге, но лицо у него и манера держаться были точно такими же, как у всех синих. Вслед за ним неожиданно появился Жаматов:

– Станислав Юрьевич, мы просим вас пересесть за другой стол.

Оба синих, между которыми сидел Бодорский, резко повернулись к Жаматову, но рядом с ним стоял новый синий, он кивнул головой. Жаматов повел Бодорского вперед, потом повернул к стене, противоположной входу, заговорил шепотом:

– Наш старик скучает, за его столом ни одного знакомого, Хаким, как вы знаете, по-русски плохо понимает, Даниял Заурович дал мне знак, чтобы я подошел к Хакиму, старик попросил: – Садись со мной, есть место. – Не могу, – отвечаю, – я сижу так, чтобы Даниял Заурович меня видел, а вдруг ему понадобится. – А старик: – Тогда пусть Бодорский сядет со мной, я спрашивать, он отвечать будет. – Я подумал, что надо уважить старика, договорился, разрешили. Теперь ваш стол номер 13. Товарища Сталина, всех руководителей увидите.

Тринадцатый стол (как странно, – переменились местами цифры: был 31-ый, стал 13-ый) стоял у стены, сбоку от перекладины буквы "ш", но сравнительно от нее недалеко. Хаким Азадаев, в папаше (он

редко ее снимал) и в новом бешмете, обрадовался, сказал по-гушански:

– Хорошо, что ты пришел, веселее будет, а то здесь застолье ведется не по-горски, чокаются, но молчат, невежливо пьют, а кто они – не знаю, и они меня не знают.

За тринадцатым столом тоже сидело между каждым приглашенным по одному синему, здесь Бодорский тоже никого не знал, кроме Хакима Азадаева, хотя смутно угадывал в соседях не то знаменитых кинодеятелей, не то ученых. Была и одна красотка средних лет с роскошными, светло-шоколадными плечами, она, кажется, улыбнулась Бодорскому, но ему было не до того, он жадно смотрел на властителей полумира, сидевших за перекладной буквы "ш". Посредине – Сталин, по обе стороны от него Молотов и Маленков, Каганович и Жданов, Микоян и Ворошилов. В конце перекладки – Андреев и скромный Берия в пенсне, а в другом конце – сияющий Парвизов. Пристально всматривался Бодорский в живые лица тех, кого с молодых лет знал по фотографиям. Но были ли их лица живыми? Не старались ли эти люди, чтобы их лица обезжизнили? Только Микояну и Кагановичу не удалось избавиться от непохожести, от изначального инородчества, и в некоторых чертах Микояна узнавал издали Бодорский черты своей матери-армянки.

То ли все они были небольшого роста, то ли так постарались, но Сталин не казался ниже других. От него исходил, лучился блеск величия и власти, богопоставленного самодержца, нимб, сияя, венчал его кавказскую голову. Бодорского поразило, что соратники вождя держались свободно, перешептывались, иногда улыбались. Сталин был как бы вне их, вне земного мира, явен, но скрыт, видим, но незрим. Он ни с кем не говорил, никто не осмеливался заговорить с ним. Перед вождем стояло что-то похожее на солдатскую флягу, пробка ее служила и рюмкой, Сталин иногда откупоривал флягу и наполнял пробку-рюмку. Бодорский не отрывал от него глаз. Да и все сотни глаз были устремлены к нему, к солнцу вселенной.

Каким образом почувствовали, что вождь пожелал сказать слово? Внезапная тишина, овладевшая залом, дотоле негромко, мерно гудящим, была такой же, неверно, какой была тишина накануне первого дня творенья. Голос Сталина оказался необычным: глуховатый, но порой неожиданно высокий:

– Я поднимаю тост, – начал не очень грамотно вождь, – за гушанскую интеллигенцию. Ни для кого не являются секретом заслуги гушанской интеллигенции в прошлом. Как известно, Карл Маркс назвал это прошлое золотым детством человечества. Именно в ту далекую эпоху сложились знаменитые во всем мире гушанские сказания...

И вдруг, когда Бодорский тихо переводил Хакиму Азадаеву слова Сталина, случилось нечто невероятное: Хаким Азадаев прервал речь вождя. Он встал и крикнул:

– Ура! Литературоведения умерла!

Все то, о чем он мечтал с юных, чистых лет, все то, что было высшим смыслом его жизни, все то, что не хотели признать натасканные, но

недальновидные литературоведы, эти самодовольные ученые невежды, все то, что составляло сердце, душу, разум его народа, теперь торжествовало свою долгожданную, трудную, но тем более великую победу. Сам Сталин, движущий семь планет мира, Каусар – райский источник мудрости и знания, утвердил, освятил своим нерушимым, подобным Каабе, словом важность гушанских сказаний, их право на первородство.

Синие, между которыми сидел старый писатель, не на шутку испугались: им влетит из-за этого болвана-чучмека. Они не поняли его выкрика, но самый выкрик, кощунственно прервавший выступление вождя, отрицательный глагол "умерла", привели их в бешенство, вызвали в них ожесточенную растерянность. Они схватили старика за руки, пытались его усадить. Вырезанные из синей бумаги, они, оказалось, обладали немалой силой: Бодорский потом увидел синяки на руках Азадаева. Но чем была их сила хищников перед высшей, одухотворенно направленной мощью слабого старика? Он вырвался из их звериных объятий, оттолкнул обоих синих и крикнул снова:

– Бирав, бирав! (Браво, браво!). Литературоведения умерла! Да здравствует наша отец товарищ Сталин! Нам не нужна свет ламп с потолка, у нас есть Сталин, он наш свет!

Звериные синие лапы с удесyтеренной свирепостью сжали кисти писателя, быстрым рывком прикрепили его к столу, но произошло такое, чего синие не могли предвидеть. Сталин встал. Весь Георгиевский зал поднялся из конца в конец. Сталин, держа в левой руке свою металлическую рюмочку, царственно-медленно, вдоль президиума пира, направился к тринадцатому столу. Когда он свернул к их ряду, Бодорский издали заметил его сафьяновые сапожки. Синих била мелкая дрожь, и она магически передавалась приглашенным. Приблизившись к тринадцатому столу, вождь остановился. Так как Бодорский был гораздо выше его ростом, то он заметил на макушке его густоволосой головы лысинку, похожую на небольшую католическую тонзуру. В янтарных глазах, как в остывающих желтых углях, волшебнo горели красные точки. Над твердым воротничком френча свисал индошачий мешочек. Правая рука безвольно, бесполезно висела. Низкий лоб и щербинки на подбородке отнюдь не мельчили лицо, в котором одновременно виделись черты венценосца, корсара и азиатского православного священника. Веки были слегка опущены, все его зрение, ниспадая, как бы сконцентрировалось в прямоугольном треугольнике носа, отчего лицо казалось надменным. В этом человеке воплотился рок, враждебный Провиденью, и он близко и страшно предстал перед Бодорским, – рок мирового правопорядка, рок народов и рок каждого человека – невинного младенца и грешного старца. Ни на кого не глядя, поставив на стол металлическую рюмочку, Сталин спросил у Азадаева:

– Как ваша фамилия?

– Азадаев мы есть, Азадаев.

– Я знаю, что вы Азадаев. Все трудящиеся Кавказа знают, что вы Азадаев. Но ведь это псевдоним. Как ваша настоящая фамилия?

– Шарматов мы есть, Шарматов.

– Джугашвили, будем знакомы. – И Сталин, взяв в левую руку рюмочку, чокнулся с Азадаевым и, по-прежнему ни на кого не глядя, излучая роковую власть, удалился.

В чем был смысл этого мгновенного происшествия? Пожелал ли Сталин показать исполнительным чекистам, что старик хороший и сердиться на него не надо? Таилась ли здесь другая, более широкая и важная идея, некий намек на что-то? Или Сталин играл, желая всех озадачить загадочным поступком, тем более загадочным, что никакого намека в нем не таилось? Или попросту Сталин захотел взглянуть поближе на знаменитого горского писателя, бывшего муллу, о котором ему рассказывали его кавказские соратники? Или ему запомнилась статейка Шолохова о псевдонимах, и он подумал, услышав выкрик Азадаева-Шарматова, что не только евреи Зиновьев и Каменев, но и Ленин, и он, Сталин, известны под псевдонимами? А ведь он просто перевел свою фамилию на русский язык, ее корень, Джуга, означает "сталь".

Пишущий эти строки не в силах проникнуть в суть происшедшего, он очевидец, а не ясновидец. Он увидел, рассказал, а размышлять не собирается, пусть поразмыслит читатель. К тому же на этом пиршестве возникла еще одна причина для размышлений, более серьезная. Почему при всеобщем гонении на народно-эпические поэмы Востока, вождь благосклонно выразился о гушанских сказаниях? Знал ли он об их родстве с греческими? Доложили ли ему о том, что, утверждая их первородство, Азадаев давно спорит со специалистами? Есть ли связь между словами вождя и событиями в Греции, с отрядами Белояниса? Над этим долго ломали головы идеологические аппаратчики, а мы ломать голову не будем, лучше, поздравив Бодорского с неожиданным эпическим успехом, расскажем о том, что произошло в Георгиевском зале позднее, хотя это не имеет прямого отношения к гушанской декаде. А, может быть, имеет?

Каким-то образом стало известно, что прием окончен; но подошел Жаматов, обнял по-горски Хакима Азадаева, назвал его беседу с вождем исторической, важной для всего гушанского народа, и сказал, что домой сейчас поедут только те, кто сидел после шестнадцатого стола, а им с Бодорским надо остаться, будет кино.

Воростепенная дворня покидала зал, с завистью оглядывая избранных оставшихся, которые неотступно, с рабьей гордостью, вперяли преданные глаза в руководителей, не смея к ним приблизиться. Несколько синих опускали перед эстрадой белое полотно. Официанты отодвинули к стене длинный стол президиума и ставили на него приборы, чистые тарелки, бутылки с других столов. Тарелки с недоеденной пищей уносились через двери слева от эстрады, по тому же проходу, по которому из Грановитой палаты проходили артисты. Отодвигались и другие столы, а стулья собирались и устанавливались рядами.

Руководители беседовали друг с другом, около некоторых из них стояли наиболее ценные слуги народа. Похожий на грека-лавочника, Жданов играл на пианино полонез Огинского. Сталин в державном



одиночестве сидел, не обращая внимания на соратников, на суетящихся вокруг него официантов, курил трубку. Около него, но не очень близко, стоял, как вкопанный, тупорылый Поскребышев. Все увидели: к Сталину подошел драматург Корнейчук. Они о чем-то весьма недолго поговорили, и Корнейчук, явно ошеломленный, убитый, сразу скособоченный, попятился назад. От кучки слуг отделился писатель Павленко, единственный, говорят, писатель, входящий в дом к Сталину. Иные его называли Правленко, более злые – Подленко. Но не надо злословить: вскоре после этого приема, он, еще не старый, скончался, и теперь прочно забыт вместе со своими семьей или восемью сталинскими премиями. Он прошел мимо Бодорского и Азадаева, поздоровался с ними за руку.

– Что произошло? – осмелился спросить Бодорский. Он как-то ездил с Павленко на какие-то торжества в одну из средне-азиатских республик, и между ними установились не совсем официальные отношения. Павленко, по обыкновению моргая глазами, характерной скороговоркой с удовольствием сообщил:

– Корнейчук спросил у Иосифа Виссарионовича: – Товарищ Сталин, как вам понравилась моя пьеса? – Неглупый, вроде, человек, опытный, а такое сморозил. Сталин рассердился: – Какая пьеса? – Корнейчук сразу понял, что попал в омут, но уже было поздно. – Вчера вы ее смотрели, в Малом театре, газеты сообщили. – Вы плохо пишете, Корнейчук, – сказал Иосиф Виссарионович, – вы пишете пьесы-однодневки.

Павленко еще быстрее заморгал глазами. – Бежать, бежать, – той же скороговоркой посоветовал он себе и всем и заторопился вглубь зала. Все продолжали вперять глаза. Корнейчук приник к длинному столу, на котором стояли недопитые бутылки, налил себе полный стакан водки, осушил его, не закусывая, и, подперев локтем голову, запел, раскрыв порочные красные губы:

– А попереду Сагайдачный...

Министр культуры, служивший, очевидно, и церемониймейстером кремлевского двора, стал посередине между Сталиным и гостями, и громко сказал:

– Товарищ Сталин, как он поет, разве так спивают украинские песни? – Министр был украинского происхождения.

Наступило странное, явно слышное молчание. Поскребышев, всегда угадывавший желания Сталина, приблизился к нему с дешевой пепельницей, какие бывают в кабинете любого незначительного начальника. Опростав трубку, Сталин сказал министру, на него не глядя:

– Он, по-моему, неплохо поет украинские песни, а иногда и неплохо пишет. А ты не поешь и не пишешь.

”Все от него: паденье и величье”, – вспомнил Бодорский строку древнего восточного поэта. Между тем, опять по чьему-то мановению, руководители и гости уселись за рядом ряд. Первый ряд почему-то целиком заполнили синие. Крайним во втором ряду, у самого прохода, сидел Каганович, около него – Сталин, далее Берия, Маленков, Молотов и прочие. Свет погас. На полотне начался фильм ”Волга-Волга”.

Примерно в середине фильма послышался голос Сталина, веселый, высокий:

— Сейчас он упадет в воду.

И действительно, Игорь Ильинский свалился с палубы в воду. Сталин в каком-то неистовстве стал бить Кагановича по коленке. Когда фильм окончился и зажегся в зале свет, Сталин сказал, ни к кому не обращаясь:

— Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно.

Намек прозрачный. Стали расходиться.

## Глава четырнадцатая

Восемь лет прошло с тех пор, как тавларские семейства были выброшены из скотского вагона на полупустынную землю колхоза имени Меча Революции. Жизнь их была нища, но мало чем отличалась от жизни других колхозников, высланных и местных. После войны пригнали в Меч Революции новых немцев, на этот раз не петербургских, а колонистов из Одесской области, бежавших в обозе разгромленных гитлеровцев и уже на пороге разбитого рейха перехваченных советскими властями. Эти немецкие крестьяне и здесь, как на родине, в одесской степи, что называется, вкалывали, – живой укор тавларам, работавшим неохотно, но и прилежные бауэры жили не лучше других: Алим Сафарову запомнилось: он вошел по какому-то поводу в кибитку, где жила немецкая семья, и увидел: спиной к нему немка скребла глиняный пол, ее некрасивые, прямые, тоненькие, как палочки, но устойчивые ноги были заголены, на топчане стоял большой мешок заработанной муки, и женщина скребла пол с таким тщанием, как будто этот пол был фамильным серебром.

Алиму так и не удалось поступить в художественное училище, зато, когда он окончил среднюю неполную школу, комендант послал его в райцентр на курсы счетоводов, а счетовод в колхозе лицо заметное. Известно, что у нас человек живет тем лучше, чем дальше он находится от настоящей работы, от настоящего дела, и чем ближе – к делу мнимому или мало нужному. Короче, Алим Сафаров и его мать, звеньевая Фатима, не голодали, у них на зиму была одежда для тела и кизяк для печи, только не было у них кавказских гор, орехового дерева перед домом, колокольчика на скале и родника под скалой, не было родины и свободы.

С тюльпанами, раненными прямо в грудь, с теплыми ветрами шла по казахской степи двадцать первая весна Алима. Не очень высокого роста, он был ладно сложен, его удлиненное, породистое лицо с черкесскими усиками привлекало девушек, выросших в изгнании, но с тавларками крутить нельзя было, на них следовало жениться, и Алим время от времени находил себе подруг среди других национальных групп Меча Революции. Узнав женщин, он еще не узнал любви. Влечение к живописи как рукой сняло, им овладела новая страсть: после работы в конторе он сочинял рассказы, записывал по разному поводу разные соображения, посвящая бесполезному, но любимому занятию длинные колхозные вечера, и не раз бывало так, что свиданию с женщиной он предпочитал беседу с бумагой. Он прочел все книги (кроме иностранных), принадлежащие Николаю Леопольдовичу, даже узко специальные, по истории и лингвистике Востока. После гибели Кобенкова под трактором Аталыкова (Аталыков так и не вернулся с каторги), новый

комендант открыл для населения клуб, велел приобрести библиотеку, удалось достать в столичном алма-атинском коллекторе толстые одномники Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Чехова, пьесы Островского, трилогию Горького, несколько повестей Толстого, стихи Абая на казахском языке, "Оливера Твиста", изданного для детей. Алим не просто читал, — он пил эти книги, каждая фраза была для него как сладчайший глоток воды для путника, нашедшего в пустыне ключ. Он научился понимать радость брачующихся русских слов. Ему нравились картины "Тихого Дона", другие советские романы казались ему плоскими, утомительными доказательствами ходячих прописей, впрочем, лучшие были ему неизвестны, в колхозной библиотеке их не было. После доклада Жданова он захотел прочесть Зоценку и Ахматову, он о них раньше не слышал, но их сочинения не достигли Меча Революции.

Работа в конторе была для Алима гнетущей обязанностью, женщины — краткой телесной потребностью, чтение — упоительным счастьем. Кавказский изгнанник, он знал кавказские поэмы и повести русских гениев наизусть, не только стихи, но и всего "Героя нашего времени", "Казакон", "Хаджи-Мурата", "Кавказского пленника". Жилин и Костылин попали в плен к горцам, говорящим по-тюркски, Толстой поэтому называл горцев татарами, но Алим узнал в них кумыков, очень близких тавларам по языку и обычаям. Таких девушек, как Дина, он видел ежедневно здесь, в азиатском изгнании, это имя было сокращенным от "Мадина" — так назывался тот арабский город, куда, в ночь на 26 июля 622 года, по европейскому календарю, пророк бежал из Мекки: с этой ночи начинается мусульманское летоисчисление. Последовавшие за Мухаммедом в Мадину стали называться мухаджирами, переселенцами, а они, тавлары, — спецпереселенцы, спецмухаджиры, но не пророк повел их за собой.

Алим преклонялся перед божественностью толстовского света, перед тем человеком, который проник в сокровенные чувства горцев, в их способность мыслить, страдать, понимать честь и безнравственность. Пушкин и Лермонтов казались ему демиургами. Эти русские писали о Кавказе так, как не сумел написать ни один кавказец, жизнь из слов создавал не только их гений, создавало и их знание кавказской земли, кавказской души, уклада, характера каждого племени, сложных взаимоотношений между членами семьи и рода. Почему эти русские дворяне, из которых двое были офицерами, покорявшими Кавказ, так полюбили горцев, с такой страстью, с такой отвагой первооткрывателей предприняли путешествие вглубь человека, открыли в горце человека, а нынешние русские дети рабочих и крестьян презируют горского крестьянина, называют его чучмеком, чернозадым, а калмыков и казахов — узкоплечными? Почему граф, камер-юнкер императорского двора, поручик — внук богатой помещицы — поняли трагедию Хаджи-Мурата и Тазита, дикую прелесть Дины и Бэлы, а дети русского трудового народа их за людей не считают?

Выходит, что старая Россия, дворянская Россия, была благородней и добрее нынешней, выходит, что в той, а не в этой жило человеколюбие, светилось тепло равенства и братства, не та, а эта вычеркнула несколько народов из списка человечества. А кавказцы, случайно не вычеркнутые из этого списка, заразились от своих темных господ их звериной темнотой, и вот уже сынок гушана Хакима Азадаева, входящий в славу Мансур, называет в стихах, опубликованных по-русски в Москве, бесстрашного Шамиля "тавларским волком, чеченской змеей". Почему? Ведь Шамиль не был ни тавларом, ни чеченцем, он был аварцем, и не тавлары воевали под его водительством с Россией, а гушаны. Да и какое это имеет значение, он, Алим, здесь невольно вторит ничтожному Мансору, если бы даже воевали тавлары с Россией, то почему Шамиль – тавларский волк? Только потому, что тавларов выслали? Но ведь могли выслать и гушанов. В чем же дело? А в том, что Мансур – раб, раб рабов, каждой жилочкой раб, этот продажный кавказец, торговец пафосом и изготовитель напыщенных слов. Вся суть в том, что Лермонтов не был рабом, у него была богоданная свобода, он писал:

"Как я люблю твои бури, Кавказ!.. Одинокое дерево, ветром нагнутое, иль виноградник, шумевший в ущелье... Выстрел нежданный и страх после выстрела: враг ли коварный иль просто охотник... все, все в этом крае прекрасно. Воздух так чист, как молитва ребенка; люди, как вольные птицы, живут беззаботно; война их стихия".

Даже страх после выстрела полюбил Лермонтов на Кавказе, потому что там была воля, а война была стихией. А Мансору не нужна воля, огонь страха не только сжигает его изнутри, но и светит ему на скользком пути к удаче. А пророк учит не бояться: "Если тебе посоветуют: "Не выступай в зной", – скажи: "Огонь геенны более зноен". Мансур, наверно, не верит ни в пророка, ни в геенну. А Лермонтов верил: "Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили".

Пишущему эти строки (не будем тратить время на объяснение, почему именно ему) Алим Сафаров прислал из Меча Революции рассказик. Оказалось, что рассказик непосредственно связан с нашим повествованием. Вот он:

## Кучиевы

Когда-то местные остряки говорили, что в нашей республике, в основном, обитают гушаны, тавлары и Кучиевы. Действительно, не было тавларского селения, в котором не жили бы две-три семьи Кучиевых. Есть песни о знаменитых Кучиевых, один был абреком, раздававшим награбленное имущество бедным, другой – искусным каменщиком, строившим в древности башни, третий – писавшим по-персидски придворным поэтом при карабахском правителе, четвертый – партизаном, любимцем Кирова. Но большинство Кучиевых – простые крестьяне. Моя мать – Кучиева. Мой двоюродный брат, получивший на войне звание героя Советского Союза, – Кучиев. Наш сосед, плотник, – тоже

Кучиев. Это не совсем однофамильцы, это крестьянский род, и все Кучиевы осознают себя сородичами. Поскольку моя мать – Кучиева, то и меня считают принадлежащим к этому роду. Настоящая фамилия Мусаиба Кагарского – Ашагов, но и его Кучиевы с гордостью признают своим, потому что Разият, жена Мусаиба, – Кучиева.

Мусаиб Кагарский скончался, из Канта нам прислали вырезку из киргизской газеты, – некролог, а центральная печать никак не откликнулась на смерть поэта, чье имя так гремело. Даже Верховный Совет, как полагается в таких случаях, не известил о смерти своего депутата. Государство, как Аллах, слушает того, кто воздаст ему хвалу. Но Аллах слушает его всегда, а Государство, – пока ему выгодно.

Плотник Кучиев пришел к нам в дом, чтобы произнести саят-альджиназу – молитву за умершего поэта, свойственника Кучиевых. С поднятыми руками прочел он сначала первую суру Корана, потом – молитву за пророка, потом – моление о милости к умершему, потом – моление о милости ко всем, кто присутствовал при обряде. Все мы теперь невежественны в мусульманстве, но плотник Кучиев успел в первые годы после революции проучиться в медресе. Он неплохо зарабатывал, плотничал не только в колхозе, но – вечерами и в выходные дни – у соседей. Это был огромный пятидесятилетний мужчина, его большое тело постоянно нуждалось в пище, и приходя с работы, он уже на пороге кибитки кричал неожиданно для такого мощного тела высоким, почти девичьим голосом: "Жена, я голоден!" Первая его жена скончалась в пути, в скотском вагоне, он в то время был в армии, а когда вернулся, женился в Мече Революции на молодой женщине, тоже из рода Кучиевых. Она ему родила двух близнецов, мальчиков, одного отец назвал Марксом, другого Энгельсом. На дворе слышались крики: "Маркс, встань с горшка, дай место Энгельсу! Энгельс, утри сопли! Маркс, не вырывай ложку у Энгельса! Энгельс, розги захотел?"

Соседи смеялись, кто-то настучал коменданту, комендант рассердился, дал здоровенному, но покорному плотнику несколько оплеух и приказал изменить имена близнецов, выписал новые метрики: одного мальчика назвали Мирсаидом, другого – Энвером. Так в роду Кучиевых не стало ни Маркса, ни Энгельса.

Зимой 1952 года в нашей кибитке сделалось тесно: у нас поселились трое Кучиевых сразу, – Мурад, его жена Калерия Васильевна и их мальчик Вика, настоящий кавказский мальчик с глазами как сливы: сильна наша горская кровь!

Видимо, лагерные годы состарили Мурада, он казался ровесником своей жены, которая была на двенадцать лет старше его. У Мурада в лагере сохранился ее московский адрес, он послал ей письмо, письмо дошло, и она, вместо ответа, приехала сама, приехала с их сыном, которого записала Кучиевым. Долго не раздумывая, она бросила свою московскую комнату, московскую прописку, московскую больницу и приехала в ледяной Норильск к человеку, с которым не была расписана, да еще к заключенному. Калерия Васильевна устроилась вольнонаемным врачом. Учитывая прежнее геройское звание Мурада (которого его

лишили), лагерное начальство поручило ему выгодную работу – водить грузовую машину. Он был расконвоирован, что облегчало свидания с Калерией Васильевной, а иногда ему удавалось у нее заночевать. В Норильске ей пришлось сделать аборт, и так неудачно, что она утратила возможность рожать.

– Я ни о чем не жалею, даже о звании героя, – говорил нам Мурад, – потому что у меня есть Калерия. С такой женой мне всюду будет хорошо. Эта русская женщина родила мне сына и записала его Кучиевым, хотя уже знала, что тавлары высланы. Я ее позвал, – и она ко мне приехала, ко мне, из столицы нашей родины в Норильск.

Тавлары ему удивлялись. Говорили тавлары, что, хотя он и герой, но не горец, он, как репейник к обрыву, прирос к юбке этой русской женщины, которая, вдобавок, намного его старше. А он мог бы взять в жены молоденькую горянку, чьи груди еще до окна не доросли. Всякое говорили. Говорили, что Мурад поднимает ее на руки и опускает в постель, которую сам разбирает. Говорили (откуда это было известно?), что у нее после Мурада были другие мужчины, на фронте и в Москве, но он, забыв свою горскую честь, даже не попрекнул ее ни разу, а стоило бы прибить.

Я не раз думал: что такое горская честь? О ней поют в старых песнях, ею клянутся сейчас, но редко я обнаруживаю ее у наших горцев. Еще одно заблуждение: у нас создан изустный портрет горянки – добронравной, высоконравственной, красивой, работающей, но я успел заметить, что оригинал не всегда схож с портретом. Сколько я видел тавларок бранливых, сплетниц и нерях, и – при случае – изменявших мужьям. Калерия Васильевна, склонная к полноте, но быстрая на ногу, казалась мне ближе к изустному идеалу, чем иная горянка. Будучи хирургом, она у нас в колхозе, как единственный врач, лечила от всех болезней, а после работы стирала дома, стряпала, мыла, какая-то легкая при всех своих округлостях. Она была почтительна к молодому мужу, к моей матери, которую называла "тетя Фатима". Мы отгородились от них перегородкой, сделанной из ящиков, но никогда никакой возни не слышали по ночам у Кучиевых.

Мурад нам рассказывал, что там, в Норильске, однажды вызвали Калерию Васильевну на политбюро и предложили ей прекратить связь с заключенным. Тогда она крикнула: – Он мой муж, он отец моего мальчика! – Ей угрожали: – Положишь на стол партийный билет. – И она бросила на стол партийный билет, заплакала. Там тоже люди, ее ценили там, дело замяли, хотя членам партбюро могло за это влететь, – да еще в условиях Норильска.

О лагерных годах Мурад вспоминать не любил, разве что, когда выпивал под праздник. На вопросы отвечал: "Другим еще хуже было". Он у нас водил грузовую машину. В лагере он подружился с калмыком, чей народ, как и мы, был тоже выслан, калмык, – звали его Иван Санжиев, – ничего не знал о своей семье, он сидел давно, с тридцать восьмого года. Перед тем, как его забрали (он обвинялся в буржуазном национализме) Иван Санжиев, окончив Саратовский университет, работал

заведующим отдела калмыцкого обкома комсомола. В лагере он устроился неплохо: истопником в бане. Мурад пересказал нам один рассказ Санжиева, — рассказ, видимо, запал ему в душу. И мне запал в душу:

”После головокружения от успехов, — сообщил Санжиев, — у нас в республике остался только один хурул, храм, значит, в Яшкульском районе. Гелюнгом, по-нашему — священником, служил в храме старый человек, Бадма Очиров. Он учился в Тибете, в Лхассе, изучал богословие и медицину, лечил колхозников с помощью степных трав, не ел мяса, питался, главным образом, калмыцким чаем. Он пользовался большим уважением у жителей района, они приносили ему кумыс и борцьки, такие коржики. Жители придут, а он подует в дунг, в раковину, значит, и начинает молиться, а молитва красивая как песня. И в храме красиво, на стенах висят иконы, написанные на полотне яичными красками, стоят на полках бронзовые бурханы, большие и маленькие. Когда-то были в храме и золотые бурханы, идолы, если сказать по-русски, но старый Бадма Очиров, как только вышел соответствующий приказ, сдал их государству.

Вот меня вызывает как-то секретарь обкома комсомола, говорит: ”Поедешь в Яшкульский район, проверишь, что там творится в хуруле. Подлец-гелюнг Бадма Очиров отравляет народ. Завоевал вражок авторитет, надо дискредитировать его в глазах трудящихся”. Так говорит мне секретарь обкома, наш комсомольский вожак, и дает мне бурханчика шестирукого, объясняет: ”Учти, из чистого золота, ответишь”. Я, конечно, при моей тогдашней комсомольской хватке, понял намек.

Приезжаю в хурул. Встречает меня гелюнг, босой, полуголый. Он быстро надевает свою красную тогу. Худой, маленький, шея морщинистая, а глаза веселые, как у калмычонка. ”Мне, говорю, надо хурул осмотреть”. А он: ”Пойдем, сынок, пойдем, все люди верят в Будду, но не все это знают”. Иду я вслед за ним по пустому храму, по земляному полу, циновки скатаны, в углу сложены, ставлю незаметно на полку шестирукого бурханчика, спрашиваю: ”Откуда у вас культовое золото? Скрыли от государства?” Он мне спокойно, с веселой стариковской улыбкой отвечает: ”Сынок, в храме нет и листочка золота, все сдал государству, расписку получил с печатью”. ”А это?” — спрашиваю и сую ему золотого бурханчика. Ничего не сказал гелюнг, только посмотрел на меня, и мне показалось, что у него три глаза, как у карающего бога Шивы. А гелюнг стал молиться. На другой день его взяли за сокрытие золота от народа. А через несколько лет взяли и меня. Норильск тогда только строился, работал я на лесоповале. Вот иду я по снежному полю к другой бригаде, забыл — зачем, а навстречу мне человек. Носом чую, калмыцким нюхом, что это — калмык. Он в тряпки закутан, маленький, качается на зимнем ветру. Приближаемся друг к другу, вижу — и вправду калмык. ”Менде”, говорю, здравствуй, значит, а он мне: ”Кто ты? Из какой реки воду пил?” Отвечаю. А он: ”Иван Санжиев из обкома комсомола?” ”Иван Санжиев”. Тут он раскрыл рот, ни одного зуба во рту не осталось, и плюнул мне в лицо. Это был тот самый гелюнг, которого по моему доносу взяли. Соизволением Будды оба мы



оказались в одном лагере. Все люди верят в Будду, но не все это знают”.

Однажды, когда мы ужинали, к нам вошел сосед, плотник Кучиев, обрадовался: “Мне повезло, во второй раз ужинать буду”. Когда тавлары едят, они вошедшего в дом к столу не приглашают, это само собой разумеется. Плотник ел молча, относясь к приему пищи с необходимой серьезностью. Поев, он сказал:

– Отправляют меня на две недели в пустыню. Будем строить бараки. Говорят, евреев недалеко от нас поселяют.

Это сообщение нас не удивило, но непонятным образом взволновало. Разнообразные мысли овладевали нами. Мурад оживился:

– Может, с Авшалумовым здесь встретимся. Он тоже герой. Горский еврей.

Калерия Васильевна прижала к себе Вику. Голос ее дрожал:

– Что за несчастная страна, – всех сажают, всех высылают. Русских, немцев, кавказских горцев, калмыков, теперь евреев. Неужели нельзя жить нормально, работать, воспитывать детей. В тридцать седьмом арестовали моего отца. Он был беспартийным, работал начальником цеха на инструментальном заводе, политикой никогда не интересовался. Покойная мама, плача, объясняла: “Мы тебе не хотели говорить, твой дедушка был священником, его десять лет назад сослали на Соловки, там он пропал, погиб, наверно”. Я была поражена, и вот что странно: объяснение мамы тогда мне показалось разумным, убедительным. Раз сын священника, значит, надо арестовать. Наваждение какое-то!

Плотник Кучиев, поставив на блюде чашку верх дном, в знак того, что больше чаю не хочет, растопырил пальцы обеих рук на уровне щек и воскликнул своим высоким девичьим голосом:

– Ты образованная, Калерия, ты скажи мне, растолкуй, зачем я в эту партию на фронте вступил? Если я – авангард, то почему я здесь привязан, как к шести жеребенок, которого собираются сварить?

– И я не знаю, зачем на фронте в партию вступила. Нет, вру, знаю: думала, теперь я не дочь репрессированного, не внучка священника, не прокаженная, теперь я такая же, как другие, нет, лучше других. Гордилась, дура. Вот и терплю, хожу на собрания, руку поднимаю, слушаю болтовню, ложь, сама лгу.

Мне запомнилось еще одно посещение плотника. Это было в самом начале марта 1953 года. Каждый день дул ветер пустыни, бил песчинками в лицо. Плотник вошел к нам поздно вечером. В руках у него был инструмент. Мы поняли, что он чем-то встревожен. Он сказал:

– Я к вам прямо из клуба. Ремонтируем. Радио целый день слушаем. Сталин заболел.

Сталин заболел? Как может Сталин заболеть? Как может солнце погаснуть навсегда? Как может мир перевернуться? Как может земля сойти с ума? Утром я пошел в контору. Коменданта нет, все какие-то напуганные. То один, то другой тавлар забегают ко мне, спрашивают о том, о сем, но чувствую, – ни о том, и ни о сем хотят спросить.

И вот пришла весть. Показалось нам, что сердце слышит голос всемирного муэдзина, сзывающего с всемирного минарета все человечество на предрассветный намаз. Мы купили водки, собрались, сели за стол. Пришел и плотник Кучиев с женой и мальчишками-близнецами, бывшими Марксом и Энгельсом. Выпили. И вдруг Мурад запел. Он запел нашу старинную печальную песню:

Мы довольно терпели,  
Исходили слезами...

– Не так поешь! – крикнул плотник. – Не то поешь. Веселую пой!

И он пустился в пляс. Задрожали стены кибитки и пол. Плотник плясал горский танец на земле изгнания. Сначала его движения были медленными, важными. Как бы вообразив на себе длиннорукавную черкеску, он придерживал руками края рукавов пиджака. Потом выгнул руки так, что они образовали зигзаг горной дороги и, как столб ветра, завертелся на узком пространстве между столом и стенами. Мурад, со своей искалеченной ногой, плясать не мог, он только пел. Плотник, вместо обычных при пляске выкриков, кричал: – Подох! Подох! – Он схватил Калерию Васильевну, та, смеясь, отказывалась: "Не умею", но он заставил ее хотя бы подняться с места, он кружился вокруг нее и в счастливом безумии кричал:

– Подох! Подох! Мы, Кучиевы, живем и будем жить, а он, гурджи-станский пес, подох! Подох!

Кричал и я. Хмель счастья залил мою душу, душа моя звенела, пела, плясала.

## Глава пятнадцатая

Он был настолько стар, что уже не нуждался в близких и предпочитал одиночество, к которому привык давно. Когда-то он был очень силен. В те времена у него были две жены. Ему удалось ударить напавшего на него волка, и волк, обезумев от боли, от неожиданного удара, стал грызть одну из его ног, но он вырвался, убежал от волка, только с тех пор нога у него не переставала болеть, особенно в те дни, когда он поднимался наверх, к снежному насту. Он чувствовал, что наст режет ноги, и острее всего — больную, и он спускался вниз, к своим любимым плодам, к орехам, к листьям. Больше всего ему нравились болота в буковых лесах. Если болота не было, он вырывал на крутом северном склоне, под скалой, углубление среди камней, в которое стекала дождевая вода и куда он натаскивал мох, ветки, хвою. В жару он купал в этой грязи свое дряхлое тело или чесался о деревья и камни, и ему было приятно. Зимой, когда у сородичей начинался гон, и молодые секачи становились равнодушными к пище, ибо они были охвачены иной страстью, угрюмо и зло разыскивая стадо с самками и насмерть сражаясь со своими соперниками, он отдыхал в своей лежке среди кустарников, в мягкой куче стеблей и листьев, и вспоминал былые, жаркие годы. Летом, перед заходом солнца, он неспешно выходил на кормежку. Чем слабее становилось его тело, тем вкуснее делалась пища, он весело взрыхлял опушки и поляны. Иногда, задумавшись, он спускался вниз, к двуногим, выкапывал картофель в их огородах. Он чувствовал, что становится менее осторожным: то был признак старости.

Но он помнил, что с двуногими связываться опасно. У каждого зверя есть своя повадка. Повадки двуногих непостижимы. Это существа странные, коварные. Неизвестно, когда они сыты, когда у них бывает гон. В последнее время по горным дорогам стали рыскать чудовища. Они громко рычали, даже если вблизи не было добычи. Но ужасным было не их рычание, а другое: их чрева были наполнены двуногими. От этих разноцветных чудовищ дурно пахло. Когда они останавливались, двуногие выходили невредимыми из их чрева. Видимо, заглатывая двуногих, эти быстродвигающиеся, дурно пахнущие звери не в состоянии были их переварить. Двуногие держали в руках нечто странное и страшное: оно умерщвляло, не касаясь жертвы, издалека. К счастью, смерть настигала волков — давних недругов — или всякую мелкую тварь. Его сородичей двуногие умерщвляли редко, не трогали. Впрочем, он смутно понимал, что такое смерть, никогда не думал о том, что умрет.

Однажды, — это было в конце лета, когда земля в лесу пахла особенно сладко, а дикие яблоки, сливы и орехи были особенно вкусны, в горах появилось множество громко рычащих зверей. На этот раз все они были черноцветными. Из их чрева выскочили двуногие и окружили

поляну, на которой, за высокими зарослями, была его лежка. Он дремал, как дремлют все глубокие старики. Его разбудили голоса двуногих. Потом удлинлись руки двуногих и стали извергать огонь и гром. Он испугался, покинул лежку и побежал. Ему казалось, что он бежит быстро, но он бежал медленнее двуногих. Старая боль в ноге усилилась. Двуногие были всюду, справа и слева, и позади. А перед ним стоял черноцветный зверь. Он молчал, распространяя в лесу противную вонь. Около него виднелось несколько двуногих. Один из них был похож мордой на тех его сородичей, которые постоянно живут среди двуногих, там, где, огороженные, растут большие полосатые или золотистые плоды, каких нет в лесу, очень сладкие, ему как-то удалось попробовать. Этот похожий на его далеких, слабосильных сородичей двуногий удлинил свою руку. Что-то горячее, твердое вонзилось в его тело, пробив щетину. Гребень его, как в молодые годы, стал топорщиться, он приготовился к рывку, чтобы ударить двуногого своими еще крепкими клыками, но твердые, горячие куски железа впились в тело, и тело его лишилось дыхания, рухнуло на землю, и он не услышал, как двуногие сказали его убийце:

– Меткий удар, Никита Сергеевич! Этот кабан – самый опасный и сильный в стаде. Он был просто горем для высокогорных огородов. Наши колхозники будут вам благодарны.

Есть, значит, молодость в жилах! Хрущев был доволен охотой. Он вообще был доволен. Он приехал с Булганиным в эту кукурузосеющую республику, чтобы еще раз убедиться в преимуществе кукурузы перед остальными культурами и протолкнуть ее, преодолевая сопротивление инертных руководителей, далеко на север страны. Может быть, он и не приехал бы сюда, но они с Булганиным были поблизости, в Грузии, где ему пришлось примириться с продолжающимся, уже не государственным, а народным культом личности Сталина, пришлось клясться на всевозможных собраниях и заседаниях в верности памяти Сталина, а врать всегда противно. Здесь же, он хорошо знал, он найдет глубокое понимание, даже любовь, потому что он вернул тавларов на родину, восстановил Гушано-Тавларскую АССР, а тавлары ненавидят Сталина, и ему, Хрущеву, обязаны как бы вторым рождением.

Его с Булганиным поселили на местной правительственной даче, в предгорьях, в чудном уголке. Внизу шумела, пенилась речка Лапсе, наверху белели вершины гор, все постройки прятались в зелени вдали от дороги. Для высоких гостей был предназначен самый уютный домик, отражавшийся в зеленой воде пруда. В домике был бильярд, две многометровых ваннных комнаты, два туалета с биде, две спальни, два кабинета, каждый величиной в зал для многолюдных заседаний, обширная гостиная с телевизором, – там же и кино показывали, еще более обширная столовая с самоваром, рассчитанная на трактир. Кухня помещалась в другом домике, а здесь, около столовой, была комната с плитой, где пищу, при надобности, подогревали. В столовой возвышался огромный буфет, широкий, как купчиха, содержащий всевозможные водки, коньяки, вина, ром, виски, сигареты, столовое серебро. Пруд

подогревался, и каждое утро, когда начинали гудеть фабрики, заводы, трактора в полях, начинал и он свой рабочий день купаньем в пруду, и все живое и мертвое в необъятной стране прислушивалось к взаимодействию его плотного тела и подогретой воды. Были поблизости и другие домики, для республиканской партийно-правительственной дворни, а ближе всех голубел миленький домик главного руководства республики, Парвизова и нескольких остальных. Какой-то чересчур говорливый этот Парвизов, чересчур правильное у него русское произношение, чересчур старается, тосты у него длинные, ничего не скажешь, партийные, но и партчванство в нем чувствуется. Надо омолодить кадры, пора ставленникам Сталина на покой, оторвались от народа, заелись, нужны свежие силы, не забюрократившиеся, энергичные, технически грамотные. Вообще, нынешние секретари Цека и обкомов восточных республик — люди малонадежные. Сталин, как грузин, был им ближе русских или украинцев. Когда он, Хрущев, решил расширить рамки промышленности и сельского хозяйства республик и областей, создать совнархозы, экономические районы, с помощью которых стереть ненужные, фиктивные границы между республиками и областями, он имел в виду прежде всего наши восточные края, чуждые ему, непонятные и чем-то опасные.

После охоты зашла в машине речь о совнархозах, Парвизов их приветствовал, дельно приветствовал, не придерешься, мол, здесь, на Кавказе, имеет место параллелизм, из-за республиканского, областного, давно устаревшего деления, экономика раздроблена, а потом он возьми и скажи: "Некоторые товарищи считают, что целесообразно было бы все республики и области Северного Кавказа объединить в одну горскую республику, союзную, с комплексной экономикой. Каспийское море в Дагестане можно считать естественной государственной границей". Ишь, чего захотел, чучмек кучерявый! Значит, союзную горскую коммунистическую партию организовать, а его, Парвизова, секретарем назначить. Не тот человек Парвизов, который нужен здесь в новых условиях. Конечно, он план выполняет, зато другой руководитель пере-выполнит. Подыщем.

Важная вчера была охота! Шутка сказать, вожака кабаньего стада подстрелил! Помог колхозникам избавиться от сильного, злобного зверя. Горцы такую удачу уважают. В мирное время — как на фронте: только личным примером! Кто Сталина видел близко, кроме приближенных? Во время войны, когда решалась участь родины, участь партии, и то он в бомбоубежище тайком отсиживался. Да и в гражданскую ни разу пороха не нюхнул. А он, Никита, всегда в гуще народа, и среди украинских хлеборобов, и среди солдат, Рокоссовского направлял, Еременку направлял.

Сейчас Парвизов их везет обедать. Здесь тоже неплохо подзаправились, но обед есть обед. Надо будет потом часок-другой отдохнуть. Он не замечал, что руководство республики уже с ног падает. А если бы заметил, то ему было бы только приятно. Они все моложе его, горцы, на носках пляшут, а устали. День начался хорошо, с пользой. Утром, после завтрака с водкой, поехали в передовой колхоз имени Ленина.

Солнце пекло, как в Африке, но Хрущев, мучая свиту, провел, не отдыхая, несколько часов на кукурузных полях, сел в кукурузоуборочный комбайн, проехал на нем, беседа с трактористом и комбайнером, беседа, но их не слушая, говорил сам, все объяснял, осмотрел копнитель, заглянул в бунты, одобрил, дал указание по загрузке початков.

Потом в саду накрыли столы. Накрыли умело, в передовом колхозе привыкли к знатым гостям, даже к иностранным. Хрущев много и неопратно ел, много пил. Руководство подготовило двух кукурузоводов, героев социалистического труда, к деловым выступлениям, но Хрущев нетерпеливо прерывал каждого, излагал собственные соображения о бороновании всходов, о подкормке минеральными удобрениями, о междурядной обработке с прополкой сорняков, о смешанных посевах кукурузы с тыквой и фасолью, ссылаясь на опыты академика Лысенко. Здешние люди сеяли кукурузу с незапамятных времен, но Хрущев разбирался в этом деле лучше их. У Булганина разболелась голова. Руководители республики чувствовали, что вот-вот свалятся от солнечного удара, а Хрущев не переставал есть, пить, поучать. Внезапно его стошнило, он облевал сидевшего рядом Булганина, премьер угодливо засмеялся, Хрущев на мгновение смутился, оглядел присутствующих, увидел лица почтительные, пришел в себя, пошутил: "Мы тебе новый костюм справим в кремлевской пошивочной", Булганин засмеялся еще угодливей, обрадованный лаской. На горское руководство это незначительное происшествие произвело тягостное впечатление, рабам стало стыдно за своих господ, но стыд спрятали глубоко, научились.

Днем, когда кавалькада уже была готова тронуться в путь, когда шофера уже уселись за рулем, председатель колхоза приблизился к Хрущеву с национальным расписным подносом, на котором стояла большая рюмка водки с фицином – пирогом с сыром. Под барабанную дробь появились пионеры в нарядных костюмчиках, с портретиками Хрущева в руках. – Стремянную, Никита Сергеевич, по горскому обычаю, – сказал председатель. Хрущев выпил, крикнул, закусил большим куском пирога. Он направился к машине, но остановился и произнес краткую прощальную речь, в которой рекомендовал изготавливать в колхозе консервированную сахарную кукурузу, собирая зерна молочной зрелости. Это будет прямая выгода колхозникам. Хорошо бы и комбикормовый завод построить. Хитрый председатель слушал его так, как будто Хрущев открывает ему нечто неслыханно новое, сказочное. Межколхозный завод по изготовлению консервированной кукурузы и комбикормовый завод существовали здесь еще с довоенных лет.

Руководители республики нуждались в большой выдержке, чтобы устоять на ногах. Они были вконец измотаны. Более крепкие сильно потели, у других раскалывалась голова. Булганин в машине засыпал, всхрапывал и просыпался с испуганной, растерянной улыбкой. Он был много лет шутком при Сталине, жил в постоянном страхе за свое место, даже за свою жизнь, но грузин никогда не доводил его до такого изнеможения, как этот пузатый боров, в сущности, не злой хохол, но такой здоровый, что не мог понять существо пожилого возраста.

Приехали. Их ожидал живописный стол. Белая скатерть сияла как снег вершин. В этом уютном уголке были и домики для лиц среднего и младшего руководящего состава, там столы не знали скатертей. Уже само наличие скатерти обозначало важность едока. Но не будем удаляться от места действия. Хрущев и Булганин разошлись по уборным с биде. Потом Хрущев принял душ. Булганин не принял. Хрущев вошел в столовую веселый, освежившийся, предвкушая удовольствие от обеда. Булганин появился с головой, обвязанной полотенцем. — Голова заболела? — радостно спросил его Хрущев и удовлетворенно заметил: — Слабак!

Парвизов шепнул Жаматову: — Будешь тамадой. — Жаматов подумал: "С виду хочет поднять мой авторитет, а на самом деле знает, что я не красноречивый, тосты сочиняю плохо, и после парвизовских тостов, Никита Сергеевич, как мои услышит, поймет, какой Парвизов замечательный руководитель, не зря, значит, он у нас первый".

Но Жаматов как будто неплохо справился с поручением, даже осмелился отойти немного от газетных формул, пожелав стойкому ленинцу кавказского богатырского долголетия. Все встали. Выпили, сели. Хрущев похвалил колхоз имени Ленина, председателя колхоза, знатных кукурузоводов. Неожиданно, по своему обыкновению, прервав себя, он спросил у Парвизова, но спросил так, что вопрос как бы задавался всем присутствующим, в том числе и Булганину и московской свите:

— Хочу с вами поделиться, узнать ваше мнение, потому что вы, так сказать, ближе стоите к земле. Диалектика такая: народ надо учить, но у народа надо и учиться. На Украине, бывало, мне рядовой колхозник давал более полезный совет, чем иной чинуша. А теперь мне со всех сторон всякие записки присылают по вопросам культуры, промышленности, сельского хозяйства. Все прочесть не могу, не успеваю, кроме внутренних дел есть и международные, сложные, сами понимаете, какие. Получил я записку о колхозах. Подписали два товарища, одного я знаю, назвать не хочу, академик, видный экономист, член партии с 1919 года, другого не знаю, кандидат наук, видимо, человек молодой. Предлагают не больше, не меньше, как ликвидировать колхозы. Доказывают, что сельское хозяйство никогда не будет рентабельным, пока существуют колхозы. Подготовились: цифры, выкладки, таблицы, диаграммы. Впечатляет. Что думаешь, Даниял Заурович?

Парвизов подозревал, что не нравится Хрущеву. Слишком легко и просто было бы объяснить это тем, что Парвизов выдвинулся при Сталине. Не он один такой, а Хрущев к другим вроде относится терпимо. Обворожительность молодости он утратил, что ли, а как-то получалось, что новый хозяин не видит в нем верного слугу. И это заметно, прежде всего, по поведению московских слуг. Анекдот ли расскажет Парвизов, словцо ли подберет остроумное, сообщит ли нечто красочное о природе родного края, — слушают, конечно, улыбаются иногда, но нет воздуха веселости, общности, тепла. Неожиданный вопрос Хрущева испугал Парвизова. Как ответить? Авторы записки правы, колхозы

устарели, нужны новые формы. Опасно, опасно! Защитить колхозы? А вдруг есть уже решение, и Хрущев выискивает: кто сторонник, кто противник невероятного решения. С Никиты станется: Сталина с дерьмом смешал, может и колхозы ликвидировать. Парвизов видел Сталина близко только один раз, во время декады, но он, как ему казалось, понимал Сталина, он сам был чем-то похож на Сталина. Хрущева он не понимал. Хитрец? Самодур? Истерик? Одно ясно: импульсивность вместо важного спокойствия, простонародность вместо величия, малограмотность вместо образованности, многоречивость вместо изречений, — нет, это не годится для вождя, для хозяина. Парвизов напряг свое тело, сработанное из горного камня, свою волю. Он задумал выкрутиться с помощью рассказа:

— Никита Сергеевич, когда всадник пускается в путь, он останавливает коня у источника на вершине горы, чтобы оглянуться назад, обозреть дорогу, ведущую дальше, вперед. Под вашим водительством так поступает и партия...

— Давай покороче, по системе бекицер.

Даниял Заурович опешил. Он это нерусское "бекицер" иногда слышал от жены, покороче, мол, и не ожидал услышать от Хрущева. Не ожидал он и этого грубого окрика. Но не позволил себе разволноваться, продолжал:

— Ваш вопрос попал в самую точку, как говорят врачи, в болевое место. Мы, работники на местах, только об этом и думаем. Недавно у нас произошел такой случай. Пришлось заслуженного человека, орденоносца, председателя колхоза, из партии исключить. Его колхоз вышел в передовые по кукурузе, не только план, но и сообразительности перевыполняет. Есть, однако, в колхозе узкое место: лук, редька, подсолнух. Бросая все силы, всю технику на кукурузу, председатель с большим напряжением выполняет план по овощам, вернее, никогда не выполняет: в лучшем случае на 97-98 процентов. Главная причина — нехватка людей, нехватка транспорта, надо вывезти кукурузу, а овощи между тем портятся. Вот заявляется к нему однажды мужчина средних лет, по национальности грузин, и предлагает:

— У меня есть бригада. Поручи нам овощи и подсолнух. Выполним план минимум на 110 процентов. Остальное наше. Кормить нас не надо, зарплаты не надо, ничего нам не надо, кроме сарая, где жить будем.

— А машины? — спрашивает председатель.

— О машинах не беспокойся, у тебя не возьмем, сами достанем.

— Что же ты за это хочешь?

— Ничего не хочу. Только бумажку хочу. Справку, что мы — колхозники. На базаре и в других местах продаем избыточную продукцию.

Председатель согласился. Даже с радостью, как потом признался. Прибыла бригада, пятнадцать человек. Живут в сарае, работают с утренней звезды до поздней ночи. И что же? Впервые за несколько лет колхоз перевыполнил план по овощам и подсолнуху, дал 112 процентов.



Машины левые, водители – два гушана. А сколько осталось этим бродягам, – никто не подсчитывал. Зато подсчитали: бродячая бригада заработала сто двадцать тысяч рублей старыми деньгами, – в обком пришел сигнал. Отправил я инструкторов в тот колхоз, а бродяг и след простыл. – Что за люди? – спрашиваем. – Отвечает председатель: – Жили в сарае, питались за свой счет, не безобразничали. Кроме грузина, один еврей, несколько армян, остальные русские. Армянин Миша у них за повара и за сторожа. А грузина, бригадира их, звали Гиви. Больше ничего не знаю.

Исключили председателя колхоза из партии, другого выхода у нас не было. А ведь заслуженный человек, не для себя старался, для колхоза.

Хрущев ударил короткой, толстой рукой по столу, крикнул, обнажая редкие зубы:

– Работнички! Дальше своего бюрократического носа ничего не видите! Лук и редька – да это же ценнейшие продукты! И подсолнух! Непременно этого грузина разыщите! Такого человека надо назначить руководителем всего сельского хозяйства вашей республики! Учиться у него надо! Понимаете ли вы, что наделали! ”Дерьмо собачье!” – скажет о вас народ, и правильно скажет. Вместо того, чтобы одобрить инициативу председателя колхоза, перенять у бродячей бригады опыт, вы исключили из партии умного хозяина. Восстановить! Восстановить приказываю! Других надо исключать, а не такую умницу, честного труженика!

Хрущев тыкал грязной вилкой в галстук Парвизова, никак не мог успокоиться:

– Сегодня же вызвать сюда председателя! Восстановить!

Жаматов, на правах тамады, осмелел:

– Никита Сергеевич, вас товарищ Парвизов, не по своей вине, неправильно информировал. Действительно, он, находясь в то время в одном из районов, приказал нам по телефону исключить того председателя. Мы вызвали председателя, поговорили с ним, пришли к заключению, что человек он честный, ничего он с этой бригады не имел, хотел, как лучше, столько лет проработал не за страх, а за совесть, решили ограничиться строгим выговором, оставили в партии. Товарищу Парвизову об этом сообщить не успели до вашего приезда. А вас, дорогой товарищ Никита Сергеевич, мы просим разрешения напечатать ваши указания, которые вы дали в колхозе имени Ленина, в газетах на трех языках. Это пойдет на пользу не только кукурузоводам нашей республики, но и соседних.

– Только обработать надо, журналистам скажите.

– Спасибо, Никита Сергеевич. Большая честь для Гушано-Тавларской АССР, что такие мудрые слова вы впервые произнесли на нашей древней, но вечно молодой земле.

Хрущев выпил, закусил. Кажется, неглуп этот Жаматов, не то, что кучерявый краснобай Парвизов. Сталин не знал людей, никуда, вурдак, не выезжал, не умел выдвигать скромных, знающих, грамотных

работников, выдвигал подхалимов и подручных. Не заменить ли Парвизова Жаматовым? Не мнит из себя, не принимает торопливых решений, принципиальный. Правильно подметил, что указания пойдут на пользу соседям. Главное – толково выбрать людей и толково их расставить, а для этого надо знать жизнь, не политиканствовать, а быть всегда рядом с колхозником на поле под жгучим солнцем и в дождь, с солдатом – под огнем. А что знает, скажем, бухгалтер Булганин? Что смыслит в сельском хозяйстве речистый Парвизов? Живет припеваючи на горбу у труженика, а если вдуматься, – на его, хрущевском горбу. Заелись, распустились.

Парвизов между тем прикидывал: останется ли он первым? Если Хрущев так его унизил в присутствии республиканской головки, – значит, не останется. Но Никита легко меняет мнения, можно ли сделать так, чтобы остаться? Нет, не выйдет. Жаматов наврал, председателя исключили, но глупо его опровергать. Наврал явно для того, чтобы выгородить членов бюро, а прежде всего, – себя. Неужели этот болван хочет стать первым? Парвизов окинул узкими карими глазами стол. Никто не смотрел в сторону Парвизова. И не только обкомовцы и министры, – не смотрели и приглашенные представители научной и творческой интеллигенции. Лишь с глазами Алима Сафарова встретились глаза Парвизова. Увидели сочувственный взгляд. Сафаров был Парвизову по душе. Он приказал, несмотря на его молодость, на то, что недавно принят в союз писателей, пригласить этого тавлара на встречу с Хрущевым. Сафаров пишет по-русски, его рассказы охотно печатаются в Москве, они нравятся детям Парвизова и Надежде Григорьевне, их и столичные критики хвалят. А Сафаров не высовывается, никогда ни о чем не просит, работает в редакции газеты в отделе писем, зарплату получает маленькую. Тавлары не одобряют, что он пишет по-русски, но ведь именно благодаря таким людям создается новая общность – единый советский народ, для которого, пока еще многонационального, русский язык – родной. Говорят, что Хрущев, хотя члены Политбюро сопротивляются этому, задумал новые паспорта, в которых не будет пятого пункта – национальности. Одна страна, один народ. Деление на республики устарело. Не сказать ли Хрущеву о тавларе – русском писателе? Парвизов распорядился еще вчера: пригласить на прием по одному писателю от каждого народа, одного старого – Хакима Азадаева, одного молодого – Алима Сафарова. Но что это? Здесь и разноглазое лицо этого выскочки, шута Мансура. Как он попал в список? Получается: от гушанов – два писателя, да еще и отец и сын, родовые пережитки, а от тавларов только один. Это значит – оскорбить народ, недавно вернувшийся на родину из ссылки. И не ослышался ли Парвизов? "Слово предоставляется поэту Мансуру Азадаеву". Мало того, что позвали, ему еще и слово дают? Это Жаматову даром не пройдет.

Мансур волновался и не скрывал этого, не хотел скрывать. Хрущев посмотрел на него с любопытством. Он интересовался писателями. Только надо их направить как следует. В Москве от некоторых дурно пахнет. Венгрией пахнет. Что скажет этот нерусский писатель? Важно,

чтобы не подхалимничал, или, что еще хуже, не своевольничал. Первые слова Мансура насторожили:

– Слышите, как птицы поют в саду?

Причем тут птицы? Образно говорит, что ли? Но нет, повел речь, как надо:

– Не знаю, как их называют по-русски, но знаю, что каждая птица поет по-своему, каждая нужна, потому что каждая поет о родине. Иначе, – для чего петь?

– Прекрасно! Есть задатки! – похвалил Хрущев. Мансур покраснел. Он продолжал:

– Сколько здесь разных птиц? Может быть, сто. Но сто маленьких птичек не заменят одного орла. Пусть это запомнят все птицы. Мы их любим, мы их с удовольствием слушаем, но орел у нас один – Никита Сергеевич Хрущев. Но своим ломаном русском языке, но от прямого горского сердца я провозглашаю здравицу в честь нашего ширококрылого, зоркого орла – Никиты Сергеевича Хрущева!

Вот как повернул! Здорово! Слезы выступили на глазах у Хрущева. Он поднялся из-за стола и, кособрюхий, направился к Мансуру. Он обнял этого чудесного парня, поцеловал его. Нерусский, а родной. Спросил:

– Что ты пишешь?

– Стихи.

Хрущев повернул голову к Жаматову:

– Представить к государственной премии.

Все переглянулись: не Парвизову, а Жаматову приказал.

Хрущев повеселел. Как его любят люди! И то сказать, – разве можно его не любить? Сколько добра сделал, реабилитировал сотни, тысячи людей, целые народы. Сто маленьких птиц не заменят одного орла. Сильно сказал поэт, от души сказал. Вот, услышали бы его сталинские холуи, Молотов, Каганович и прочие, но куда им, не услышат, и хорошо, что не услышат, не бывать им больше на таких приемах. А здешним людям надо сказать несколько слов.

Он говорил два часа. Чего только не было в его речи! И кукуруза, и подсолнух, и литература, и Куба, и преступления Сталина, и заслуги Сталина. Казалось, речь вот-вот утонет в придаточных предложениях, но нет, она снова, хотя и неуверенно, выбиралась на стержень. После искренних рукоплесканий, он спросил у Жаматова:

– Тамада, как вечер проведем?

Аллах всемогущий, все падают с ног, некоторых, может быть, солнечный удар утром хватил, а он еще хочет провести вечером мероприятие! Откуда у него силы берутся? Действительно, орел! Или кабан? Кабан с голой головой и бородавкой на носу?

– Концерт, что ли, послушаем? Как считаешь, Даниял Заурович? Артисты у тебя готовы?

Наконец-то к Парвизову обратился. Но Парвизов стараться не будет. Парвизов поступит иначе.

– Артисты у нас талантливые, но опыта у них мало. После московских они вам, Никита Сергеевич, бледными покажутся. А тавларов обучить не успели, пришли из самодеятельности.

– Не прибудняйся. Часик отдохнем – и на концерт.

– Я не поеду, – взмолился Булганин. – Он все это время сидел с головой, повязанной полотенцем. Хрущев вспылил:

– Как не поедешь? Республику обидеть хочешь? В Грузии повсюду ездил, а здесь барственность проявляешь, потому что республика автономная? Тебе бы только союзные? А для нас все нации равны, большие и малые. Если ты мой предсовмин, то не отлынивай.

Местное руководство было в отчаянии. Все мечтали после приема отдохнуть, принять душ, пятачку от головной боли, а тут надо концерт готовить, слушать. Это не просто, совсем не просто. Часть артистов разъехалась по районам, других придется разыскивать по разным домам, разбросанным в разросшемся Гугирде, – всех этих танцоров, певцов, музыкантов, декламаторов, хормейстера, балетмейстера, конферансье – красотку, чисто и звучно говорящую по-русски, прилично одеть исполнителей. Да еще зал, наверно, заплеван. Парвизов с удовольствием сказал Жаматову:

– Давай, идеолог, обеспечь нам концерт. Один час у тебя.

Самоустранился. Будет рад, если он, Жаматов, провалится. Наверно провалится. И никто не поможет. Разве Мансур? Мы из одного аула, одного рода. И вправду, Мансур к нему приближался. Его жестокий глаз был закрыт, зато жуликоватый сверкал. Он шепнул Жаматову:

– Сегодня – большой день. Твой день. Наш день. Для Парвизова – темный день. Ты не волнуйся. Весь наш род за тебя. И с тобой. Гушанских артистов я беру на себя. А тавларов поручи собрать Эльдарову. Верный человек. Ты ему намеки, пообещай.

– Спасибо, Мансур. А как зал заполним? Разве успеем пригласительные билеты отпечатать? Говоришь, – большой день. А для меня – судный день. Голову сохраню, – ум потеряю.

– Билетов не надо. Пусть твои люди обзвонят городской партактив. За час из ближайших районов тоже поспеют.

Эльдаров, сорокалетний тавлар, плохо говорящий на родном языке, в прошлом – директор кинотеатра, в армии – политрук роты, был назначен заместителем председателя Совета министров по культуре. Он приходился родственником поэту Ибраю Рахметову, чья мать была тавларкой, и так как Рахметов и Жаматов были из одного аула, одного рода, то Жаматов, полагаясь на Рахметова, покровительствовал Эльдарову. Все в республике знали, что Эльдаров – человек Жаматова. После возвращения тавларов на родину, гушаны, в особенности, привилегированные слои, стали к ним относиться хуже, чем до выселения, и покровительство Жаматова казалось Эльдарову и другим тавларам признаком благородства.

Эльдаров кинулся собирать артистов. Сезон еще не начался, кто был пьян, кто – в бане, кто уехал в аул на похороны родственника. В общем, человек двадцать привезли в театр. Чуть ли не семьдесят отыскал Мансур.

Пригнали и номенклатурную публику. Алим Сафарову, как приглашенному на прием, предоставили место в пятом ряду. Он приехал сюда в машине Эльдарова, медленно двигавшейся в конце правительственного кортежа. Был вечер, долина, впадающая в городской парк, налилась сумерками, по дороге с предгорий спускались овцы, огромное стадо, предводительствуемое рыже-бурым козлом. Из окна машины было видно, как два чабана, с ярлыгами в руках, испуганно засуетились, но овцы испуга не почувствовали. Как мохнатые волны, они расступились, давая дорогу первой машине, уступая ей как раз столько места, сколько она занимала, и неспешно потекли вдоль нее, и, пропустив ее, сомкнулись опять. Потом снова расступились, давая дорогу следующей машине, и снова сомкнулись. Так продолжалось столько раз, сколько было машин. Почему овцы не испугались? Потому ли, что уже не было сил пугаться, что примирились со своей участью, знали, что все равно станут пищей для сидящих в машинах, и судьбы им своей не изменить, — задавит ли их машина сейчас, зарежут ли их потом. И козел, вожак стада, бородатый дервиш, не обращал никакого внимания на машины, и его участь ему была ясна. Это покорство овец и их жоака, это равнодушие к смерти было удивительным и странным. Не так ли и они, тавлары, спускались с Куруша. Стадо, стадо!

... Во втором ряду сидели Хрущев, Булганин, руководители республики. В первом и третьем — чекисты, московские и местные. Всего несколько лет назад Алим был счетоводом, спецпереселенцем, и вот он — писатель, и сидит в театре вблизи владыки государства, но как чуждо ему это государство.

После пропетого хором гимна в честь партии занавес опустился, а когда поднялся, то оказалось, что певцов сменили плясуны. Мужчины брали женщин под руку и парами проходили к сделанному из дерева изображению бога души, кланялись ему: это был древний танец, дошедший до наших дней с языческих времен. Потом плясуны в буйной круговерти стали выделывать всевозможные фигуры. А когда они удалились, вышла на сцену женщина с гармошкой и в национальном костюме, Зарема Отарова, явно постаревшая, но красивая новой, благородной красотой. Она запела по-тавларски:

Серый камень сорвался с утеса,  
В мрачной бездне остался лежать...  
Камень, камень, наверх не вернешься,  
Свой утес не увидишь опять.  
Я молю тебя, Господи, ныне:  
Лучше в камень меня преврати,  
Но остаться не дай на чужбине,  
К моему очагу возврати!

Сколько раз эту старинную песню пели там, в казахстанском изгнании. "Но остаться не дай на чужбине, к моему очагу возврати". Пели, плакали. Не остались, вернулись. В Акмолинске несколько суток лежали

вповалку на привокзальной площади, ждали состава. Когда, наконец, состав подали, их, измученных, стали обыскивать: узнало начальство, что они в мешках увозят выкопанные из могил кости умерших. Зараза! Но разве можно оставить на чужбине своих умерших? И вот живые вернулись, а счастья нет, потому что нет свободы. И раньше не было свободы, но в изгнании казалось, что была. А вернувшись, поняли: и на родине нет свободы. И все же что-то есть: как горячо, с восторгом воли, аплодируют тавлары, – нет, не утратившей голос актрисе, а своей песне. Хрущеву эта песня ничего не сказала. Но когда, после Заремы, запела гушанка, сперва на родном языке, а потом исполнила по-украински: "Дивлюсь я на небо", – Хрущев ей захлопал, потребовал повторить. Растрогал Хрущева и молодой скрипач-тавлар, одетый во фрак, для него широкий. Хрущев воскликнул так громко, что услышали во многих ядах:

– Скрипочка поет, как живая!

Он повернул к Жаматову (к Жаматову, не к Парвизову) кабанье лицо, и пока медленно и плавно двигался по сцене плясовой круг, сказал, впервые назвав секретаря по пропаганде по имени-отчеству:

– У вас есть успехи в области культуры, Аслан Жаматович. Надо показать москвичам. Сколько вам понадобится времени для подготовки к декаде литературы и искусства?

– За год управимся.

– У большевиков другие темпы. Через полгода ждем вас в Москве. А теперь пора ужинать.

Как, еще и ужинать! И, наверно, до утра. Кабан, кабан!

Но и Хрущев устал. Дождавшись до конца очередного концертного номера, он поднялся и направился к выходу. Поднялись и номенклатурные зрители. Зал быстро опустел. Артисты, не успевшие выступить, злились за кулисами. Жадно дыша чистым ночным воздухом княжеского парка, руководители республики усаживались в машины. Жаматов успел на ходу обнадежить Эльдарова:

– Ей-богу будешь моим предсовмином.

## Глава шестнадцатая

Так оно и случилось. Жаматов стал первым секретарем, Эльдаров – его предсовмином, Парвизов переехал в Москву, получил должность декана в том самом пединституте, в котором некогда учился со Станиславом Юрьевичем. Они семьями часто встречались с Бодорским. Этому способствовало и то, что в том же самом институте заканчивал аспирантуру Коля, который привел в просторную четырехкомнатную кооперативную квартиру Бодорского юную жену, она была беременна, и Бодорские беспокоились о том, что в квартире, с рождением ребенка, станет тесновато: они забыли, как ютились в сырой, темной лачуге за немецким кладбищем.

Столь сильно пониженный на служебной лестнице (слетел, можно сказать, на десять пролетов вниз), Парвизов, до времени, разумеется, оставался депутатом Верховного Совета СССР, успел им стать за год до того, как его освободили от обязанностей первого секретаря Гушанов-Тавларского обкома партии в связи с переходом на другую работу. Именно с выборами в Верховный Совет, да еще с интриганом Мансуром, связывал Парвизов свое падение, хотя, конечно, понимал, что дело не в выборах, выборы – частность, он был обречен.

Когда из Москвы прислали разнарядку на кандидатов в депутаты, то избирателям Тепловской, где русские, притом, казаки, составляли большинство населения, должен был быть предложен (в Москве тоже не дураки сидели) кандидат, обладающий следующими данными:

- 1) Русский
- 2) Рабочий крупного промышленного предприятия
- 3) Ударник коммунистического труда
- 4) Беспартийный
- 5) Не старше сорока лет
- 6) Непьющий, морально устойчивый
- 7) Пользующийся авторитетом у рабочих

Местные советские и партийные власти нашли такого (а для этого надо попытеть) рабочего, аппаратчика комбината искусственных кож и резинотехнических изделий, – предприятия, недавно сооруженного в Тепловской с помощью ГДР по последнему слову техники. К тому же имя-отчество и фамилия кандидата радовали слух и глаз: Михаил Иванович Калинин, абсолютный тезка покойного всесоюзного старосты. Вдобавок ко всем необходимым данным, Калинин завершил личную пятилетку, овладев рядом смежных профессий.

У Парвизова была поучительная привычка – знакомиться с будущим кандидатом не по анкете, а воочию, путем задушевной беседы, но тут – злой рок, рутина заела – ограничился изучением документации и фотокарточки, величиной в почтовую открытку. Материалы унес вечером домой, в обкоме просмотреть не удалось.

Все как будто нормально, но лицо М.И. Калинина не понравилось Парвизову, чем-то смущало, а чем — понять не мог. Взгляд какой-то необычный, и не то, что там дерзкий или особенно умный, а не по-советски задумчивый. Надежда Григорьевна позвала Парвизова ужинать, поглядела через его плечо на фотографию и спросила:

— Монах, что ли?

Как в воду глядела, умница, еврейская голова, идише коп: она научила гушана этим словечкам.

Когда уже по всей республике развесили, расклеили плакатики с изображением М.И. Калинина, с его биографией, с призывом отдать все голоса за кандидата блока коммунистов и беспартийных, когда меньше месяца оставалось до дня выборов, в обком поступила ужасная анонимка: Калинин М.И. — баптист, посещает регулярно молитвенный дом в Тепловской.

Вызвали Калинина, задали вопрос в упор. — Да, отвечает, — верующий баптист. — А почему сразу не сказал? — А вы не спрашивали.

Скверная история. Конечно, у нас нет безвыходных положений, заменили наскоро баптиста председателем Тепловского горисполкома, работником проверенным, искать другого не было времени, хотя никак не мог он рассчитывать на депутатство в Верховном Совете СССР, не та номенклатура. Республике отводилось всего семнадцать мест в Совете, — и это на все руководство, рабочий класс, колхозное крестьянство, интеллигенцию, на военных, на возрастные и половые группы, к тому же одно-два места всегда забирает Москва, и это республике даже выгодно, — иметь своего депутата — большого, влиятельного человека. Повезло дураку, тепловскому председателю!

Быстро сорвали по всей республике портреты баптиста, успели распечатать и расклеить в Тепловской, увы, только в Тепловской, портреты председателя горисполкома, 99,9 процента избирателей отдали ему свои голоса, все прошло благополучно, но наверху, ясное дело, узнали о промахе Парвизова. Вдобавок ко всему, эту забавную историю Мансур рассказывал в Москве, и не только выпивохам-писателям, но и работникам отдела культуры Цека, к которым стал запросто вхож. Парвизов через своих людей узнал, что рассказ Мансура дошел до слуха Хрущева.

Казалось бы, в республике теперь торжествовал род Азадаевых, но почти всякий раз, когда Мансур посещал Станислава Юрьевича, он с той или иной степенью раздражения говорил о Жаматове. А бывал он в Москве чуть ли не каждый месяц, — то приезжал на сессию Верховного Совета (он стал депутатом), то на заседание правления союза писателей, как глава писательской организации республики, то отправляясь в заграничную поездку, то из нее возвращаясь. Прошло полгода, а к декаде и готовиться не начинали. Жаматову удалось ее отодвинуть на целый год. Мансуру, после того, как он стал лауреатом государственной премии, присвоили звание народного поэта, а теперь ему сообщили обкомовские ребята, что Жаматов, видимо, назло Мансуру, собирается присвоить такое же звание Мухаббат Хизриевой, — мол, надо выдвигать горянок.



А эта горянка плохо пишет, есть другие, постарше, они больше заслуживают звания народного поэта. При этом Мансур утверждал, что Мухаббат мошеничает, готовит для поэтов-переводчиков подстрочники, оригинала у нее нет. А Жаматов всячески проявляет к Мансору неприязнь, забыл прежнюю дружбу. Завидует его авторитету в московских кругах. Халида, жена Мансура, — директор этнографического музея, ей приходится объезжать аулы, приобретать для музея старинные изделия златоковачей, так Жаматов обвиняет ее в том, что часть золотых изделий она по дешевой, государственной цене скупает для себя. Перемену в поведении Жаматова объяснял Мансур и тем, что он, Мансур, критикует безбоязненно приближенных Жаматова, а порой и самого Жаматова. Обо всем говорил в доме Станислава Юрьевича долго, пьяно, не всегда вразумительно, то щуря левый глаз, то правый. Со смехом, то и дело ударяя ладонью о ладонь крест-накрест, рассказывал и такой эпизод.

Его, как и других депутатов, послали в один высокогорный аул — выступить с сообщением о решениях очередной сессии Верховного Совета СССР. Обычно депутата в таких случаях сопровождает один из республиканских начальников. Мансура сопровождал министр торговли. После доклада депутату стали задавать вопросы: — Почему нет мяса? Нет крупы? Нет полотна? Нет обуви? Почему перебой с мылом?

Мансур дал исчерпывающее объяснение:

— Все это у нас имеется в изобилии, но министерство торговли плохо работает, не может наладить доставку продуктов и промтоваров в высокогорные аулы.

Присутствующий тут же министр торговли был готов провалиться сквозь подмости. На него кричали, Мансуру аплодировали. Возвратившись в Гугирд, министр подал на бюро обкома заявление: Мансур его оклеветал в глазах избирателей, все фонды, которыми располагает министр, он распределяет в соответствии с указаниями обкома партии. Вызвали Мансура. Он не растерялся:

— У меня был выбор: либо ругать советскую власть, либо ругать министра торговли. Я выбрал министра торговли.

Члены бюро весело рассмеялись, остроумен этот Мансур, ничего не скажешь, настоящий горец, но Жаматов был недоволен. Его недовольство росло вместе с тем, как росла независимость Мансура от местных властей. Мансур сумел найти себе важных покровителей в Москве. Как-то вызвали одного молодого гушанского писателя в черный дом. На него прикрикнули: он рассказывал анекдот о Хрущеве. Молодой гушан испугался:

— Мне этот анекдот рассказал Мансур Азадаев.

— То, что можно Мансору Азадаеву, нельзя тебе, — грозно сказали в черном доме.

В один из приездов Мансур показал Станиславу Юрьевичу свою новую поэму о Сталине в переводе Матвея Капланова. Если первая, доставившая ему имя, была довольно искусным панегириком, то вторая — анафемой. Противоречие между двумя своими поэмами о Сталине Мансур не утаивал: "Мы были слепыми". Толчком к написанию второй поэмы

послужило сооружение памятника Сулейману Нажмудинову у входа в парк. Мансур темпераментно и едко противопоставлял реабилитированному посмертно революционеру-самородку, партизанскому вожаку-ленинцу, сменявших его чиновников, исполнительных, бездушных, недалеких. Жаматов, естественно, обиделся, рассердился. Поэму отказались печатать на родине и в Москве, но она распространялась в списках и принесла Мансору некоторую славу в среде молодежи, — ценный привесок к государственному признанию. Возможно, поводом для создания поэмы, поводом нелегким, послужило, помимо памятника Нажмудинову, событие, которое омрачило счастливые дни Мансура.

Тавлары и чеченцы дали ему знать, что за подлую строку о Шамиле — тавларском волке и чеченской змее — клеветнику объявляется кровная месть. Его убьют. Убийство решено было совершить в Москве, когда, накануне восстановления кавказских республик, были вызваны из Казахстана в столицу по три-четыре писателя от каждой высланной нации — для участия в пленуме правления союза писателей. Тавлары взяли с собой Алима Сафарова, — хотя он еще не был тогда членом союза, но, единственный из тавларов, уже печатался в Москве. Тавлары и чеченцы понимали, что законы государства не совпадают с древними, правильными законами кровной мести, что мстителей будут рассматривать, как заурядных убийц, что им грозит долгий срок заключения или даже расстрел, но были непреклонны, пока Алиму не удалось их уговорить даровать Мансору прощение, при условии, что он исполнит обряд покаяния. В горах это был обряд трудный, унижительный, исполняемый редко, — например, в случае смертельной болезни виновного. Кающийся должен был ползти по камням и песку, примерно, версту по дороге, ведущей в аул мстителей, а затем — по всему аулу из конца в конец, а этот путь измерялся двумя верстами. Его ожидали старейшины рода мстителей. Они сидели на камнях около мечети, в больших папахах, в бешметах, по бокам — кинжалы, на рукоятях из турьего рога — священные письмена, возле босых ног виднелись ноговицы, чуваки, стояло корыто с водой. Кающийся омывал ноги старейшин и пригублял грязную воду. После этого ему обычно даровалось прощение.

Договориться с Мансуром тавлары и чеченцы поручили Алиму. Они ждали отказа, но Мансур неожиданно быстро согласился: он боялся смерти больше, чем позора. Обряд покаяния решили исполнить в гостинице "Москва", где жили Мансур и несколько мстителей. Роскошный депутатский номер Мансура находился в конце длинного коридора, и оказалось удобным, чтобы кровники ожидали кающегося в его номере. Исполнение обряда назначили после полуночи, когда на этаже меньше людей. Дежурной по этажу дали две сотни. Три мстителя, закатав до колен брюки, опустили ноги в ванну, ждали. Их потом должны были сменить трое других мстителей. Один из троих следил за тем, как депутат Верховного Совета СССР ползет по бесконечному коридору. Из некоторых номеров выходили постояльцы, не понимали, что происходит, кричали на шагающего и ползающего, безобразие, мол, бросались к дежурной по этажу, но ее на месте не оказалось. Мансур полз медленно.

Он тяжело дышал. Расстегнулись брюки из дорогого английского сукна, купленные в Сингапуре. Дорожки не было, — видно, на ночь ее убрали, пол был паркетный, в нос било мастикой, потекли сопли, смешанные с кровью. Мансур дополз до своего люкса, добрался до ванны, встал на колени, пустил воду, смешал горячую с холодной, омыл кровникам ноги, пригубил воду. На столе, заранее припасенные Мансуром, стояли бутылки водки и шампанского, закуска. Шестеро кровников, три тавлара и три чеченца, молча и важно уселись вокруг стола. Мансур стоял на коленях, плакал. Самый младший из кровников, по чеченскому обычаю, стащил с кающегося брюки. После первой рюмки его позвали к столу. Он был прощен. Но брюки надеть разрешили ему не сразу...

Станиславу Юрьевичу об этой необычной сцене рассказал Алим Сафаров. Молодой тавлар все эти годы был благодарен Станиславу Юрьевичу за его письмо, посланное мальчику-спецпереселенцу, за репродукции картин Сезанна, которые так и не дошли до него. В "Новом мире" изредка стали появляться оригинальные стихотворения Бодорского, о них даже упоминали в печатных обзорах — вскользь и с отчужденным одобрением. Алим Сафаров увидел, что Бодорский не только умелец, но и поэт, небольшой, но истинный, и — что уже бесспорно — по-настоящему образованный, и посылал ему на суд свои рассказы. Бодорский, в свою очередь, оценил в этих рассказах музыкальность, без которой, полагал он, нет прозы, оценил и свежую чуткость к русской речи. Алим презирал Мансура Азадаева, считал его не художником, а продажным острословом, шутком при князьях. Он об этом писал Станиславу Юрьевичу и сказал при их первой встрече:

— Если бы Мансур был взрослым в тридцать седьмом, он был бы уясен.

Они пили вермут, смешанный с ликером "Куантре", приземистую бутылку которого Мансур привез Станиславу Юрьевичу из Канады, и когда Алим ушел, Станислав Юрьевич почувствовал, что огрузел, но в голове стало пронзительно ясно. Впрочем, при всей ясности он не заметил, устроившись в кресле, как, размышляя о кровной мести, о Мансуре, о том, как он вымолил прощение у кровников, ползая по коридору гостиницы "Москва", вдруг начал думать о Сталине. Мысль о Сталине возникла, сливаясь с мыслью о том, что Жаматов и Мансур, люди из одного аула, одного рода, дружили раньше, и крепко, кажется, дружили, и семья Мансура приютила бежавшую от изверга-мужа Мухаббат Хизриеву, а теперь Мансур ненавидел и Жаматова, и Хизриеву, ненавидел, хотя неразрывна их племенная, родовая связь. Такая связь, как и связь партийно-государственная, имеет в своей основе кровь, а не любовь. Сталин ни с одним существом никогда не был связан любовью. Даже с матерью, даже с женой, даже с детьми. Много лет уже он в земле, много лет уже правит страной кукурузник, а забыть Сталина нельзя, ведь со Сталиным связана связью пролитой народной крови вся сознательная жизнь Станислава Юрьевича. Всегда полагал Станислав Юрьевич, что без планомерного уничтожения вымышленных врагов не может жить советское государство, — и вот, живет. Конечно, есть резервы для

уничтожения: художники-абстракционисты, современные писатели, "Доктор Живаго", вдруг зашевелившиеся интеллектуалы, группки верующих, но все это частности, нет теперь массовых арестов. Неужели Сталин построил государство так гениально, что оно отныне даже в Сталине не нуждается?

Не случайно то, что властелином империи стал сын Востока. Смешно вспоминать, что на это место претендовали евреи. Непригодна была даже такая сильная личность, как Троцкий. Он мог быть жестоким военачальником, блестящим лидером оппозиции, обожаемым вожаком молодой коммунистической гвардии, но не ему предназначались престол и скипетр державы русских, украинцев, белоруссов, прибалтов, турков, угро-финнов, кавказцев. Недавно Станислав Юрьевич впервые побывал в Пскове и Новгороде и внезапно понял: как надо было ломать Русь, ее кроткую печаль, ее старинные церкви и монастыри, лавки и присутственные места, чтобы сделать ее советской. Ни в родном южном городе, ни в Москве, ни в Ленинграде, ни в республиках Востока он не ощущал с такой остротой чуждость страны соратникам и наследникам Ленина. О таких, как Зиновьев и Каменев, и говорить нечего, космополитические пустомели. Да и российская рохля, Бухарин, получи он власть над страной, потерял бы ее на другой день. В Ленине, хотя и текла в его жилах кровь еврея Бланка и бабушки-калмычки, был керженский дух, игуменский окрик в декретах. А что было в Сталине? Ответить на этот вопрос не легко. Можно попытаться. В Сталине было восточное понимание монарха без легитимности. Этой стране нужен царь. Пусть не помазанник Божий (хорошо бы, а не получается), а все-таки трансцендентный. Среди многих его черт, еще до конца не познанных, была одна очень важная, объединяющая его с Мансуром, с Жаматовым: бесчеловечность, не забывающая, однако, о существовании человечности. Сталин убил своего друга Кирова, приревновав его к внутривластной славе. Поступок бесчеловечный, но именем Кирова он назвал улицы, города, заводы, корабли, — и не только ради своей выгоды, чтобы обелить себя, а и вследствие своей принадлежности к человеческой натуре. Возможно, что он, убийца, нежно вспоминал иногда племейские афоризмы Кирова, его любимые блюда. Но, оживи Киров, он бы его убил во второй раз. Когда он подарил Кирову "Вопросы ленинизма" (говорят, не он их писал) с надписью "Другу и брату", он любил Кирова как друг и брат, и убил Кирова, как друг и брат. В этом нет противоречия, как и нет противоречия в том, что Сталин истреблял миллионы людей ради власти над людьми. Гитлер убивал так, чтобы остались только рабы и немцы-господа. Сталин был менее демократичен, чем Гитлер: он убивал так, чтобы на земле остались только рабы и он — царь. Он не думал о том, что будет после его смерти: он, как животное, боялся опасности и не думал о смерти. Считается, что Сталин притворялся, когда утверждал, что любит Бухарчика, но, возможно, он продолжал любить Бухарина даже после того, как убил его, возможно, что вспоминал о нем порой даже с умилением. Нет, нет, глагол "любить" со Сталиным не сопряжен. Скажем так: убивая, он свои жертвы не ненавидел, некоторые из них не переставали ему нравиться. Ненавидел он только одного человека:

Ленина. Ненавидел потому, что Ленин был им, Сталиным, и все же в Ленине было то, чего не было в Сталине: европейское интеллигентское барство. А царь – не барин, царь народен.

Сталин убивал человека, потому что ему было необходимо уничтожить действия, характер, связи человека, а не самого человека. Поэтому Сталин никогда не считал себя убийцей. Его неслыханная подозрительность была обычной подозрительностью племени, рода, колена: в другом племени, роде, колене всегда таится опасность! Но постепенно получалось так, что он один стал целым племенем, а все, что не он, было племенем чужим, враждебным, коварным, – даже грузины, которых он убивал с еще большей свирепостью, чем других, потому что они лучше его понимали, а он хотел, чтобы его молитвенно и трепетно, по-дикарски не понимали, он должен был оставаться загадочным, ни на кого не похожим. Он должен был стать русским царем, и это была задача грандиозная и противоречивая, потому что, чтобы стать мужичьим царем, ему надо было истребить мужиков. А для этого, поскольку его не помазал на царство Бог, позарез нуждался Сталин в своем обожевлении, в трансцендентности, в ореоле волшебства, в надземности.

Станиславу Юрьевичу как-то рассказывали: к семидесятилетию со дня рождения Сталина издательство детской литературы отыскало в Грузии старого учителя, бывшего священника, учившегося со Сталиным в горийской школе и в семинарии. Ловкий литератор записал, скомпоновал воспоминания старика, получилась целая книга о детстве вождя, о его необыкновенных способностях, благородстве, о его высоком чувстве товарищества. Книгу правили, сто раз редактировали, советовались с инструктором Цека, наконец, подготовили к печати. Но издатели рано радовались, рано гордились. Секретариат Сталина запретил печатать книгу. Бывший священник поделился потом с редакторами горем и счастьем: Сосо пригласил его к себе домой, хорошо угостил, был с ним ласков, вспоминал учителей, детские шалости, в конце беседы объяснил школьному товарищу:

– Не обижайся, нельзя печатать твою книгу. Ты пойми: слово не так скажешь, – государство потеряешь.

Он понимал, как никто, что государство можно потерять, если слово не так скажешь, человека вовремя не убьешь. Лучше, чем благоговевшие перед ним подданные, властелин государства сознавал, что владеет государством незаконно. И все же только он, единственный из большевиков, – духовный потомок персидских шахов, казнелюбивых владык, золотоордынских ханов, турецких султанов, арабских халифов, кавказских князьков был предназначен в дни и годы смут стать повелителем мужичьего русского царства, в котором мужики уничтожались. Ни один другой большевик не сумел бы воссесть на престол, удержать скипетр. Не он их захватил, – социалистические престол и скипетр он смастерил сам, – он, а не Ленин, который, хотя и строил новое государство, никогда не понимал его сути. Не забавно ли, – русский Ленин обвинял его, полугрузина и полуосетина, в великодержавном шовинизме.

Почему? Потому что Ленин, хотя и сотворил большевизм, не понимал происхождения большевизма от племени, рода, колена, он накинул на свое творение интернационалистическую хламиду и бездумно принял ее за плоть творения. В течение всей истории человечества ни одна крупная государственная система не была так враждебна христианству, как советская, ибо, в воинственном отличии от христианства, эта система противопоставляет свою отдельно взятую страну всему миру Божьему. Одна шестая земли ведет себя, как возглавляемая вождем африканская деревня прошедших веков. Враг европейской социал-демократии, Ленин был и оставался ее порождением, а этой стране нужен такой вождь, в котором племена, враждующая, обретали бы призрачное объединение, нужен вождь с царскими знаками, вождь-царь, восточный царь. Эта страна, для того, чтобы ею правил богоравный царь, должна состоять из рабов, которые служат рабам, у которых один хозяин, — хозяин их вражды и слияния.

А что, если это не страна рабов? А что, если он видит ее слишком надменными, презирающими, а, значит, не слишком зоркими глазами? Тогда ее надо сделать страной рабов. Убивать, убивать, убивать высоким духом, пусть выживают самые слабые духом, и этих, слабых, околхозить, всех околхозить — даже интеллигенцию, всех загнать в резервации, убить. Или купить? Или одних убить, других купить?

Как и предполагал Станислав Юрьевич, в конце лета его пригласили в Гугирд: надо было наконец заняться подготовкой к новой декаде. В аэропорту его встречали Мансур Азадаев, Ибрай Рахметов, Алим Сафаров и безымянный представитель обкома. В машине Мансур ему сообщил, что из Москвы пришла телеграмма: в качестве члена правления московской писательской организации Станислав Юрьевич должен отправиться в Грозный на съезд писателей восстановленной Чечено-Ингушетии. Мансур добавил:

— Я тоже поеду. Втроем в машине поедем: вы, я, Ибрай. Послезавтра позавтракаем пораньше и выедем. Погуляем два-три дня в Грозном. Думаю, что мои бывшие кровники встретят меня с почетом.

В назначенный день, в семь утра, в гостиницу за Станиславом Юрьевичем приехал шофер Мансура. У председателя союза писателей был двухэтажный особняк на улице, параллельной парку. Завтракали в огромной столовой, уставленной тяжелой рижской мебелью. Ибрай, нынешнего секретаря союза, не было. Завтрак подавала сама Халида. Она была недурно сложена, лицо недоброе, не сочетался с веснушками мужской способ смотреть: персидский взгляд купца тяжело и медленно поднимался из-под век. Станислав Юрьевич подумал, что она, наверно, похожа на отца, а не на мать. Шофер завтракал отдельно, на кухне. На серванте стояли большие вазы, привезенные Мансуром из Индии. Когда Халида принесла из кухни хинкал с подливой, Мансур погладил жену пониже спины. Ей это понравилось, но она сказала:

— Мансур, призываю тебя к порядку.

Выпили, закусили, вышли. Мансур приказал шоферу:

— В гостиницу.

– Для чего в гостиницу? – спросил Станислав Юрьевич.

– С нами поедет журналистка из Чехословакии. Пишет для ихнего журнала о горских литературах. Зовут ее Власта. Фамилию забыл.

– А потом заедем за Рахметовым?

– Ибрай не поедет. Зачем тесниться?

Из гостиницы Мансур вышел вместе с Властой. В руках он держал иностранный саквояж. Он был ниже ростом Власты, – блондинки лет сорока, истинной европейки: длинные ноги, распущенные волосы до плеч, холеное лицо, заграничные костюм и косметика. Мансур посадил Станислава Юрьевича вперед, позади – он и Власта. Она говорила по-русски свободно, с приятным акцентом. Когда выехали из Гугирда и асфальтированная дорога устремилась вдоль полей и садов, Мансур засунул руку Власте за пазуху. Она, смеясь, ударила его по руке, сказала:

– Прочь, тигр!

За спиной Станислава Юрьевича началась любовная игра. "Ай, жалко, нет ружья!" – вскрикнул шофер: дорогу перебежала быстрая рыжая лиса и скрылась в кустах. Гор не было видно, но чувствовалось, что они близко, что земля, бегущая под машиной, есть подножье невидимых гор. Справа двигался вдоль горизонта поезд. Поля были почти безлюдны, изредка возникали женщины, одетые в черное. Мужчины на полях не работали. В существо Станислава Юрьевича вошла тишина полей, чистая жизнь растений, воздуха, солнца, он не расслышал, что по-гушански сказал шоферу Мансур, вскоре шофер повернул машину по узкому грейдеру и направил ее к одинокому шалашу, крытому камышом.

Шалашик был пуст. Пахло горячей пылью, навозом. Власта, показывая крупные зубы (все в ней было крупно – груди, бедра, плечи), спросила Мансура:

– Тигр, ты зачем нас сюда привел?

– Отдохнуть надо. Горец на коне не устает, в машине устает.

Шофер достал из багажника коврик, коньяк, минеральную воду, баранину, сыр, хлеб, плитки шоколада. Подзаправились. Откупорили вторую бутылку. Власта пила наравне с мужчинами, неумело и бесстыдно сидя по-турецки. Короткая юбка не была приспособлена к такой позе. Впрочем, как сказать. Трезвый шофер заметил на родном языке, что с такой бык не справится. Мансур возразил:

– Бык не справится, а тигр справится, – ему льстило прозвище, данное ему Властой. Закурили, – все, кроме Мансура, который посмотрел на шофера, потом на Станислава Юрьевича одним – широко раскрытым – жуликоватым глазом. Они поняли, вышли из шалашика.

Солнце горячило равнину, вдали бежал притихший Терек. Шофер возился с мотором. Станислав Юрьевич прилег на сухую, шуршащую под ветерком траву. Он казался самому себе ничтожным, грязным. Ему пошел шестой десяток, и вот он лежит рядом с могучим, затихающим в низинах Терекком, на траве, по которой скакали Лермонтов и Толстой, вблизи города, где Грибоедов был арестован за связи с декабристами, лежит, ждет, уподобившись некоему Расплюеву, пока молодой

барин обрабатывает европейскую шлюху, и каждая минута ожидания – это минута бесчестья, рабьего бесчестья.

Появились любовники. Мансур со счастливой наглостью застегивал на ходу брюки. Его ассиметричное лицо являло маску блаженства. Власта улыбалась, обнажая неправдоподобно ровные жемчуга. Когда они садились в машину, Станислав Юрьевич увидел, что ее силовая кофточка испачкана в навозе. Он зло ей об этом сказал. Власта искренно ужаснулась.

Вот и Грозный: нефтяные вышки, заводские трубы, домики рабочих поселков. Бурно бежит под мостом мутно-желтая Сунжа. Сотрудник ГАИ остановил машину, заглянул в нее, потребовал было у шофера документы, но, разглядев депутатский значок Мансура, почтительно сказал;

- Товарищ депутат Верховного Совета, придется вам в объезд.
- Почему? Нам ближе через площадь Революции.
- Ремонтируются улицы.
- Где съезд писателей проводить будете? В театре?
- Не могу знать.

Сотрудник смутился. Мансур это заметил, сказал, когда отъехали:

- Непраздничная обстановка.

Кружили долго, пока не удалось добраться до тихой улицы. Около дома, в котором помещались союз писателей и научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, не было оживления, обычно сопутствующего съезду, не входили и не выходили гости, не висели лозунги. Мансур сказал:

– Власта, немного поскучай, мы со Станиславом Юрьевичем быстро вернемся.

В учреждении было так тихо, будто ночь стояла за окнами. Поднялись на второй этаж, свернули налево. В комнатах союза писателей – никого, даже секретарши нет, а все двери открыты. Перешли через коридор в комнаты института. В самой последней за столом о чем-то задумался красивый белоголовый старик в очках. Мансур назвал себя и Станислава Юрьевича. Старик привстал, пожал каждому руку обеими руками, назвал и себя. Оказалось, это был Анзоров, имя известное, один из основателей советской чеченской литературы, беллетрист и ученый. Он вернулся на родину не из казахстанской ссылки, а из концлагеря, отсидел восемнадцать лет, реабилитирован, теперь – заведующий сектором института. По-русски он говорил как петербуржец.

– Уже приехали гости из соседних республик, их разместили в гостинице "Грознефть". Это наиболее приемлемая наша гостиница. А вас приглашают на дачу обкома.

– С нами журналистка из Чехословакии. Будет освещать ваш съезд, – сказал Мансур. – Можно и ее на дачу?

Анзоров долго не отвечал, что-то обдумывал:

– Я буду с вами откровенен. У нас в городе кое-какие беспорядки. Неизвестно, состоится ли съезд. Сейчас вопрос решается. Руководители нашего союза вызваны в обком. У вас есть лишнее место в машине?



Я поеду на дачу с вами, надо как можно скорее вывезти эту женщину из города. А там видно будет.

– Что случилось? – спросил Станислав Юрьевич.

– На танцплощадке русский сцепился с чеченцем. Оба – молодые рабочие парни. Чеченец зарезал русского. Чеченца арестовали. Рабочие завода, товарищи покойного, объявили забастовку. Требуют, чтобы нас опять выслали, чтобы им выдали убийцу. Ходят слухи, что забастовка перекинулась на другие заводы.

Станислав Юрьевич предложил:

– Вы поезжайте, а я пошатаюсь по городу. Мне интересно.

Уговоры Мансура не помогли: Станислав Юрьевич стоял на своем. Анзоров посмотрел на часы:

– Сейчас около часу. В четыре я вернусь, жду вас здесь, товарищ Бодорский, в институте, чтобы вместе поехать на дачу. Только при этом условии я вас отпускаю.

Помахав рукой отъезжающим (ему весело в ответ замахала Власта), Станислав Юрьевич направился на площадь Революции. Посредине площади, напротив правительственного здания, собралась большая толпа. Тут и там, отдельно от нее, стояли кучи зевак. Некоторые из них сливались с толпой, но в то же время от толпы отделялись люди и образовывали новые кучки. Прохожие то пополняли толпу, то проходили мимо, погруженные в свои заботы. Вошел в толпу и Станислав Юрьевич. Толпа слушала оратора. Кое-как пробившись вперед, Станислав Юрьевич увидел грузовик. На платформе, на низеньких козлах стоял гроб с покойником. Крышка гроба была прислонена к боковому борту машины. С обеих сторон гроба сидели на досках-скамьях мужчины и женщины. Некоторые стояли. Оратор, по-видимому, рабочий, в мятом сером костюме, в рубашке без галстука, высокий, с чахоточным лицом, говорил, кривя губы:

– Братья и сестры! Кто лежит в гробе? Заснул вечным сном Сергей Степанович Заярный, Серега, токарь нашего завода, чудесный хлопец, недавно вернулся со срочной службы. А кто вокруг гроба? Отец Сереги, заслуженный работник нашего завода Степан Петрович Заярный, фронтовик, весь израненный. А рядом с ним супруга, Мария Тихоновна, мать Сереги, простая русская женщина, трех сынов вырастила, двое пали смертью храбрых, старший на Курской дуге, средний в Пруссии, один младшенький остался, и вот его убили чечены, те же фашисты. А вокруг гроба – не только семья, тут и товарищи Сереги, в одном цеху работаем.

Толпа внимала молча, никак не выражая себя, только у женщин выступили на глазах слезы. Станиславу Юрьевичу удалось подойти к грузовику поближе, поскольку стоявшие впереди постепенно выбирались назад. Лицо мертвого он увидеть не сумел, но легче стало разглядеть оратора. У него были какие-то застывшие, немигающие глаза, которые как бы жили отдельно от его слов, а слова двигались уверенно:

— Рабочие нашего завода не вышли сегодня на работу. Директор Бердичевский объявил, будто это забастовка. Нет, это не забастовка, директор берет нас на испуг, каждый русский человек поймет, — мы хороним товарища, которого зарезал чечен. К нам присоединились рабочие других заводов. Директор еврейские штучки выкидывает. "Преступник, — говорит, арестован, будет суд, получит по заслугам". А мы сами хотим его судить. У чеченов судья чечен, прокурор чечен. Мы им не доверяем. Все они с ножами, все убийцы. Сталин был мудрый, он все понимал, очистил Кавказ от разбойников, выслал их подальше. А Хрущев их вернул. О нас не подумал. Братья и сестры! Если будем, как бараны, то всех нас чечены пережуют. И детишек наших не оставят в живых, звери они. Присоединяйтесь к нашим требованиям. А мы требуем, во-первых, чтобы чеченов и ингушей опять выслали, во-вторых, чтобы председателем совета министров СССР стал товарищ Молотов, в-третьих, чтобы в городе воздвигли памятник генералу Ермолову. Это хорошие требования, советские требования русских людей.

Грузовик загудел, видимо, решил двинуться дальше, толпа дала ему дорогу. Кто-то перекрестился. Постепенно толпа дробилась. Станислав Юрьевич переходил от грушки к группке. Впервые в жизни он видел бунт. Все ругали чеченцев: они претендуют на дома русских рабочих, — мол, сами когда-то их построили. А чем русские виноваты? Пригнали сюда, поселили в тех домах. Дома никудышные, зато при каждом огороде, свои овощи. Чечены захватывают дворы и огороды, там и спят, а то взламывают замки, выбрасывают пожитки хозяев, пока люди на работе, выкидывают детишек, оккупируют дома. На Кавказе этим бандитам не место, их надо выслать. По-сталински надо. Хрущев добренького из себя строит. Все в городе ненавидят чеченов, только евреи с ними заодно. Не случайно Бердичевский запретил рабочим хоронить сегодня Сергея Заярного: говорит, — план мне срываете. Ему план дороже человека. Перед чеченами заискивает.

Люди хвалили Сталина, позабыв, что при Сталине их посадили бы хотя бы за то, что не вышли на работу, а уж за антиправительственные высказывания, за такое сборище, — непременно вышка. В другой группе не касались политики, — обогащали друг друга подробностями. Девушка, с которой танцевал Сергей Заярный, нравилась чеченцу, он знал ее раньше. Чеченец стал ее вырывать из рук Сергея. К нему на помощь подошли другие чеченцы, ведь у всех наций люди заодно, только мы, русские, как были дураками, так и остались, поэтому нам хуже всех. Сергей отчаянно сопротивлялся, но ни один русский за него не заступился, не помог, и чеченец его зарезал.

В следующей группе неожиданно зазвучало либерально-демократическое направление. Очень худой, очень высокий старик, с двумя металлическими коронками в беззубом рту, со впалыми губами, увещевал:

— Разве дело в чеченцах или евреях? Систему надо изменить...

Он хотел сказать еще нечто важное, как вдруг все повернулись к правительственному зданию. Станислав Юрьевич проголодался, уже

было больше четырех, Анзоров ждет его, но взбунтовавшаяся толпа заколдовала Станислава Юрьевича, он не хотел с нею расставаться. С балкона кто-то обратился к толпе с речью. Слов его не было слышно. — Что за человек? — спросил Станислав Юрьевич. Ему ответил стоявший рядом: — Сардалов, попка чеченская, председатель президиума ихнего Верховного Совета. — Между тем, по выступлениям, по карнизам (здание было дореволюционное) взбирались вверх самые отчаянные, самые озлобленные. Достигнув балкона, они сбросили Сардалова вниз, в толпу. Затопали его? Никто не знал.

Прожить годы в изгнании, в унижении, в еще большем унижении подняться на верхушку, ценою мелких подлостей, интриг, добиться завидного поста, — и на родной земле, в мирный теплый день, быть задавленным не органами, не комендатурой, а просто жителями...

С приближением конца рабочего дня толпа стала увеличиваться. Уже не было отдельных групп, отдельных прохожих. Единая одногласно гудящая толпа, в огромной гортани которой, — грузовик с покойником. Увлекая Станислава Юрьевича, толпа всем своим многоголовым существом покинула площадь, ринулась, как потом выяснилось, к почтамту, на втором и третьем этажах которого разместилась республиканская радиостанция. Существо с единым разумом, толпа знала, чего она хочет: захватить радиостанцию. Но именно оттуда раздался приказ:

— Немедленно разойдитесь. Во избежание несчастных случаев расходитесь организованно. Вас построят милиционеры, чтобы не было давки. Перерывы в работе прекратить, с завтрашнего утра — все к станкам.

Но толпа, не обращая внимания на приказ, гулко стала вливаться в широкие двери первого этажа, который и был собственно почтамтом. Раздался выстрел. Тяжелый, долгий выстрел. Из-за угла появился первый танк. Это он выстрелил: в воздух. Пока в воздух. Давя и дробя асфальт тротуара, выдвинулись из-за угла второй танк, третий, четвертый. А сколько еще было танков за ними? Теперь людей в толпе объединял не разум, а страх. Станислав Юрьевич отпрянул со всеми назад и догадался вбежать в какой-то магазин, оказавшийся аптекой. Девушка, высунув голову из окошка в стеклянной стенке, прикрикнула на него, но тут снова раздался выстрел, аптека вздрогнула, упали на пол и разбились пузырьки. В окне было видно, как бегут люди. Фармацевтичка заплакала. Переждав минут пятнадцать, Станислав Юрьевич вышел из аптеки. На улице было пусто. Милиция оцепила здание почтамта. Стояли машины скорой помощи. Танки удовлетворенно, властно удалялись. На площади Революции, тоже пустой, милиционер потребовал у Станислава Юрьевича документы. Станислав Юрьевич предъявил паспорт и телеграмму-вызов из Москвы. Милиционер вернул документы, пропустил Станислава Юрьевича, но текст телеграммы не одобрил:

— Съезды устраивают. Делом пора заняться.

У входа в институт зеленела машина Мансура. Шофер дремал. Станислав Юрьевич поднялся на второй этаж. Анзоров ждал его.

– Слава Богу. Я очень за вас волновался. Вы все время были там?

– Да.

– Убитые есть?

– Не знаю. Санитарные машины стоят.

– Сам генерал Плиев прибыл в Грозный. Это его танки. Он осетин, а между осетинами и чеченцами и ингушами давняя рознь. Я сам был свидетелем: чеченцы и ингуши шли в Красную Армию, к Орджоникидзе, они даже переделали его фамилию на свой лад, "Эржкинез", что значит "князь бедноты", шли только потому, что большинство осетин склонялось к белым.

– Но ведь сейчас стреляли в русских.

– Плиев и в осетин стрелял бы, только прикажи ему.

– Вы с ним знакомы?

– Служил под его началом в Красной Армии. А сначала я служил в белой армии. В тридцать седьмом мне это припомнили. Но сейчас не время рассказывать. Съезд откладывается. Мы поедем на дачу. Там отдохнете. Уж не обижайтесь на нас. А нам бы с русскими жить дружно, по чеченской поговорке, как лоза и орешник, не расставаясь ни под солнцем, ни в ненастье.

## Глава семнадцатая

Жаматов решил, что вторая декада, которая состоится в годы его правления, будет грандиозней, чем первая: она объявлялась как декада не только литературы, но и искусства. Особенность ее состояла и в том, что в ней впервые принимали участие тавлары. В Гугирд приехали, наряду с литераторами, и режиссеры, композиторы. Они были лучше литераторов: веселее, циничнее. Одних поселили в гостинице, а самых нужных и высокопоставленных — на даче обкома, в домиках, предназначенных для второстепенной дворни. Туда перевели из гостиницы и Бодорского. Теперь ему не надо было утром заботиться о завтраке, обедать в душном, прокуренном зале ресторана среди командировочных спортсменов и местных пьяниц. На даче обкома, хотя столики были без скатертей, кормили вкусно, природа была чудесная, чистый воздух предгорья, розы в саду, но трудна была связь с городом, рейсового транспорта не было, а машин не предоставляли, разве что, если кто-нибудь из творческих работников требовался в обкоме, в министерстве культуры, реже — в союзе писателей. Матвеем Капланову, не унывающему, похожему на черноглазую матрешку, тоже предложили жить на правительственной даче, ведь он был лейб-переводчиком главного поэта республики, но он предпочел гостиницу, ему удобней было жить в городе, потому что имелись дела в местном издательстве и потому что в гостиницу можно было приводить девок-гуманитариев. А на дачу обкома нельзя было приводить, — дачу охраняла милиция. Да и где машину достанешь в нужный час?

Бодорский, к счастью, никого не переводил, он считался бригадиром переводчиков, — распределял между ними подстрочники, редактировал изготовленные стихи и прозу, участвовал в отборе произведений, подлежащих переводу. Намечалось новое, богато иллюстрированное издание гушанских сказаний на русском языке, в книгу Бодорского решили включить два новых сказания, найденные в последние годы республиканским НИИ, но новые были бледнее прежних. Ибрай Рахметов сказал, что в его родном ауле живет старик, сказывающий эпизоды гушанского эпоса, пока еще не записанные, и предложил Бодорскому поехать к тому старику.

Машину — не главную свою — предоставил сам Жаматов, но за рулем сидел Султан, жаматовский, так сказать, основной шофер, старый знакомый Бодорского.

День ранней осени был просторен, он лучился тихим святым светом, небо над ними сияло, как голубой нимб, вдали, подобные шейхам в белых чалмах, думали свою думу горы. Ибрай, при молчаливом одобрении Султана, рассказывал о хамской заносчивости Мансура, забывшего о родовых узах, связывающих его с Жаматовым, с ним, Ибраем, с

Мухаббат Хизриевой, об интригах Мансура на московском уровне, направленных против самого Жаматова, хотя Жаматов, когда ему на Старой площади в Москве указали на то, что его поэт пьет, развратничает, болтает лишнее, заступился за Мансура, сказал, что эпикурейский образ жизни Мансура не должен сказываться на оценке его литературной и общественной деятельности.

Господи, думал Бодорский, все одни и те же никому не нужные, мертвые слова, а кругом так много солнца, такой взволнованной жизнью живут растения, так благородны горы, к которым был прикован похититель огня, созданный воображением одного народа, и приплыл, оставшийся в памяти другого народа, ковчег. Но в разговоре не участвовать нельзя, и Бодорский спросил, чтобы о чем-нибудь спросить:

— Может быть, вы к нему пристрастны? Вспомните вашу пословицу: "Говорите о человеке хорошее, не дожидаясь его похорон". Неужели Мансур так низко пал?

Султан, не оборачиваясь, старательно управляя рулем, поддержал Рахметова:

— Станислав Юрьевич, вы дали имя моему Джохангиру, я вас обманывать не могу, у меня потом родились еще один мальчик, еще одна девочка, всеми своими восемью детьми клянусь: низко пал Мансур!

Въехали в аул, вышли из машины. Дома придвигались к лесистому ущелью. Пахло кизячным дымом, чесноком, кукурузным жаром из пекарни. В предгорье клубился туман, серебрясь под солнцем. Остановились у двора, на котором мальчишки гоняли мяч. Увидев машину, они прекратили игру. Султан достал несколько бутылок с яркоцветной жидкостью. Станислав Юрьевич знал обычай: сказителю принято подносить виноградное вино, а не водку. Из дома к ним направился пожилой мужчина в кургузом пиджаке и в брюках защитного цвета. На ногах у него были кожаные чулки и галоши. Это был сын сказителя. Он пригласил приезжих в густанхаз. На стенах висели ковры, старая кремневка и почему-то план города Вены. Две женщины, в черных платках и платьях, ввели в помещение для гостей древнего старца. Раньше появление женщин противоречило бы обычаям. Они тут же удалились. Гости, скрестив ноги, расселись на ковре машинной работы.

Сказителя звали Науруз Жаматов. Он, значит, принадлежал к тому же роду, что и первый секретарь обкома. Тому, видно, захотелось, чтобы имя Жаматовых попало в книгу народных сказаний, как некогда попало туда имя Парвизова. Поэтому, видно, и привез сюда Бодорского Ибрай Рахметов.

Науруз был очень стар, но строен, он, благодаря по-казачьи длинной, черной черкеске, казался выше ростом, глаза не утратили блеска, все зубы сохранились в целости, только темная кожа лица была изрезана морщинами, и большой нос был похож на обветренный камень.

Сын Науруза и Султан оставили на ковре привезенные бутылки, а также большие, с ручкой на поддоне, чашки из фаянса, почему-то здесь называемые калмыцкими. Принесли откуда-то из чрева жилища угощение: крутую кашу с подливой, куски баранины. Старый Науруз сказал:

”Бисмиллах”. Приступили к еде. Ибрай длинно сообщил хозяевам о значении гушанского эпоса, ценимого великим русским народом, всеми народами, сообщил о том, ради чего гость приехал из Москвы. Науруз слушал его с удовлетворением. Он важно кивнул головой в папахе из коричневого каракуля, что-то сказал сыну, тот вышел и вскоре привел молодую гармонистку, возможно, свою дочь. Она была одета по современному. Она, видимо, уже зная, чего ждет от нее дед, наладила гармошку, заиграла. Науруз протяжно запел. То была музыка, ни с какой другой не знающая родства, музыка пращуров. Скифов? Сарматов? Зимняя стужа, на дворе – девушка, снег падает на ее непокрытую голову. В теплой кибитке – ее родители, сестра и брат. Девушка причитает:

Золотая мать моя,  
Красное золотце,  
Впусти меня, я гибну  
От холода.

А мать – в ответ:

Назови меня свекровью,  
Впущу тебя.

Девушка отказывается назвать свекровью родную мать, просит отца впустить ее в кибитку, отец отвечает:

Назови меня свекром,  
Впущу тебя.

Девушку, дрожащую от великого холода, сестра соглашается впустить в кибитку, если та назовет ее золовкой, брат, – если назовет его мужем. Но девушка не хочет назвать брата мужем. Так начинается крушение древнегушанской кровнородственной семьи, в которой братья женились на сестрах. Народ пел не о пустяках, он пел о значительном в своей жизни. Не всякая многосодержательная песня старше своего века, она должна еще быть и прекрасной, и только тогда она перестанет зависеть от своего мгновенного времени. Но самая искусная песня без значительного содержания – мертворожденная, когда бы она ни родилась, – в древности или в наши дни. Нет нового искусства или старого искусства, и мы, и наши предки живем в одном времени, как живут Гомер, Данте, Пушкин, Толстой, поэзия есть одна из возможностей признания людей в любви к Богу на языке нации. Творцу мило многообразие им созданного мира, а в человеческой среде многообразие мира выражается в множестве наций, и вовсе не надо, чтобы все нации слились в нечто единое, сливанной должна быть молитва, из сердца восходящая на разных языках. Станислав Юрьевич подумал об эпических сказаниях: ”Вот каков я!” – говорит народ самому себе и в этом – младенческая прелесть эпоса; говорит всему миру, всем людям, – и в этом

— зрелость его души, устремленной к слиянию с душой-Абсолютом, с Богом.

Неспешно пили вино, заедая его крутой кашей с бараниной, Науруз почти не пил, то ли потому, что был стар, то ли желая показаться русскому гостю с наилучшей стороны.

Старинная песня, спетая Наурузом, не нужна была Бодорскому для готовящейся книги, оказалось, что Науруз не знает гушанских сказаний, но Станислав Юрьевич был благодарен Ибраю за то, что он привез его сюда, за то, что душа наполнилась песней, чьи древние слова, праслова, соединились с русской гармошкой.

Простились со сказителем и его домочадцами, поднялись вверх по лесистому ущелью. Здесь недавно прошел дождь. Навстречу машине спускались верховые, наверно, колхозные чабаны. Кони шли, утопая в грязи. Под седельные сумки набились листья, — видимо, всадники с трудом пробирались сквозь лесную чащу. Дорога становилась скользкой, опасной, решили повернуть назад, вниз. Ах, не все ли равно, вниз, вверх, лишь бы двигаться по этой кавказской земле, на которой началась слепопотопная жизнь человечества, жизнь, наполненная гулом бра-тоубийственных битв и потоками крови, гулом ливней, родников, произрастанием зерна и тишиной туманов, лунных вечеров, жизнь, озаренная добрым огнем очагов, все бы ехать и ехать по этой земле, где время не делится на часы и дни, на декады и месяцы, на годы и пятилетки, а земля, увенчанная царственным сиянием голубого неба, вместе со всеми тварями, деревьями, цветами и колосьями любовно внемлет Создателю своему.

Они вернулись через неделю. У ворот правительственной дачи милиционер вышел из будки и взял под козырек.

Вечером позвонил Мансур, спросил, как здоровье, как съездил, вздыхал — с явной радостью — о том, что не нашлось у родственника Жаматова новых сказаний, впрочем, он и не предполагал, что этот старик знает новые сказания, завтра он придет за Станиславом Юрьевичем машину.

Правление республиканского союза писателей по-прежнему располагалось в бывшей парикмахерской на центральной, теперь шумной улице Ленина. Жаматов давно обещал выделить более подходящее помещение, но обещания не выполнил, это злило Мансура, — не подобала ему такая жалкая контора. Единственное, чего ему пока удалось добиться, — переоборудования бывшей парикмахерской, так что для председателя союза писателей был выкроен небольшой, но уютный кабинет: отныне, не то, что в прежние годы, к председателю нельзя было попасть без разрешения. Кабинет был свежевыкрашен веселенькой масляной краской.

Мансур поднялся навстречу Станиславу Юрьевичу, они поцеловались, сели. Станислав Юрьевич увидел расплзающееся ручейками черное пятно на стене за спиной Мансура. Народный поэт начал рано сесть, седина придавала его асимметричному лицу некоторую одухотворенность. Он был в твидовом костюме цвета кармина. Закрыв жуликоватый



глаз и широко раскрыв жестокий, волнуясь, хищнически ломая русский язык, иногда переходя на гушанский, он повел разговор:

– Мухаббат Хизриева хотела меня убить.

– Вы в своем уме, Мансур?

– Я свой ум потеряю на этой работе, и жизнь потеряю. Мухаббат фальшивая, как ее купленная коса. Мне сообщили: вышла в Москве ее поэма о Ленине, принесли книжку. Я вызвал Мухаббат, спросил, откуда поэма, на родном языке не напечатана, мы ее в глаза не видели, не обсуждали, дай, говорю ей, текст, нельзя играть именем вождя, свято-татство, говорю. Тогда она бросила в меня вот эту большую чернильницу. Если бы я не успел увернуться, убила бы меня. Смотрите, какое пятно на стене.

– Мне всегда казалось, что она близкий человек вам, вашему дому. Ведь она у вас нашла приют, когда убежала от мужа.

– Вы помните? Разве не мой отец и не я попросили вас перевести ее беспомощные стихи? Разве не мы ее кормили, одевали, выводили в люди, нашли ей нового, хорошего мужа, директора таксопарка, карманы его набиты левыми деньгами, а она спит то с одним его шофером, то с другим, у нее нет горской чести, нет стыда, она думает, что гушанская поэзия – это краденная цыганская кобыла, которая продается на базаре. Нет у нее поэмы о Ленине, нет и не было, подстрочники она кое-как составила и дала московскому поэту на обработку, а этот рифмоплет служит редактором в издательстве, такой же мошенник, как и Мухаббат. Ее имя, вы сами знаете, означает "любовь", но она любит только себя. Уйду я, пусть другой руководит, не могу работать с такими подлыми, неблагодарными людьми.

– Когда это произошло?

– Неделю назад, в тот день, когда вы уехали с Ибраем.

– Мансур, вы хотите, чтобы я вам помог?

Теперь закрылся жестокий глаз, вспыхнул жуликоватый. Мансур достал из ящика стола тоненькую книжку:

– Прочтите, узнайте, как звучат по-русски хизриевские стихи. Может быть, и в переводе никуда не годятся? Мы горянок выдвигаем, но это не значит, что любая горянка – поэт, что она достойна быть участницей декады.

Вот куда клонит его бывший ученик. Но Станислав Юрьевич не станет вмешиваться в это скверное дело. А если станет, то лишь для того, чтобы защитить Мухаббат. Конечно, нет дыма без огня, но вряд ли все было так, как излагает Мансур.

Книжечка поместилась в кармане пиджака. Станислав Юрьевич вышел из помещения союза. Ему надо было в местное издательство, он договорился с Мансуром, что вернется через два часа, и Мансур отправит его в своей машине на дачу обкома. Какая грязь, как тошно, как скучно жить в грязи. Почему ненавидит Мансур эту женщину? Что она у него может отнять? А у Мансура, в его молодые годы, есть все, или почти все, что может дать Государство своему песнопевцу. Имеется ли у Мухаббат Хизриевой подлинник поэмы, нет ли его, – литературе от этого

ни тепло, ни холодно, и Мансур, и Мухаббат – вне литературы. Не читая, можно заранее сказать, что в переводе поэма – дерьмо, и в подлиннике, если он существует, – дерьмо.

Говорят: тесен мир, а Гугирд – крохотная точка в мире, и когда Станислав Юрьевич собирался пересечь улицу, около него остановилось такси. Из окошка высунулась рука, окольцованная несколькими браслетами. Дверца приоткрылась, Мухаббат Хизриева окликнула его:

– Наш Станислав Юрьевич, дорогой, здравствуйте, садитесь, поедem как мне.

– Спасибо, Мухаббат, мне надо в издательство.

– Для чего вам ходить по издательствам? Пусть они к вам ходят. Вы первый перевели меня на русский язык, а ни разу не были в моем доме, не отломали кусочек моей лепешки. Я вас не отпущу.

Препираться с Мухаббат не было смысла и возможности, он сел в машину. Мухаббат преобразилась со времени его первой встречи с ней, дикая горянка стала республиканской светской дамой. На ней было платье из зеленого панбархата. На полной груди сверкали два ожерелья, одно жемчужное, другое из неведомого драгоценного камня. Густые волосы чуть-чуть отливали медью, – видно, она их подкрашивала хной. Мухаббат наклонилась к шоферу, что-то ему шепнула, и Станислав увидел тяжелую косу, сбегавшую по ее спине. Наверно, подумал он, об этой фальшивой косе говорил Мансур. Брови Мухаббат, сросшиеся дугой и разлетавшиеся от переносицы, как ласточкины крылья, окаймляли большие, темные, во всю длину бровей глаза, посаженные к бровям так близко, что брови и ресницы сливались.

Такси остановилось у четырехэтажного дома в новом районе на улице Космонавтов. Станислав Юрьевич мысленно отметил, что Мухаббат не расплатилась с таксистом, то ли потому, что она – жена директора таксопарка, то ли по иной, более интимной причине.

Поднялись на второй этаж. Смуглое лицо Мухаббат пылало, оно было красиво, чего не скажешь о фигуре: слишком широкие для женщины плечи, слишком плоский зад над кривоватыми толстыми ногами.

Мухаббат привела гостя в комнату, в которой у окна, так, чтобы свет падал слева, стоял гигантский письменный стол, у противоположной стены – две кровати под покрывалами из китайского шелка, напротив дверей – три кресла под висячими книжными полками, а посредине комнаты – старинный, вышней в стол, сундук с большим замком. Он как бы сосредоточил в себе всю силу этого жилья. – Мой сейф, – сказала Мухаббат и продолжала:

– Здесь и наша с мужем спальня, здесь и мой кабинет. Еще у меня две комнаты, в одной – столовая, в другой живут мои мальчишки. Старший в пятый перешел, мой муж, очень хороший человек, любит его, как родного, усыновил его, а мой младший сейчас в детском садике. Как я рада, наш Станислав Юрьевич, что вы пришли в мой дом.

Повозившись на кухне, она вернулась, толкая движущийся на роликах столик.

– Станислав Юрьевич, садитесь, вот кресло, кушайте, эту икру я покупаю у перекупщиков, не скуплюсь, плачу дорого, и осетрина мне стоит недешево, посмотрите, как вас угощает поэтесса пока еще не народная. Машалла! Все у меня хорошо, и муж, и дети, когда всей семьей собираемся, так получается квартет музыкальных инструментов. А на шее у меня висит целая кооперативная квартира, очень дорогие ожерелья. Вы ешьте сами, а на меня не смотрите, у меня кефирный день. Если бы не Мансур, я была бы самая благополучная женщина.

– Неужели Мансур такой злодей?

– Наш Станислав Юрьевич, вы уважаемый человек, все поэты национальных республик хотят, чтобы вы их переводили, вы много сделали для нас, для меня лично, вы, честно говоря, мой отец, моя мать, но вы доверчивый, как ребенок, вы не видите, не понимаете, что такое Мансур. Вся Гушано-Тавлария его ненавидит, спросите у любого. Все давно знают: если встретишь на улице Мансура, – не к добру это, пути не будет, надо сразу же зайти в какой-нибудь знакомый дом и там выпить воды, и только потом можно опять выйти на улицу. Как поэт, он несравненный, у меня на полке все его произведения стоят, можете проверить, я учусь у него, но как человек он не человек, а подлец. На той неделе я зашла к нему, я ведь тоже доверчивая, как и вы, принесла ему свою новую книгу, поэму о Ленине, в Москве вышла, с надписью от всего сердца ему вручаю, я вам тоже ее сегодня подарю с надписью, очень хорошая поэма, а он как заорет, и кажется, будто одним глазом сжечь меня хочет:

– Откуда у тебя эта поэма, мы ее не знаем, не обсуждали, мои все произведения сначала товарищи обсуждают, а у тебя нет произведений, ты именем вождя торгуешь, литературную проституцию делаешь!

В глазах у меня потемнело, я крикнула ему:

– Ты сам проститутка, твоя жена проститутка, твои дочери будут проститутками!

Взяла с его стола чернильницу, бросила в него. Аллах Акбар, убила бы его, если бы он вовремя не увернулся. Ой, как он испугался, он только со слабыми наглый, но мы в республике знаем, он трус, нет у него горской чести. Шипит: "Тебя сейчас арестуют", крутит вертушку, звонит, как я поняла, Жаматову: "Здесь Мухаббат Хизриева распоясалась, сделала попытку меня убить, прошу оградить меня".

Я плюнула в него, не попала и ушла. Иду, а голова кружится, еле слезы сдерживаю, людей стыдно, ведь меня в городе все знают. На другой день звонит мне помощник Аслана Жаматовича, приглашает в обком к первому, а я говорю: "Не пойду в обком, Аслан Жаматович и Мансур из одного аула, друг к другу в гости ходят, и хотя я тоже из этого аула, я не найду правду в обкоме". Так живу несколько дней, а как живу – сама не понимаю. В огне живу. А у нас есть сосед, над нами он, в такой же секции, очень хороший человек, он тавлар, но мне все равно, – тавлар, гушан или даже русский, он в КГБ работает, говорит мне: "Глупая, позвони товарищу Жаматову, он тебя примет, расскажешь все, как было, партии расскажешь, найдешь понимание". А тут "Огонек"

из Москвы приходит, там еще одна моя поэма напечатана, ой, какая хорошая поэма! Вчера я позвонила товарищу Жаматову, он взял трубку, сказал: "Приходи завтра в десять утра". Захватила я с собой журнал, поехала в такси в обком. Когда вас встретила, как раз оттуда возвращалась, как птица летящая возвращалась. Аслан Жаматович меня принял приветливо, он вообще приветливый, спросил:

– Что у вас произошло с Мансуром?

– Вы уже знаете, что у меня произошло с Мансуром, он при мне вам звонил.

– Хочу твою версию выслушать.

– Моя версия такая, что Мансур подлец.

И тут я рассказываю Аслану Жаматовичу всю правду, рассказываю, как Мансур преследует каждого способного писателя, не дает дорогу молодым, всем завидует, мне завидует, хотя чему завидовать, ведь его так высоко подняли. Аслан Жаматович посмотрел на меня ласково, как отец, и сказал:

– Мы разберемся. А ты спокойно работай. Твою поэму о Ленине мы читали, полезная, талантливая поэма, хорошо, что она стала известна всесоюзному читателю. А почему ты на родном языке ее не напечатала?

– Аслан Жаматович, вы же лучше нас знаете, писатели постоянно ощущают ваше внимание, помощь, – у нас слабая полиграфическая база, писатели годами ждут выхода книг, а я в Москве публикуюсь, и муж у меня директор таксопарка, сносно зарабатывает, вот я и предложила издательству, чтобы выпуск моей поэмы на гушанском языке перенесли в план будущего года, пусть сначала выйдут молодые, они больше нуждаются, а в Москву на декаду повезем мою поэму в переводе.

– Я удовлетворен твоим ответом. Повторяю: работай спокойно, за твоим творчеством следит партийная организация республики. Только больше не называй народного поэта подлецом, на днях, насколько мне известно, сама станешь народным поэтом. Кстати, позови меня как-нибудь в гости, мы же из одного аула.

Машалла! Подарила я Аслану Жаматовичу "Огонек", надписала от всего сердца, вышла из обкома, – никого на свете нет счастливей меня, села в такси и вас встретила, две радости...

Когда Станислав Юрьевич вернулся в союз писателей, Мансур не сразу принял его. Секретарша Белла была поражена. Минут через двадцать из кабинета вышел посетитель, но Мансур не подавал Белле никакого знака. Подобного еще не бывало! Белла смотрела на Станислава Юрьевича вопрошающим, испуганным взглядом. Наконец, вышел из своего кабинета Мансур, сказал:

– Можете сесть в машину, шофер давно ждет. А ему, между прочим, тоже поесть надо.

Станислав Юрьевич, сердясь и кипя, но обиды не выказывая, молча направился к дверям. Мансур окликнул его:

– Вы были у Мухаббат? Что вкуснее: ее икра или ее клевета?

Как у них быстро становится все известно! Станислав Юрьевич не ответил, понял, что это бывший его ученик отныне его невзлюбил. Что ж, и без Мансура обойдемся.

Открытие декады назначалось после праздников, пятнадцатого ноября, значит, через два месяца. Пусть тревожится искусство, с литературой все обстоит превосходно. Рукописи отредактированы, сданы в набор. Он мог бы закончить здесь перевод двух дополнительных сказаний, но соскучился по дому, по Маше. Он звал ее сюда, чтобы немного отдохнула, полакомилась плодами, но она не желает оставлять Колю без присмотра, все никак не может привыкнуть к тому, что их сын уже взрослый человек, кандидат наук и отец в ближайшем будущем. Здесь, конечно, райский уголок, сентябрь в этих краях — лучший месяц, много яблок, винограда, горячих — с солью — кукурузных початков, любимых с детства, в его родном южном городе их называют пшенками. Но, если он останется, то его, как и в прошлую декаду, заставят сочинять доклад для секретаря обкома по пропаганде, заниматься организационными делами, никчемными и далеко не всегда приятными, — кого из писателей взять в Москву, кого включить в список выступающих в Колонном зале. Надоело, да и годы не те. Да и с Мансуром не хочется встречаться.

Станислав Юрьевич известил Мансура по телефону, что, поскольку подготовительная работа закончена, он вылетает в Москву, Мансур не удивился, убеждал его задержаться хотя бы недели на две, но убеждал вяло. Разговор закончил быстро:

— Сегодня у меня машины для вас до вечера не будет, пришло завтра, с утра, надо перед вашим отъездом побеседовать о том, как быть дальше, себя не уронить и перед другими не унизиться.

Порядок требовал, чтобы Станислав Юрьевич простился с Жаматовым, или, по крайней мере, он должен был уведомить Жаматова о своем отъезде, но, когда позвонил, секретарша ответила: "Товарищ Жаматов вылетел в Москву". Прекрасно, тем лучше.

Садовница под его окном поливала цветы, шум воды из шланга сливался с шумом речки Лапсе, бегущей вниз, где-то за зеленой, но уже неуверенно загоревшейся густотой чинар и каштанов. Раздался звонок, говорил милиционер, — во всех республиках милиционеры набираются из коренных наций:

— Охрана беспокоит. К вам пришли. Сафаров фамилия. Пропуск надо.

— Сейчас выду к вам.

Станислав Юрьевич знал, — давний опыт, — что получить пропуск у директора правительственной дачи, — дело непростое, к тому же тот редко бывает на месте. Если милиционер — гушан, с ним поговорит на родном языке, и никакого пропуска не потребуется. С тавларом будет труднее, Станислав Юрьевич так и не выучился тавларскому языку, но кое-как просьбу изложить сумеет.

К счастью, милиционер оказался гушаном, знакомцем Станислава Юрьевича, они иногда, когда Станислав Юрьевич гулял по саду, доходил до будки, перекидывались несколькими словами о семье и погоде.

Алим был не одинок, его сопровождала высокая, худенькая девушка. Ее молодая, длинная шея, ключицы (на ней было надето нечто вроде сарафана), матовое лицо, огромные, непонятного цвета глаза, — все было овеяно девической невинностью. — Оля, назвала она себя, подавая Станиславу Юрьевичу узкую, горячую, твердую руку.

Было жарко, асфальт размягчался под ногами. В комнате Станислава Юрьевича стояла прохлада. Он достал из холодильника бутылку белого вина, разлил по стаканам, предложил яблоки и виноград. Алим сказал:

— Оля — поклонница ваших стихов. Некоторые наизусть знает.

Без всякого выражения глядя на Станислава Юрьевича огромными, широко расставленными глазами, Оля тихо, с пониманием, прочла строфу, которой заканчивалось одно из напечатанных года два назад стихотворений. Станислав Юрьевич редко встречал людей, знающих его собственные стихотворения, ему было приятно и — странно сказать — одновременно тягостно, тоскливо. Долгие горькие годы он испытывал неутолимую, безумную жажду печатать собственные вещи. Жажда не утихла, она умерла глухой и даже безболезненной смертью. На картине дней своих, которую он мысленно рисовал, его муза не исчезла, но теперь помещалась не в центре, а где-то сбоку, так, что ее тело пересекалось рамой. И постепенно центр картины захватывали предметы цеховой надобности, переводческие. Да, конечно, он не был неудачником, но то, что и он, и другие считали удачей, оказалось его поражением, унижительным поражением. Он сам не заметил, как сдался на милость победителю — безглазому, беспощадному, бессовестному. А не лучше ли было бы, если бы он не стал литератором, не узнал бы элитарной жизни, а преподавал бы себе историю в средней школе, полунищий, но гордый, и не растранижил бы годы молодости на чепуху, на суету, писал бы в стол, но не изредка, а запоем, много писал бы для себя, с крохотной, зато обольщающей надеждой, что найдет друга в ином поколении. Может быть, горец Алим именно потому, что он горец, потомок кавказских наездников и воинов, сумеет сделать то, что не сумел сделать он, Бодорский, откажется от сладкой жизни и утвердит долженствующее быть утвержденным? Может быть, этот молодой нерусский выиграет на том ристалище, на котором скучно и стыдно проиграл Бодорский? А надо ли играть? Кто Алиму эта Оля? Хорошо бы, если только случайная подруга. Не такая нужна Алиму. Ему нужна тавларка, пусть не шибко грамотная, но преданная родовой, старинной преданностью, пусть не понимающая его, но и не нуждающаяся в подобном понимании, чтобы любила мужа не потому, что он писатель, а потому, что он — муж, отец ее детей, хозяин дома. Но, увы, в породистом, удлинённом лице Алима ясно узнавал Станислав Юрьевич слабость и безволие, свою слабость, свое безволие. А эта Оля, видимо, — перевернутая поговорка: горячие руки — холодное сердце. И, как пить дать, она сама пишет стихи. Его подозрение быстро подтвердилось: Алим сказал, что Оля давно мечтает познакомиться Станислава Юрьевича со своим творчеством.

Оля читала отрывисто, нарочито подчеркивая отсутствие мелоса. То был входящий в моду верлибр. Смысл, если он существовал, притаился глубоко. Неужели ей самой не скучно складывать эти глухонемые строки? Но иногда вспыхивало редкое словечко, зажигалась лампочка метафоры, Станислав Юрьевич этому искренно радовался, можно похвалить, а он предпочитал хвалить: откровенное свое мнение он высказывал только таланту. Оля приняла похвалу, как должное, само собой разумеющееся, Станислав Юрьевич оправдал ее ожидания: старик, но образованный, понял красоту нового стиха. Алим, напротив, был удивлен, благодарно удивлен, но смотрел на Станислава Юрьевича с трогательным недоверием. Он сказал:

– Редакция отправляет меня в командировку, – и куда бы вы думали? В Кагар! Одно письмо надо проверить. Дают машину. Станислав Юрьевич, поедете с нами, со мной и с Олей. Наверно, вы там давно не были. Помните, как вы жили рядом с нами, в доме Мусайба Кагарского, и я приносил вам свои ужасные портреты?

– Спасибо, Алим, охотно бы поехал с вами, но я через несколько дней возвращаюсь в Москву.

– Как возвращаетесь? Мы с Олей хотим пригласить вас на нашу свадьбу. Будет настоящая тавларская свадьба, хоть фольклористов и этнографов зови. Мой двоюродный брат, Мурад Кучиев, – директор гостиницы, в которой вы раньше жили, предлагает нам зал ресторана, но мама и все родственники настаивают на том, чтобы справили свадьбу в Кагаре, среди гор, в октябре, когда колхозники будут посвободней.

Пока Алим говорил о свадьбе, огромные глаза Оли не выражали ни девического смущения, ни взволнованности, – ничего. Станислав Юрьевич поблагодарил за приглашение, пообещал:

– Отпразднуем во второй раз вашу свадьбу у меня в доме. Когда поедете на декаду, захватите Олю с собой. Если не окажется места в гостинице, у меня она будет жить.

В первый раз в голосе Оли послышалось волнение:

– Он не хочет ехать на декаду.

– Не хочет? Но почему, Алим?

– Не хочу. – Породистое лицо Алима побледнело. Обрыдла мне показуха. Декада литературы и искусства без литературы и искусства. Мелкие страсти, интриги, доносы. Слышали о том, что произошло между Мухаббат и Мансуром? Оба хороши, оба пишут вздор. А тут еще одно скандальное происшествие, на более высоком уровне. Наш предсовмин Эльдаров, очень глупый тавлар, вместе с Ибраем Рахметовым написали в Цека, что Жаматов плохо относится к тавларам, не выдвигает их на руководящие посты, на партийную учебу. За этими двумя явно стоит Мансур, он их науськивает. Поведение Ибрая мне понятно, маленький человек, он столько лет в литературе, а все еще не народный, в то время, как Мухаббат Хизриева, девчонка по сравнению с ним, уже получила это звание, Мансур легко сумел вызвать в нем ярость. Но на что рассчитывает Эльдаров? Он – предсовмин, выше его – только первый секретарь обкома, а этот пост не для него, этот пост должен занимать

гушан, потому что в республике гушанов – большинство. Думаю, что Эльдарова толкнула на это паршивое дело глупость. Возможно, что Жаматов унизил его при людях, Эльдаров разозлился, а Мансур распалил эту злость с помощью лести. И без того испортились, после того, как мы вернулись, отношения между гушанами и тавларами, но нашим шишкам на это наплевать, подкапываются один против другого. Не хочу я с ними иметь дела, хочу писать, пока печатают, а перестанут печатать, тоже буду писать, ни о чем не хочу у них просить, от них зависеть. Помните, Станислав Юрьевич, строки персидского поэта? Вы мне их читали: "Свой хлеб соленою слезою ороси, но даже укуса у подлых не проси".

### Из записной книжки Алима Сафарова

Поэзия есть творческое, гармоническое сознание своего греха. Это сознание с наибольшей силой выражается в молитве.

Что бы я ни писал, даже смешное, даже будничное, – есть моя молитва Богу. Так не все ли равно, на каком языке я молюсь, на русском или тавларском? Почему же мои соплеменники недовольны тем, что я пишу по-русски. Разве от этого я становлюсь менее тавларом, чем они? Разве они, забывая Бога, – а они его забывают, – могут оставаться тавларами? Разве они могут оставаться тавларами, будучи рабами? А они – рабы. "Только религиозный человек – свободный человек" (Лев Толстой).

Отец библейского Авраама (по нашему – Ибрагима) занимался изготовлением идолов. Ибрагим, пророк Господа, разбил идолы. Смотрю я – большинство писателей, и не только наших, но и западных, – занимаются изготовлением идолов. Но наши идолы уродливы, а западные – элегантные. И говорить идолы научились с помощью механизмов. Но наши идолы выговаривают "папа", "мама", "идейность", а западные – "экзистенциализм" и множество других трудно произносимых слов. Я хочу, подобно Ибрагиму, разбить идолы, творить живое, а не идолов.

Вот слова из Корана:

"Аллах знает, что вы скрываете и что вы обнаруживаете. Те, кто призывают вместо Аллаха другого, не творят ничего, хотя сами сотворены. Мертвы они и не знают ничего. И когда говорят им: "Что же ниспослал Господь?" – они отвечают: "Сказки древних". Поистине, позор и зло для неверующих. Они с покорностью скажут в день воскресенья: "Мы не делали зла". Аллах знает, что они делали! Скажут им ангелы: "Войдите же во врата геенны для вечного пребывания там! Скверно пребывание возгордившихся!" И спросят ангелы богобоязненных: "Что вам ниспослал Господь?" – Ответят: "Благо!" – И Мы скажем: "Для тех, кто делал добро в этом мире, добро в том. А жилище будущее – лучше, и прекрасно обиталище богобоязненных, – сады вечности. Наше



слово – для сущего. Когда Мы пожелаем сотворенного, Мы говорим ему: "Будь!" – и оно бывает".

Я плохо знаю Коран. Я читаю его по-русски. Надо изучить арабский язык. Пока я знаю только алфавит. Когда я написал о сознании своего греха, я был скорее христианином, чем истинным мусульманином. Вообще, – кто я? Для чего я пишу, если не всегда пишу так, как думаю, или не все то, о чем думаю? Станислав Юрьевич, как мне кажется, и судя по его стихам, говорит со мной не всегда так, как думает. Однако на днях он меня поразил откровенным заявлением. "С советской властью, – сказал он, – нельзя хитрить. Она хитрее любого хитреца. С ней нельзя играть ни в какие игры: она любого обыграет". Почему он вдруг так со мной заговорил? Намекает ли он на то, что я веду игру? А я веду игру.

Слова, приписываемые Юнсу Эмре:

"Христианин спросил у суфия:

– Верить ли ты в непорочное зачатие?

Суфий ответил:

– Всякое зачатие непорочно.

– Верить ли ты, что Мариам родила Ису от Бога?

Суфий ответил:

– Все люди рождаются от Бога".

Станислав Юрьевич уезжает в Москву. Если не приму участия в декаде, – а я не приму, – то долго с ним не увижусь. Жаль. Он единственный литератор, из числа мне знакомых, которому мне хочется показать свои рукописи. Я пригласил его поехать с нами в Кагар. Для чего я это сделал? Разве мне не хотелось быть вдвоем с Олей? Но, быть может, я уже что-то предчувствовал? Что-то неприятное сосало меня?

Она появилась около нашей типографии, когда я проверял готовность редакционного "Москвича". Путь нелегкий, а чем лучше конь, тем ближе путь. На ней была, поверх сарафана, наша гушанская черная шаль, которая шла к ее матовому сицилианскому лицу. Я как-то заметил, что люди бывают похожи на тех животных, с которыми общаются. Владельцы собак – на своих пуделей или бульдогов, в табунщиках есть что-то от нашей знаменитой лошади, в чабанах – от овцы. Оля с ее длинной шеей похожа на косулю, с которой она не общается. Сравнение избитое, но каким великим поэтом был тот первый араб, который сравнил девушку с газелью.

Мы двинулись по превосходной шоссейной дороге, обсаженной по обочинам тополями и абрикосовыми деревьями. Перед самым входом в ущелье, как бы осторожно предсказывая его, появились холмы, одни – поросшие дикой грушей и алычой, другие – боярышником, третьи – кизилом. Я уже не впервые после нашего возвращения вижу кагарское

ущелье, но сердце мое здесь всякий раз бьется тревожнее, чаще и чище, а сегодня в особенности, потому что со мной Оля. Здесь моя душа. Сюда мое тело возвращается к душе.

Да, соплеменники упрекают меня в том, что я пишу по-русски. Но как мне быть, если тавларский язык я знаю хуже русского? Я и мои ровесники учились в русских школах. Если не считать стариков и старух, мы все плохо говорим по-тавларски. Я пишу не для предков, не для мертвых, а для живых. Наше слово тогда воистину слово, когда, как Аллах, приказывает сотворенному: "Будь!" Даже свифтовские гуингмы не в состоянии прочесть "Холстомера", Толстой писал не для лошадей, он, сотворив из слов четвероногое существо, повелев ему: "Будь!", открыл не лошадь лошадям, а человеку человека. Столетиями персидские поэты сладко воспевали соловья, но соловьи не читали их стихов, зато девушка слушает, как соловей пробует цокать, звенит, и сладок и нов ей весенний рассказ, миру рассказанный тысячу раз. Неужели я меньше тавлар, чем те сочинители, которые состязаются в краснобайстве, которые не говорят сотворенному: "Будь!", которые вообще не говорят, ибо, подобно животным, топчут землю, не веря, а, значит, не мысля. Они полагают, что занимаются творчеством, но они не творят живое, они творят мертвое. Лучшие из них бывают порою одухотворены национальным чувством, но это чувство дико, они ничего не знают, ибо не знают Бога, не знают Книги, не знают ислама. А разве можно быть тавларским писателем, не зная Бога, не зная ислама?

Недоволен тем, что я пишу по-русски и Мурад Кучиев, мой двоюродный брат, хотя и гордится моей известностью, которую он сильно преувеличивает. Кстати, и он за годы войны и концлагеря изрядно позабыл родной язык. Мурад вознегодовал, когда я ему сказал, что не хочу участвовать в этом жалком, постыдном спектакле, в декаде:

— Хотя ты — писатель, ты глупее самого темного горца. Подумай сам: у кого власть? У них власть. Разве я хотел вступить в партию? Ненавижу ее. Но что я могу сделать? Калерию назначили заведующим отделения поликлиники. А кто я, ее муж? Хоть и вернули мне геройское звание, а шофер останется шофером. Как будет выглядеть в Гугирде видный врач, русская женщина, у которой муж — шофер? Мне сказали: "Вступи в партию, найдем тебе подходящую должность, не хуже, чем у Авшалумова". И вот я — директор самой большой в городе гостиницы, а это поважнее заведующего отделением поликлиники. И выгоднее, чего скрывать. Не хочу тебя ранить в сердце, а слово — острее кинжала, но скажу тебе слово: твоя Оля часто бывала у одного московского писателя в гостинице, у Матвея Капланова, дежурной по этажу пришлось вмешаться, выпроводить ее из номера Капланова в час ночи. Но это не мое дело, это твое дело, а мое дело, наше тавларское дело, — чтобы ты поехал в Москву, показал себя во время декады, утер нос гушанам, пусть увидят, каков ты и каков твой народ, чтобы мы здесь радовались, — и Кучиевы, и Сафаровы, и все тавлары!

Мы миновали древние могильники, склепы с изображениями морды коня и фигуры воина до пояса, с крестом на кольчуге, старинную башню, в проломе которой синела гора, и въехали в мое родное селение. Но я не стал задерживаться в Кагаре, в сущности, в новом Кагаре, чужом для меня, потому что дома были новые, мне чужие, с электричеством, радио, водопроводом, не стало знакомых мне с младенческих лет двухэтажных саклей с плоскими крышами, с террасами, с закопченными очагами, сложенными из плиточного камня и обмазанными глиной, с арбами во дворах.

Я решил, что свою невесту покажу родственникам на обратном пути, а сперва мы с ней поднимемся в Куруш, на минарет горской земли. Но надо ли ее показывать, невеста ли мне Оля?

Когда мы вышли из машины и Оля увидела взметнувшуюся в небо почти вертикальную тропу среди бездны, устремленную к острозубым вершинам, к облакам, — или то были обледенелые перевалы? — она испугалась. Я взял ее, легкую, худенькую, на руки, чужую и родную, она зажмурила свои огромные глаза, цвет которых я не мог понять, я многое не мог понять, и поднялся по тропе. Я вспоминал, как по этой тропе спускался среди обреченных, не с этой мне дорогой и мучительной ношей, а с хурджином, с портретами дяди и тети, как упал в пропасть с моими портретами Ленина и Сталина дядя Исмаил, как свалились безногий Ахмед в своей коляске и одноногий, однорукый Бабраков, я вспоминал угон своего народа, но голова моя не кружилась, я твердо шел по своей земле, только в сердце была боль, старая, незажившая боль и новая, свежая. Голова закружилась у Оли, когда я, поднявшись наверх, опустил ее на землю Куруша. Мы пошли по аулу. Он был наполовину пуст. Мало курушан осталось в живых, и не все живые вернулись в родной аул. В редких саклях продолжалась жизнь. Там, где она продолжалась, на нас смотрели с террас. Я издали заметил плотника Кучиева, его жену и его близнецов, бывших Маркса и Энгельса, Сарият Бабракову и трех ее сыновей, я видел глаза взрослых и детей, никто меня к себе не приглашал, но все ждали, чтобы я к ним зашел со своей подружкой, все знали, что я писатель, и опасались, не зазнался ли я. И я знал, что обязательно всех навещу, но сначала поведу Олю в клуб, в прежнюю мечеть.

Николай Леопольдович когда-то мне сказал, что орнамент на стенах мечетей есть в действительности изречения из Корана, начертанные куфическим шрифтом. Я научился арабскому алфавиту, но куфического шрифта не разбираю. Я прочел вслух арабскую вязь на двери: "Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному царю в день суда", и толкнул невысокую дверь. Видно, клуб открывался не часто. Повеяло затхлой сыростью. Михраб никому не указывал направления к Мекке. Паук раскинул в нем паутину. Стена под крышей отломилась, в щели сидела кукушка, молчала. Скрепленные между собой стулья, всего несколько рядов, были отодвинуты к задней стенке. Я оставил дверь открытой, и теплый свет лег дрожащей полосой на земляной пол бывшей мечети, на стулья. Мы сели.

Кажется, из Книги Судей. Старейшина племени Иафет, окруженный враждебными, свирепыми маовитянами, взмолился в отчаянии: "Господи клянусь Тебе, если вызволишь меня из рук смерти, то принесу тебе в жертву первого из моего дома, когда встречу его". Бог услышал молитву, и когда Иафет вернулся к шатрам своего племени, первая, кого он увидел, была его юная дочь. Горе вошло в его сердце, и он сказал дочери о своей клятве. Две недели играла дочь с подругами, две недели знала, что умрет, две недели говорил с ней Иафет, готовил любимую дочь к смерти. Что он ей говорил? В Книге не сказано. Я хотел бы найти такую женщину, с которой, в погибельную годину, я мог бы говорить так, как Иафет со своей дочерью.

Я посадил Олю к себе на колени, стал гладить ее маленькие груди, вынув их из сарафана, я осквернил давно оскверненную мечеть, я был впервые счастлив счастьем плоти. "Если вы прикасались к женщинам и не нашли воды, то оmyвайтесь чистым песком и обтирайте ваши лица и руки". Аллах, ты знаешь обо мне, я не омылся, и не то, что лицо и руки, — свою душу я не обтер чистым песком.

Оля сказала:

— Ты помнишь приглашение Станислава Юрьевича? Возьмешь меня в Москву? Я попытаюсь отпроситься в университете на десять дней, хотя декан скажет: "Нельзя, ты на последнем курсе".

Я сказал:

— Я не поеду на декаду. Мне даже уксус не нужен от подлых.

— Вздор болтаешь, какой уксус, при чем тут уксус? Я хочу, слышишь, хочу, чтобы ты поехал на декаду, я хочу присутствовать там, где тебя будут хвалить, ты талантлив, современен, ты не такой, как все наши гугирдские писатели. А, может быть, и мне удастся прочесть свои стихи знатокам.

— Оля, что у тебя было с Матвеем Каплановым?

— Я тебя люблю. Я тебя навсегда люблю. Я ничего от тебя не собираюсь скрывать. Я с ним была близка. Несколько раз.

— Ты его любила?

— Нет. Не думаю. Я ему благодарна.

— За что?

— Он добр. Он мне читал свои переводы, спрашивал моего мнения. Я себя почувствовала выше: значит, я кое-что значу. Он хвалил мои стихи. Жаловался, плакал, что был на войне ранен в живот. Наши студенты такие ничтожества. До тебя я не встречала лучших, чем он.

— А худших встречала?

— Любимый, не будем себя мучить. Только что нам было так хорошо.

Она посмотрела на меня спокойными, огромными глазами. Теперь я понял, какого они цвета: медные, два стертых тройка из-под ресниц. Я люблю ее.

В этой мечети я слушал ужасную речь кагебешника Биева, в этой мечети я в детском, правом гневе снял со сцены портреты Ленина и Сталина, в этой мечети проклинали Биева безногий красавец Ахмед и беременная Сарият Бабракова, в этой мечети я познал нецеломудренную женщину, в этой мечети я никогда не молился.

Я молюсь Аллаху. Я молюсь русскому языку, усыновившему меня. Жизнь это грех. Я хочу грешить. Я не забыл свое нищее, рабское детство и угрюмую, рабскую молодость в Мече Революции. Я не забыл, как пришла весть о смерти Сталина, как плотник Кучиев пустился во взрывчатый пляс и кричал: "Поддох, поддох!" Я хочу, чтобы мною гордились все Кучиевы, все Сафаровы, моя мама Фатима, весь мой народ. Я буду грешить, но ни единым словом не согрешу на бумаге. Станислав Юрьевич прав: с этой властью не играют, она обыгрывает любого. Ей надо служить. Не хочешь служить, — иди в дворники, лифтеры, сторожа, кочегары. А хочешь быть писателем, — служи.

У тебя, если ты совестлив, есть только одна жалкая, грязная возможность: служить ей плохо. Я буду служить плохо. Служить не как верная Личарда и не как продажный Фуше. Служить, как колхозники-тавлары служили в Мече революции, как и сейчас служат все колхозники на общественных полях. И только на своем приусадебном участке, — на своих страницах, — я буду служить преданно и честно, служить Истине. Боже, не игру ли я затеваю? Я поеду на декаду.

\* \* \*

Самолет летел, как бы раздвигая снег облаков. Станислав Юрьевич еще не знал, что Алим изменил свое решение, и думал: правильно ли поступает молодой тавлар, отказываясь от участия в декаде? Что происходит в наших восточных республиках? Это можно кое-как понять, обозревая три поколения. Хаким Азадаев начал советский период своей жизни, одушевленный возвышенной любовью к родному народу и Богу, но, купленный, падал все ниже и ниже. Следующему поколению уже и падать не надо было, оно, родившись, не чувствовало души в своем теле, стало товаром. Неужели Алим Сафаров — некий предвестник некоего возрождения? Но возможно ли возрождение после событий в Грозном? Никогда еще не было у нас такой ненависти мусульманских народов к русским, русских — к инородцам. А разве Россия — колониальная империя, подобная той, какой была Англия? Британская империя распалась, но Англия отлично живет без колоний, раскинутых за морями-океанами, даже без Индии, где разноязыкие люди продолжают общаться друг с другом по-английски. А Россию трудно себе представить без Кавказа, без Средней Азии. И их трудно себе представить без России. Мы слились. Мы сами порой не понимаем, как крепко и кровно мы слились. Уйдя от нас, народы нашего Востока останутся с нами. И мы останемся с ними. Жизнь, прожитая совместно, не может исчезнуть, потому что она втайне не хочет исчезнуть.

В окне самолета белели облака. Станислав Юрьевич подумал, что земля всегда стремится к небу, всем зеленым телом стремится, и горы – окаменевшее стремление земли к небу, а облака – оторвавшиеся от гор, в трагическом порыве давнего стремления, снеговые утесы. Они блестят, оторвавшись, больным блеском на небе, они тоскуют по земле. О, вершины кавказских гор, придет смутный день, и вы оторветесь от России, но вы будете по ней тосковать, по моей бедной России, бедной моей России.

*Москва*  
*Октябрь 1979 – октябрь 1980*



